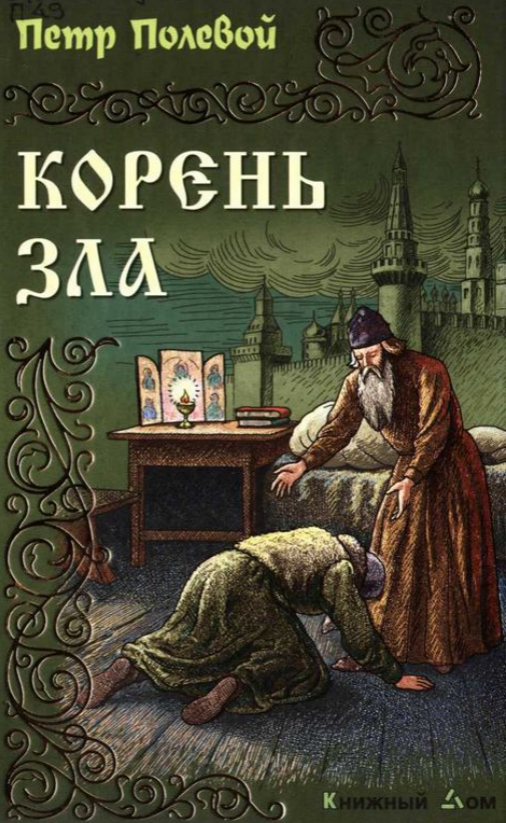


84(2Рос-Рус)с-41
П49

Петр Полевой

КОРЕНЬ ЗЛА



ИСТОРИЯ
РОССИИ
В РОМАНЕ

Петр
Полевой

КОРЕНЬ
ЗЛА

КМ

Книжный Дом

Книжный Дом, Минск, 2013

ISBN: 978-985-17-0663-7

FB2: "wotti", 2014-04-16, version 1

UUID: {84C6C2BC-7B7B-4E16-A26F-3DBCEF16314B}

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Петр Николаевич Полевой

Корень зла

В романе рассказывается о весьма сложном периоде русской истории, имевшем место вскоре после смерти Бориса Годунова. На примерах судеб своих героев автор показывает, как честные и преданные попадают порой в опалу, а корыстные и коварные, обласканные властью, пользуются привилегиями, как содеянное зло остается не наказанным, а творимое добро приводит к плахе...

Содержание

Часть первая	0006
I На романовском подворье	0006
II Въезд кучумовичей	0015
III Присуха	0025
IV В гостях у Федора Никитича	0035
V По душе	0043
VI Золотая клетка	0056
VII Сватовство	0065
VIII В передней государевой	0076
IX Матушка царица	0086
X Тайный гость	0096
XI Чернец Григорий	0113
XII Веселые похаживают	0125
Часть вторая	0146
I Черные вороны	0146
II Царская тещь	0159
III Сказка и быль	0174
IV Безвременье	0188
V Верный раб	0203
VI В боярской думе	0213
VII Девичьи грезы	0227
VIII На севере диком	0243
IX Суд Божий	0258
X Недобрые вести	0271
XI Кто он?	0283

XII Победа	0294
XIII Измена растёт	0306
XIV У колдуньи	0315
XV Метла небесная	0322
XVI Конец Бориса	0326
Часть третья	0333
I Царственные сироты	0333
II Послы царя Дмитрия Ивановича	0345
III «Смерть Годуновым!»	0357
IV Въезд царя Дмитрия Ивановича	0370
V В золотой клетке	0382
VI Первая встреча	0390
VII Змей-искуситель	0400
VIII Две исповеди	0409
IX Непрошенный друг	0423
X В хоромах Царицы Марфы	0435
XI Розы и тернии	0445
XII Прямые	0450
XIII Начало конца	0458
XIV Верность и лукавство	0468
XV Царское новоселье	0476
XVI В обители	0481



Петр Полевой
КОРЕНЬ ЗЛА

Часть первая



I

На романовском подворье

Обширный двор ближнего боярина Никиты Ивановича Романова широко раскинулся на Варварке, по самому гребню Варварского холма. И привольно же у боярина на том его дворе: и хоромы просторные в два жилья, покоем поставлены, и палисадник полон цветов душистых лазоревых, и сад такой, что в нем заблудись да аукайся, и огороды со всяким зелием, со всяким приспехом и с овощем, со всякой ягодной благодатью, с деревьями вишневыми, грушевыми и яблоневыми. А вниз по холму, будто деревня подгородняя, разместились широко службы, да избы людские, все

высокие, с подклетьями, да амбарушки пузатые с полупудовыми замками немецкими, да гумна с амшениками, да погреба с погребицами. А в самом низу холма, на краю боярского владения, — вон и житный двор со всяким житом в высоких закромах, вон и птичий двор с вечным кудахтаньем и клохтаньем домашней птицы и с тучами голубей над высокими голубятнями, вон и скотный двор, с которого доносятся в сад мычание и блеяние домашнего скота, предназначенного к снабжению боярского стола мясным и молочным запасом. Да это ли только в боярском дворе! Вон под горою-то пруд, а в пруду не одни караси московские; там в особых садках всякая рыба волжская, живьем с Волги в кадусках прибывшая да сюда пущенная, а вон другой — поменьше, плетнем огорожен, и ход из пруда в особый дворик ведет, и на том пруду гуси-лебеди плавают, утки сотнями полощатся, и сторожа с самострелами вокруг пруда по берегу ходят, зорко ту птицу Божию от коршунов и ястребов оберегают. Недаром все холопы романовские, когда кто-нибудь из их же братии, состоящей в услужении у других бо-

яр, начинал хвалить двор и хоромы своих господ, только ухмылялись недоверчиво или, посмеиваясь, приговаривали:

— Эх ты! Приравнял дыру к Романову двору!..

Широкой волной течет здесь и жизнь привольная, спокойная, ничем не возмущаемая — настоящая жизнь русской старинной боярской семьи, благословенной от Бога и всеми благами земными, и всяким земным счастьем, начиная от душевного спокойствия и до полного согласия между всеми членами семьи. И не одним боярам на романовском подворье житье привольное: последнему рабу, последнему холопу здесь так хорошо, что и умирать не надо! Никого из романовской челяди и палкой со двора не сгонишь.

«Нам, — говорят, — лучше здесь сором валяться, нежели у другого боярина во дворецких жить!»

А уж что до родни романовской, до друзей да приятелей — о тех уж и говорить нечего! Радужный и гостеприимный дом боярина Федора Никитича манил их, как душистый медовый сот манит к себе шумный пчелиный

рой... Бывало, на неделю гостить приедут, а по полгода живут безвыездно, и то на выезде хозяин с хозяйкой пеняют, что «мало погостил».

Вот точно так же случилось и с Петром Михайловичем Тургеневым, дальним собственником Федора Никитича Романова по жене его, из рода Шестовых. Приехал он в Москву из своего поместья по делам, думал побыть в Москве недельку-другую, да как попал на романовское подворье, так и застрял на нем. И вот уж скоро с его приезда пятый месяц пойдет, а он об отъезде все еще не помышляет, к великой радости своих закадычных приятелей — Алешеньки Шестова, хозяйского шурина, и Мишеньки Романова, младшего брата Федора Никитича. Они оба в Тургеневе души не чают и, хоть живут с ним на одном дворе, все на него не наглядятся, не налюбуются. С утра ранешенько придут к нему в его гостиную избу да так целый день и проводят вместе, не разлучаясь до позднего вечера. Только вот сегодня что-то запоздали, не идут, и Петр Михайлович Тургенев, с утра уже невесело настроенный, ходит по светелке

взад и вперед и все поглядывает через оконце во двор, нетерпеливо поджидая своих приятелей.

Наконец чьи-то торопливые шаги послышались на крылечке, потом в сенях, и на пороге быстро распахнувшейся двери появился красавец юноша, цветущий здоровьем, русоволосый, кудрявый, высокий и стройный. Большие карие глаза его, выразительные и добрые, светились какой-то особенной, безотчетной радостью, когда он переступил порог и быстро подошел к Тургеневу.

— Петруша! Дружище!.. — произнес он громко и весело, обнимая приятеля. — Поздравь ты меня! Ведь дело-то мое совсем уж слажено, считай!

— Ну? Рассказывай, я рад слушать! — ласково молвил Шестову Тургенев.

— Да что рассказывать, друг любезный! Ведь ты уж слышал от меня о той сенной боярышне, что при царевне Ксении Борисовне служит? Я говорил тебе, где видел и как встречался с ней по церквям и в Чудовом-то у обедни... Иринею Дмитриевной зовут, Луньевых родом. Что за красotka! Глаза, так ве-

ришь ли, вот всю мне душу выжгли!..

— Как не верить! Мудрено ли! — с грустной улыбкой сказал Тургенев.

Но Алешенька и не слышал его замечания, весь погруженный в воспоминания о красоте Ириньи, и продолжал:

— Как было мне не полюбить ее?! И полюбил, и вот взмолился к сестре, к Аксинье Ивановне — она ведь как ближняя боярыня и во дворец-то вхожа, и у царевны Ксении всегда гостья желанная! Упросил я сестру, чтобы расспросила она Иринью Дмитриевну, пойдет ли замуж за меня... Говорю сестре: «Скажи, мол, ей, что без нее мне и жизнь не мила...» Ну, сестра сказала ей, и та ответила, что замуж за меня она не прочь бы выйти, да только надо просить, чтобы царевна у матушки царицы похлопотала о дозволенье... Ведь сенные боярышни без царской воли замуж и помыслить не смеют!

— Это значит, что поздравлять тебя покамест не с чем, — заметил Тургенев. — Ведь царица Марья куда как, говорят, люта! Да и Романовых она не очень жалует... Так как еще ей Бог на душу положит?

— Полно, полно, Петр Михайлович! Не пугай меня раньше времени... Как ни люта царица Марья, а для дочери у ней нет ни святого, ни заветного. Да что ты! Я себе и места не найду, коли Иринью за меня не отдадут!..

— Не спеши удаче радоваться, не спеши и в неудаче печалиться! — посоветовал Шестову Тургенев. — Даст тебе Бог еще счастья, порадуемся и мы все с тобой, а не даст, что ж тут поделаешь! Не всякому оно на роду написано!..

Шестов пристально поглядел на Тургенева, который с глубоким вздохом отвернулся в сторону и смолк.

— Петр Михайлович! Ты что же это говоришь загадками? Уж нет ли и у тебя какой зазнобы сердечной?

Тургенев не отвечал ничего, лишь молча понурил голову.

— Да говори же! Или ты мне не друг?

— После когда-нибудь! — нехотя отвечал Тургенев. — Теперь не время! Я слышу, что сюда идут...

И точно, послышались шаги и говор на крылечке и в сенях, и в светелку Тургенева

вошел молодой человек, лет двадцати пяти, с очень приятным, широким и чисто русским лицом, опущенным курчавой рыжеватой бородкою. Он был немного выше среднего роста, но сложен на славу; от его широчайших плеч, высокой груди и всего его склада так и веяло богатырской, несокрушимой силой. Следом за ним, с веселым смехом и говором, вступили в светелку еще трое молодых людей, так же богато одетых, как и первый.

— А вот и Мишенька Романов к нам пожаловал! — крикнул навстречу богатырю Алеша Шестов.

— Ас Мишенькой и Сицких двое, и Погожев Елизарий! — отвечал весело богатырь, здороваясь с Тургеневым и Шестовым. — Мы все за вами! Что вы тут засели? Что за думушку думаете? Уж не злой ли умысел какой на царское здоровье замышляете? Ха-ха-ха!

— И то сказать! Сидят, как куры на насесте! — подхватил, смеясь, один из Сицких. — А на дворе, смотри-ка, день какой! Да и праздник на весь люд московский!.. Аль позабыли?

— Какой же праздник? — с удивлением спросил Тургенев. — Или у вас в Москве всех

праздников по два?

— Как же не праздник? — подхватил Сицкий. — Сегодня сибирских царевичей в Москву ввозят. Вся Москва их на Ильинку смотреть бежит! Ну а где люди, там уж, вестимо, и мы!

— А где мы, там и вам с нами быть, Шестову с Тургеневым! Едем, что ли? — весело крикнул Михайло Романов. — Саночки-самокаточки готовы, коньки прозябли, седоков прождавши... Ух как прихватят!

— Что же, ехать так ехать! — сказал Тургенев Шестову.

И молодежь веселой гурьбой, перекидываясь шутками и прибаутками, вышла из светелки во двор и направилась к саням, ожидавшим за воротами.

Въезд кучумовичей

День 16 января 1599 года (с которого, собственно, и начинается наш рассказ) был солнечный и морозный, настоящий праздничный день. Еще накануне биричи разъезжали по городу и, громко выкликая, призывали всех москвичей: попов, дворян, купцов и всякого иного чина людей — посмотреть, как дьяки государевы с толмачами повезут через всю Москву жен и детей сибирского царя Кучума, полоненных царскими воеводами.

Само собой разумеется, что уже спозаранок народ толпился на всем пути, по которому должны были провезти пленников. Путь всего поезда был заранее назначен и заканчивался самым людным и оживленным местом Китай-города, торговой улицей Ильинкой и Ильинским крестцом. Понятно, что Ильинка у Ильинских ворот и Ильинский крестец так наполнились народом, что и яблоку там упасть было некуда. Народ на улице стоял стена стеной, и те, кому пришлось стоять в задних ря-

дах, вскарабкивались на заборы, на крыльца, на приступочки и завалины. Кто был помоложе да побойчее, тот взобрался и на ворота. Солнце весело светило на эту пеструю и шумную толпу и ярким блеском отражалось от крыш, прикрытых толстым слоем снега, который высокими шапками лежал на всех крылечных выступях, на маковицах церквей, на деревьях и зубцах стены, на вывесках торговых балаганов и шалашей, на острых прорезных кровлях боярских теремов и всей Москве придавал тот опрятный, праздничный вид, которого она не имела в другое время года. На ярком, белом фоне снега особенно пестры и разнообразны казались торговые ряды, которыми улица была застроена по обе стороны около Ильинских ворот, — ряды, заваленные грудями всевозможного товара, начиная от лубяных изделий и москатели и оканчивая мехами, заморскими сукнами и шелковыми материями. Купцы и приказчики стояли у лавок настороже, чтобы какой-нибудь лихой человек не воспользовался общей сумятицей и не поживился за их счет. Они бы не прочь были и закрыть свои лавочки, да накануне при-

каз вышел лавочки не запирасть на всем пути проезда сибирских царевичей, и потому волей-неволей приходилось топтаться на пороге балаганов и глазеть на толпу.

— А-ах! Будь им пусто, бусурманам! — ворчал себе в бороду молодой купецкий приказчик, ежась в своем полушубке и похлопывая в теплые рукавицы у входа в лавку с красным товаром. — Ни лавки закрыть, ни алтына выручить! Теперь уж не жди покупателя.

— Ишь ты, разлакомился торговать по-вчерашнему! — огрызнулся на него сосед-торговец, низенький и сухощавый старичок с жидкой бороденкой. — Позабыл, что барыш с убытком рядом живут! Не ты один с хозяином убытки-то терпишь!

— Так что ж, Захар Евлампич! Разве от этого кому легче?

— Вестимо легче! — вступился, смеясь, толстый, здоровый и румяный купчина, закутанный в богатейшую медвежью шубу, подпоясанную пестрым персидским кушаком. — Разве не слыхал, что на людях и смерть красна! Ну, царь хочет, чтобы сегодня Москва праздновала, — будешь праздновать. Чай, слыша-

ли, что вон и литовский, и армянский дворы затворять не велел, так уж нам и подавно!

— Да разве же их повезут тем местом, батюшка Нил Прокофьич? — обратился к купчине старичок, которого приказчик величал И Захаром Евлампычем.

— Как же не повезут! — забасил купчина в медвежьей шубе. — Или не слышал вчерась, как биричи выкликивали? Небось в бубликах своих запутался, старина!

— Точно, что недослышал, соседушка! — согласился Захар Евлампыч. — Видно, царь-батюшка точно что праздновать нынешний день затеял!

— Невелик праздник! — заметил кто-то со стороны. — Полоняников в цветные шубы нарядят да мимо вас повезут! Важное кушанье!..

Купчина оглянулся в сторону говорившего, высокого, статного парня в собольей шапке с малиновым верхом, нахмурил лоб и сам себя спрашивал: «Кто бы это мог быть и где я его уже видел?».

— Захар! — обратился он к старичку. — Ты тут всех знаешь... Глянь-кась на парня-то... Откуда такой нахал выискался? Будь не такой

случай, я бы ему бока намял порядком!

— Ш-ш-ш! Что ты, Нил Прокофьич! — заговорил шепотом старый торговец, хватая купчину обеими руками за полу шубы. — Аль тебе голова твоя не дорога стала? Да ведь это тот самый парень, что на прошлой-то неделе на Москве-реке в одиночном бою Сеньку Медвежника уходил!

— Во-во-во! Вот я, значит, где его видел! — спохватился купчина. — Как же! Помню! Ведь и я тут же был... Видел! Как изловчился, как ахнет, тот так мурлом в снег и ткнулся!

— А сам знаешь, каков Сенька-то был! — продолжал шептать старый торговец. — Десять лет в кулачном бою не встречал по себе супротивника! А этот, как уложил Сеньку, с места не тронулся, только рукавицы поправил да и говорит: «А ну-ка кто там еще есть? Выходи, не задерживай!».

— А хоша бы и так? — продолжал горячиться купчина. — Все-таки он нас, рядских, не трожь... Не то мы...

— Вона! Вона! Едут, едут! Государевы приставы едут в золотах! Полоняников везут! — загудела кругом толпа, и все собравшиеся ра-

зом обернулись в ту сторону, откуда показался поезд, двигавшийся шагом.

Впереди на темно-гнедых конях, богато убранных и прикрытых пестро расшитыми попонами, ехали государевы приставы в золотых кафтанах и собольих шапках. За ними, по два человека в ряд, служилые литовцы с пищалями и сибирские казаки со своими атаманами, все в ярких синих, красных и желтых кафтанах. За казаками, в шести открытых широких санях-вырезнях, пестро размалеванных и украшенных золоченой резьбой на передке и на спинке, ехали сибирские царевичи, старшие трое каждый в одиночку, а трое младших с дядьками-татарами. Царевичи ехали как-то съездившись и пугливо озираясь по сторонам на шумные толпы народа, на бесчисленные лавки, на боярские хоромы и на благолепные храмы Божьи.

За санями царевичей следовали шесть парных каптан (зимних возков) с женами Кучума, женами старших царевичей и с царевнами — Кучумовнами. Шествие замыкалось полусотней детей боярских с пищалями и копьями. Они ехали верхами, в вывороченных

наизнанку шубах, на трубах играли и били в бубны и тулунбасы.

— Ай, батюшки! — слышались в толпе женские голоса. — И да какие же они неражие, чумазые! Неужто там и царевичи-то такие?

— А ты, тетка, думала, что все на свете такими красавцами рождены, как наш сокол ясный, благоверный царевич Федор Борисович?

— Да хошь не такими... А ведь на этих образа Божия и подобия нет... Глаза ровно щель... Нос словно пятой раздавлен... А скулицы-то!

— Да у них не глаза, а гляделки...

— Небошь гляделки гляделками, а посмотрел бы ты, как ловко из лука жарят, так вот тебе стрелу за стрелой в кольцо и пропустят...

Поезд проехал, толпа заколыхалась и так порывисто двинулась вся разом к Ильинским воротам, что Захар Евлампыч, купчина и все их собеседники были сбиты с места волной хлынувшего народа. В толпе слышались крики и жалобы.

— Ой, батюшки, задавили!

— Ой, православные!..

— Черти, куда лезете?

— Аль не видишь!

— Отпустите душу на покаяние...

— Мама! А, маменька, где ты?

— Поди ищи маменьку! Как же, сыщешь в этой сутолоке! — отозвался, продираясь через толпу, тот же статный парень, который так досадил купчине непочтительным отзывом о празднике. — Тут и не ребенка, а и дюжего детину задавят! — добавил он, посмеиваясь и работая плечами и руками, чтобы выбраться к лавкам.

И едва только он протискался к одному из ближайших балаганов, как его дружески ударил по плечу молодой красавец с черной курчавой бородой, в высокой бархатной шапке и в щегольском полукафтани с собольей опушкой.

— Федя! Голубчик! Ты отколе взялся? Слово из земли вырос!

— Тургенев! Петр Михайлович! Вот привел-таки Бог свидеться!

И друзья крепко обнялись и поцеловались накрест.

— Вот братцы! — сказал Тургенев, обраща-

ясь к своим приятелям. — Бог с другом закадычным свел! Федор Калашник, из угличских купецких детей... Росли, играли в детстве вместе... А это, Федя, все мои приятели: Романов Михаил, да Шестов Алеша, да братья Сицкие...

Федор Калашник всем поклонился общим поклоном; приятели сбились в кучу и двинулись вслед за толпой к Ильинским воротам.

Захар Евлампыч, который от слова до слова слышал и запомнил их беседу, дернул за рукав Нила Прокофьяча и сказал ему с самодовольным видом:

— Теперь знаю, кто этот парень-то! Федором Калашником зовут, из угличских головорезов, а тот, что повстречался с ним, Шестовым и Романовым свойственник — Тургенев...

Приятели все радовались встрече.

— Да как ты в Москве? Надолго ли? — допрашивал друга Тургенев.

— Теперь надолго, а может, и совсем поселюсь здесь...

— Вот и славно! И я нынче здесь шатаюсь, пока на службу государскую не зовут... В де-

ревнюшках есть кому поприсмотреть, так мне здесь житье вольное. Бояр Романовых, чай, знаешь?

— Кто же их не знает! Ты не сродни ли им?

— Нет, я сродни Шестовым, а старший-то Романов, Федор-то Никитич, на Шестовой ведь женат... Так вот я у них как свой в доме оказался. Ласкают да балуют... Но где же ты был, где пропадал? Рассказывай, Федя!

— Лучше спроси, Петр Михайлович, где я не был, каких людей не видал, из скольких печей хлеб едал! Жил я где день, где ночь, а подчас и сухой корки во рту не бывало... На-терпелся я вдоволь лютого горя! Да вот велика еще, видно, милость Божия: в Пермском крае свел меня Бог с дядей родным, купцом Филатьевым, оттуда он меня и вывез, и к торговле своей приставил. А сегодня и тебя мне Бог послал, радость великую!

И он набожно перекрестился на крест ближайшего храма.

— Ну, брат! — сказал Федору Тургенев. — Тут нам говорить не место... Мне теперь надо в Кремль, разыскать там моего боярина Федора Никитича. А вот завтра приходи в Чудов

монастырь к обедне, я там всегда становлюсь в Михайловской церкви на правой стороне, у второго окна. Там встретимся, а оттуда пойдём ко мне на романовское подворье, там и наговоримся вволю.

Они обнялись и расстались, еще раз крепко пожав друг другу руки на прощанье.

III

Присуха

На другое утро Федор Калашник отпросился у дяди-хозяина к обедне в Чудов монастырь и, пробиваясь через толпу, не заметил, как очутился на Фроловском мосту, который был перекинут через глубокий кремлевский ров и вел к Фроловским воротам. Тут, у самого входа на мост, Федора осадил голосистые торговки из жемчужного ряда и оглушили, предлагая товар.

— Молодец желанный, красавчик, купи жемчужку для почина!.. У нас жемчуг всякий: гурмицкий, скатный, кафимский, половинчатый! Купи, молодец, авось у тебя рука легка!

— Да ну вас, тетки!.. Дайте дорогу! Куда

мне, купецкому сыну, ваш жемчуг? Ведь мы не боярского рода, чтобы в низанье ходить!

— Ах, чтой-то ты, молодец! Да ты нам краше боярчонка показался! Ей-ей, краше!.. Купи, красавчик! Самому не носить, так душе-девице подарить.

— Да отстаньте, сороки! Нет у меня и занобы такой...

— Ах, Господи! Нет!.. — тараторили торговки, заступая Федору дорогу. — Нет?.. У этакого-то соколика да девушки нет? Так ты нам только скажи, мы тебя с такой раскрасавицей познакомим, которой наш товар по душе придется. Купи, родимый, мы уж по глазам твоим видим, что у тебя рука легка.

Федор невольно рассмеялся.

— Приходите, тетки, в воскресенье на Москву-реку, где добрые молодцы сходятся на кулаках биться. Там увидите, легка ли у меня рука!

Рассмеялись и тетки-торговки и дали молодцу дорогу.

Он быстро перешел мост, вошел Фроловскими воротами в Кремль и мимо древнего собора Николы Гостунского вышел к задним

воротам Чудова монастыря. По обе стороны ворот, в ограде, на всем пути до собора во имя Чуда Архистратига Михаила, расположились густой толпой нищие, калеки и леженки, закутанные в грязное тряпье и обрывки всякой теплой одежки, выпрошенные именем Христовым.

— Ишь их сколько нелегкая нонечь принесла! — ворчал вслух и не стесняясь монастырский воротный сторож. — Почуяли, окаянные, что сегодня царевна к обедне изволит жаловать в собор... Чуют богатую милостыню!..

Оказалось, что действительно в этот день ожидали в собор к обедне царевну Ксению, и потому приказано было даже обедню начать несколько позже обыкновенного. Богослужение еще не начиналось, когда Федор вступил на соборную паперть и в ожидании Тургенева остановился недалеко от кучки молодых монахов и монастырских служек, которые весело разговаривали между собой, шутили и смеялись по поводу каких-то своих домашних дел и отношений.

— То-то ты нынче, Гриша, путать в Апосто-

ле будешь! — говорил вполголоса один румяный и приземистый монашек. — Чай, все глазищи-то о-шую таращить станешь? Туда, где женскому полу стоять указано, хоша бы тот женский пол и от царского корени исходил...

— Опять ты ко мне все с тем же пристаешь! — резко отозвался на эти слова другой молодой инок, с широким лицом, большими быстрыми черными глазами и с родимым пятном на правой щеке. — Я ведь говорил уж, попадет тебе когда-нибудь за это!

— Пусть попадет, к страданиям за правду сопричтется! — продолжал зубоскалить румяный монашек. — А все я тебе правду скажу: плохое, брат, дело, Грища, как четки-то на руке, а красны девки на уме...

— Провались ты и с ними! — проворчал инок Григорий и, быстро отделившись от толпы остальных иноков, прошел в церковь.

— То-то, брат! — продолжал смеяться румяный вслед уходившему. — Должно быть, знает кошка, чье мясо съела!

И затем, обращаясь к другим монахам, добавил:

— Мы с Алешкой заприметили уже кото-

рый раз, что как царевна в собор пожалует, Гришка и сам не свой становится. Голосом-то на клиросе ведет, а глазами-то в царевну так и впивается... Ну и выходит, что запоет — соврет и читать станет — соврет... А ведь уж на что изо всех нас грамотей! Товарищи иноки засмеялись и заговорили между собою что-то шепотом. Федору стало противно слушать их речи, и он вошел в собор. Там еще было пусто, и только тот инок, которого братия звала Григорием, стоял у налоя на клиросе и перелистывал какую-то богослужебную книгу. Федор стал у окна направо, на условленном месте, и залюбовался стройностью и простотой внутренней храма.

— А! Ты уж здесь? — слышался сзади голос Тургенева. — Рано же ты забрался! Народ только что собираться стал... Но отойдем подальше от стены и станем здесь, около столба, — продолжал Тургенев, обращаясь к Федору. — Тут и слышнее, и виднее.

— Пожалуй, — согласился Федор. — Хоть, по мне, и тут хорошо.

Вскоре после того раздался благовест колокола, и началось служение.

Только уже переместившись на новое место, Федор мог внимательнее рассмотреть своего друга и успел заметить, что Петр Михайлович был чрезвычайно взволнован: он то оглядывался на входные двери собора, то проводил рукой по своим густым черным волосам и потом, словно спохватившись, начал поспешно креститься и класть земные поклоны.

Но вот послышались топот коней и стук колес в ограде. Молодой служка бегом перебежал с паперти через весь собор, шепнул что-то старшему монаху, указывая на паперть... Взоры всех присутствовавших в храме обратились в ту сторону, и вот в настежь открытые двери, окруженная своей придворной свитой, вступила царица Ксения...

— Смотри, смотри! — прошептал Тургенев Федору, быстро и порывисто хватая его за руку. — Вот она, погубительница моя!

Федор глянул в ту сторону, откуда царица вошла, глянул на нее как раз в то мгновение, когда она, при входе в церковь, откинула фату с лица и возлагала на себя крестное знамение... Глянул и обомлел...

Царевна была ростом немного выше среднего, но сложена — на диво; все в ней было соразмерно, все согласовано и все движения стройного, сильного, молодого тела были также полны спокойной грации, как и вся ее фигура.

При первом взгляде на царевну всех поражали в ее прекрасном лице большие черные глаза, полные неги и ласки, они приветливо смотрели на всех из-под густых и красиво очерченных сросшихся бровей. Близкие к царевне люди утверждали, будто ее глаза были еще краше, когда в них блистали слезы, тогда-то прелесть их была неотразима!.. Роскошные волосы царевны были прикрыты собольей шапочкой с жемчужными привесками, но сзади они падали тяжелой, толстой косяю, которая почти касалась пола. Боярыни, стоявшие около царевны, то и дело брали эту тяжеловесную косу в руки и почтительно поддерживали ее, когда она кланялась в землю или становилась на колени во время молитвы.

Федор Калашник, пораженный красотой царевны, взглядывал то на нее, то на окружа-

ющих. Особенное внимание Федора привлек тот инок Григорий, которого еще на паперти товарищи дразнили чрезмерным интересом к царевне Ксении. Из темного угла, в котором Григорий стоял на клиросе, невидимый царевне, но видимый Федору, он ни на минуту не спускал с нее своих больших темных глаз, горевших ярким пламенем, а когда ему пришлось выйти на середину храма для чтения Апостола, он вышел с таким смущением, начал чтение так трепетно, так робко и невнятно, что Федору невольно пришли на память насмешки румяного монашка...

Переводя по временам взоры на своего друга, Тургенева, Федор видел в нем живую противоположность иноку Григорию. Петр Михайлович как опустился на одно колено за столбом, как оперся на другое колено рукой, так и замер в этой молитвенной позе, замер немой и неподвижный. Глаза его пристально смотрели в ту сторону, где, облитая бледным светом лучей зимнего солнца, молилась царевна Ксения... Он молился, и молитва его была чиста. Он вкладывал в молитву всю свою душу...

Чем была проникнута, чем светилась молитва Петра Михайловича?..

«Умрет, умрет за нее, за ее радость и счастье!» — вот что понял Федор, вот что прочел он в глазах друга, когда богослужение закончилось и царевна со своей свитой удалилась из храма.

Федор не заговорил с Тургеневым, пока тот не обратился к нему со словами:

— Ах, Федя! Как сладко было, как светло на душе! А теперь какой сумрак, какая тоска во мне!.. Словно мне и солнце не светит.

— Полно, Петр Михайлович! Неладное это ты на себя напускаешь... Высоко до солнца этого, где же от него света ждать?!

— Знаю, знаю все, что ты мне скажешь! — отвечая ему с досадой Тургенев. — Да что проку! Околдован я, что ли, и сам не знаю... Только вот видишь ли, как увидал, так и пришла моя погибель! Пятый месяц на Москве живу, и с места нет сил сорваться!.. А как бы мне хотелось уехать, уехать вдаль, в степи неоглядные Сибирские, в сторожи татарские, в станицы Терские, там бы сложить голову!

— Полно, Петр Михайлович, не в мои и не

в твои годы о смерти думать! Каждый себе по силам подвиг найдет... Да и что же ты? Звал меня к себе в гости, я так и дяде сказал, что после обедни к тебе пойду на Романов двор... А ты тут жалобные песни заводишь!

— Прости, дружище, не прогневайся! Больше об этом и поминать не буду... Пойдем на Романов двор, побеседуем, нам есть о чем с тобой поговорить, столько лет не видавшись!..

И друзья, выйдя из Кремля Фроловскими воротами, направились мимо Василия Блаженного на Варварку, где стоял уже известный нам двор бояр Романовых.

IV

В гостях у Федора Никитича

Когда Тургенев с Калашником подошли к воротам романовского подворья, перед хоромами боярскими уже стояло на улице много верховых коней под попонами да десятка два крытых пестрыми коврами саней с запряженными в них парами и тройками и иноходцами в одиночку. Около саней толпились слуги приезжих гостей и домашняя челядь бояр Романовых.

— Ах, батюшка, Петр Михайлович! — воскликнул навстречу Тургеневу Сидорыч, один из старых романовских челядинцев. — Вовремя ты пожаловать изволил! Боярин наш просит тебя немедля к себе в хоромы да и богоданного гостя просит с собою привести, зовет вас обоих хлеба-соли кушать.

Отказаться от великой чести было никак нельзя, и потому друзья направились вслед за слугой в боярские хоромы.

В обширной столовой избе, пристроенной к хоромам Федора Никитича и освещенной

целым рядом небольших, почти квадратных слюдяных окон с мелким переплетом, поставлен был широкий и длинный стол, за которым на лавках, на опрометных скамьях и на отдельных стульцах сидели сейчас гости Федора Никитича.

По углам комнаты помещались разные деревянные поставцы, уставленные богатой золотой и серебряной утварью и диковинной заморской стеклянной посудой. С потолка, украшенного резьбой, спускались три паникадила из точеной и прорезной рыбьей кости. Около двух отдельных столиков суетились слуги, одетые в красные суконные кафтаны. За одним столом разрезались и раскладывались кушанья, за другим разливалось и разносилось в кубках вино.

— Добро пожаловать, гости дорогие! — приветствовал вошедших друзей сам хозяин дома, приподнимаясь со стульца и указывая на два пустых места за столом. — Просим милости хлеба и соли наших откусать... Брат Михайло, позаботься, дорогой, о том, чтобы гости сыты были да чтобы их чарочкой не обнесли!..

Когда Тургенев и Федор Калашник уселись на указанные места, Михайло Никитич шепотом сообщил им, что рядом с хозяином сидит знаменитый дьяк Посольского приказа Афанасий Власьев и рассказывает о том, как принимал его «арцы-князь Аустрейский Максимильян» и как с ним беседовал. Когда тот закончил свой рассказ, выслушанный всеми с величайшим вниманием, Федор Никитич обратился к дьяку:

— А расскажи-ка ты нам, Афанасий Иванович, чем тебя арцы-князь Аустрейский за своим столом потчевал?

— Да-да! — подхватили сразу несколько голосов. — И точно любопытно! Чем тебя там угощали?

— Угощал он нас изрядно, бояре. Яства были разные и многие: и орлы, и павы, и гуси, и утки, и всякие птицы, сделанные в перье золоченом. И рыбные яства тож: деланы киты и щуки, и иные рыбы, и пироги разными образцы золочены. Яств с пятьдесят!.. Да овощи разные и сахары на тридцати пяти блюдах.

— Ого! — отозвался князь Сицкий. — Расщедрился, однако, немец. Потом, чай, целый

год свой изъян нагонял! Я тут как-то позвал к себе на обед царского дохтура Бильза, так он мне и говорит: «Ну, князь, тем, что мы с тобой сегодня за обедом съели, у нас в неметчине целая семья была бы с год сытехонька».

Все засмеялись. Посыпались шутки и остроты.

— Вот братца Мишеньку в Немецкую-то землю послом бы отправить! — заметил, смеясь, боярин Александр Никитич Романов. — Так он бы там, пожалуй, с голоду помер! Стали бы давать ему в суточки всего-то по две уточки!

— Еще бы! Где же такого богатыря двумя уточками прокормить! — заметили с разных сторон, попеременно со смехом, несколько голосов. — Он подковы ломает, как щепку, на медведя в одиночку выходит... А тут его к немцам... Да по две уточки...

— Обрадовались, что есть над кем зубы точить! — посмеиваясь, отвечал на шутки Михайло Никитич. — Или вы думаете, что от еды у меня сила берется?.. Силу так уж мне Бог дал. Вон говорят, Сенька-то Медвежник против пятерых мужиков ел, а нашел же себе

супротивника, который ему и пикнуть не дал.

— Сенька Медвежник?! — откликнулись на это замечание многие из сидевших за столом. — Да это же первый кулачный боец на Москве! Кто же мог его уложить?.. Ему, кажется, смерть на бою не была и написана?

— Видно, была, коли прилунилась! — отвечал Михаил Никитич. — А вот здесь — за нашим столом — сидит и супротивник его.

И он указал на Федора Калашника, который зарделся, как маков цвет, и готов был провалиться сквозь землю, когда все взоры обратились в его сторону.

— Вот он каков, гость-то твой, Петр Михайлович! — приветливо обратился Федор Никитич к Тургеневу. — С ним, значит, нельзя шутки шутить!.. А споведай ты нам, добрый молодец, каких ты родов, каких городов?

— Родом я, боярин, из Углича, купца Ивана Калашника сын, того самого рода купеческого, что богаче всех был до Угличского погрома и беднее всех стал, как наехали к нам судьи неправедные да всех граждан именитых отдали в немилостивый розыск...

При этом воспоминании все шутки и смех

разом смолкли, все участливо и сострадательно посмотрели на Федора, к которому опять боярин Федор Никитич обратился с милостивым словом:

— Где же теперь твой отец, добрый молодец?

— В сырой земле, боярин... До сих пор нутро поворачивается, как вспомню о том безвременье...

— Ну, полно, добрый молодец, старое горе вспоминать, — ласково перебил Калашника Федор Никитич, видимо, желая переменить невеселый разговор. — Расскажи лучше нам, как ты это с Сенькой Медвежником расправился?

— А как расправился, боярин? Я его побивать и не думал, шел только поглазеть на кулачный бой... Да он сам во мне сердце разжег! Вышел, стал вызывать себе супротивника. Вижу, все друг за дружку хоронятся, никто вперед нейдет, а Сенька-то этим спесивится. «Эх вы! — говорит. — Угличские ротозеи, царевича на красном товаре проспали!» Как он сказал это, так во мне и вскипела кровь. «Что, — говорю, — проспали?» Да и выскочил вперед

и встал супротив него. А он на меня не смотрит, бахвалится: «Вот, — говорит, — он самый, ротозей-то угличский!» И все кругом загалдели, загорланили, на смех меня подняли... А я стою против него, говорю: «Выходи, горе-богатырь, посмотрим, кому жить, кому живота избыть?» Сошлись мы, да на первом ступе я спуску не дал, удар его отбил. На втором он норовил меня с размаху под грудь ударить, да я увернулся, и он еле-еле на ногах устоял. Вот с неудачи-то озлился он и ринулся на меня без разума, думал одним ударом с ног меня срезать, да забыл левой рукой от меня прикрыться... И ударил я его, что было моченьки... Вижу, у него руки опустились, глаза закатились... Зашатался он да к ногам и рухнул. Все так и ахнули... Никто не думал, чтобы мне живому с поля сойти.

— Ну, исполать тебе, доброму молодцу! — улыбаясь, ласково сказал Федор Никитич. — По делам тому озорнику и мука.

Затем, встав со своего места, Федор Никитич поднял полную чарку и, обратясь к гостям, сказал:

— Князя и бояре! В конце стола выпьем

мы, по обычаю, заздравную чашу государеву.

И когда гости поднялись со своих мест с чашами в руках, хозяин обратился лицом к переднему углу, в котором помещены были иконы, и произнес длинную, витиеватую молитву, сложенную на этот случай по желанию царя Бориса.

По окончании молитвы все выпили чаши свои в глубоком молчании и стали расходиться из-за стола. Хозяин поручил брату своему, боярину Александру Никитичу, проводить гостей постарше да попочетнее в его боярскую палату и приказал слугам подать туда старинных романовских медов гостям на утеху. А в то время, когда Михайло Никитич с Алексеем Шестовым и Федором Калашником собирались идти осматривать хозяйских кречетов на кречатне, хозяин подозвал к себе Тургенева и молвил ему на ухо:

— Завтра, раным-рано, будь готов со мной да с братом Александром к Шуйским на охоту в Кузьминское ехать. Мы тебя с собой в обережатых возьмем: едучи в это волчье гнездо, надежных людей нужно брать!..

V

По душе

Кузьминская усадьба князей Василия и Дмитрия Шуйских лежала далеко в стороне от Звенигородской дороги, среди обширного дремучего бора, который тянулся во все стороны от усадьбы верст на двадцать.

— Милости просим к нам на медведя косматого да на лося сохатого, в Кузьминское, гости дорогие! — говорил Дмитрий Иванович братьям-боярам Романовым при последнем свидании с ними во дворце и сообщил при этом, что съезд у него будет большой и что «для дорогих гостей» три медведя обложены да медведица с медвежатами...

В назначенный день собралось в Кузьминском немало гостей. Каждый гость привез с собой и свою охотничью свиту. Охотились и пировали, а после позднего обеда, который как-то незаметно сошелся с ужином, когда гости стали расходиться по опочивальням, князь Василий Иванович просил бояр Романовых да князя Ивана Федоровича Милослав-

ского, да князя Василия Васильевича Голицына к себе в задние хоромы на тайную беседу и всем на ухо сказывал, что «дело есть», что надо бы «его пообсудить немедля и сообща».

— Ну, князь Василий Иванович, докладывай, какое ты нам дело объявить хотел! — сказал князь Василий Голицын, усаживаясь за стол рядом с Милославским по одну сторону хозяина, между тем как братья Романовы садились по другую сторону.

— Дело всем нам близкое и важное, князья и бояре, и давно пора нам о нем подумать! — сказал Василий Шуйский, понижая голос и оглядываясь на дверь в сени, которую плотно и тщательно притворил его брат Дмитрий Иванович. — Дурные вести идут отовсюду! — продолжал Василий Шуйский. — На Дону беспокойно, крестьяне туда толпами бегут. Да и на Москве житье все хуже да хуже становится. Пошли доносы и изветы... Каждого холопа приходится нам опасаться! Чай, слышали, что князя Шестунова холоп царю на господина своего донес, и что же? Доносчику сказано царское жалованное слово на площади за службу и раденье, дано поместье и при-

казано служить в детях боярских. Каково!.. Считайте, всем нашим холопам сказано: ступайте, донесите на господ, умышляйте всякий над своим боярином!.. Чего же нам ждать еще, бояре?

Милославский вздохнул глубоко, а Голицын покачал головой и развел руками. Романовы хранили глубокое молчание.

— Или хотим дожить до худшего позора? Хотим, чтобы и с нами Борис расправился, как с нашим братом, боярином Богданом Вельским? — продолжал Шуйский, воодушевляясь все более и более. — А ведь Бельский-то во какой вельможа — из первых при царе Иване! Оружничий!.. Да и при Федоре...

— Ох, горе нам! — воскликнул Голицын и покачал головой.

— Не по грехам нас Бог наказывает! — прошептал Милославский. — Именно не по грехам!

— Мы все здесь родовиты, князья и бояре! А кто родовит, тот у Бориса в вороги лютые записан... Не ему, потомку татарского мурзы, чета верстаться с нами в правах и знатности, и мы ли будем от него терпеть несносные

обиды!.. Мы обуздать его должны!.. Мы...

— Постой, постой, князь Василий! — перебил Федор Никитич. — Ты это говоришь не гораздо! Борис Федорович, чей бы ни был он потомок, теперь нам царь... И мы ему не судьи.

— А кто ж, по-твоему, ему судья, боярин? — запальчиво вступился князь Голицын.

— Кто?.. Великий Бог! Вот судья царю Борису.

— Ну, до Бога высоко, боярин! — язвительно заметил Василий Шуйский. — Богу на царя Бориса не подашь челобитной!

— Ты, видно, хочешь, чтобы мы ему, как бараны — и голову, и шею подставляли? — взглянул в глаза Голицын.

— А по-вашему то как же? — пожал плечами Федор Никитич. — Крестное целование нарушить, да заговоры затевать, да строить тайные козни?.. Так, что ли?

— Не козни строить, Федор Никитич, нет, — лукаво и вкрадчиво сказал Василий Шуйский, — а за права стоять, не давать себя в обиду! Ведь мы же все по роду выше царя Бориса и к престолу ближе, нежели он, а он всех нас со свету хочет сжить... Он только Го-

дуновым верит...

— А разве ты не то же сделал бы, кабы царем на царство сел? — вступился за Годунова Александр Никитич, все время молчавший.

— Нет, видит Бог, не так бы я поступал, чтобы только своих тянуть! — с напускным жаром отозвался Шуйский. — Всем надо дать и честь, и место... А это что же? Куда ни оглянись — все только Годуновы лезут вверх...

— Одолела нас совсем эта Годуновщина, верно! — сердито и вяло заметил Милославский.

— Пойдите же, бояре! Я напрямик скажу, — промолвил здесь с улыбкой Федор Никитич. — Мы и все ведь одним же миром мазаны! Вот хоть бы ты, князь Василий Иванович, ведь ты, небось, и не вспомнишь, что вас, Шуйских, в думе тоже трое братьев, а завтра ты воцарись — и ты, как Годунов же, всю родню с собою вверх потащишь... Ну а Голицыных-то, князь Василий Васильевич, разве в думе меньше? Тоже трое братьев!.. И будь царем Голицын, все Голицыны бы вверх пошли. Кто себе враг, бояре?

— Тебе, должно быть, угодил чем-то царь

Борис! — язвительно заметил Шуйский. — Тем угодил, что брата твоего в бояре поднял, да и другой недавно окольниковым же назван...

— Не верно метишь, князь Василий! — сказал Федор Никитич, покачав головой. — Стрела твоя в Романовых не попадет и за живое нас не заденет! Мы к царю Борису в душу не лезем, не угодничаем перед ним, не льстим ему... Он брата Александра из кравчих сказал в бояре, а брата Михаила из стольников в окольниковые не за чем иным, как чтобы зависть во всех вас разжечь да чтобы глаза отвести от Годуновых — и только! Кумекайте! А правду-то сказать — нам милости его не надобны и почести его нам не прибавят чести...

— Да я не к тому и слово-то сказал, Федор Никитич! — отнекивался Шуйский. — Не в обиду ведь, не подумай... А только ради шуток!

— Ну, князь Василий, тут шуток не у места, коли ты речь повел о важном деле. Я шутить делами не умею.

— А я и в толк уж, право, не возьму... — заметил с нескрываемой досадой Голицын. — Начал ты издалека и разговор повел о наших

правах боярских... Что же теперь виляешь!

— Не виляю я, князь Василий Васильевич! — начал опять сладкоречивый Шуйский. — Да видишь ли, чуть только я начал речь о деле, как Федор-то Никитич сразу и оборвал меня. Ну я и на попятный...

— Что ж нам Федор Никитич! — сказал еще резче Голицын. — Чай, мы не хуже Романовых бояре! Вытряхивай, что есть за пазухой, все нам вали!

— Да я-то по душе хотел, бояре и князья! — оправдывался Шуйский. — Я созвал недаром вас, первых вельмож московских, чтобы с вами дело порешить. У вас спросить совета...

Он, видимо, собирался с духом, оглянулся еще раз крутом и наконец решился промолвить:

— Чует мое сердце, что будет смута на Руси!.. Борису не сносить венца на голове... Не знаю, верить ли, а ходит слух... Будто близок конец его влaстительству... А если точно он лишится власти, за кого вы будете стоять, бояре?

— Об этом и спросу быть не может! — спокойно и твердо сказал Федор Никитич. — Дай

Бог Руси православной избегнуть всяких смут! Но если бы царь Борис, по Божьей воле, лишился власти или Господь его к себе призвал на суд, то мы все должны стоять за сына Борисова, за Федора Борисовича. Так ли говорю я, брат?

— Вестимо так! — отозвался Александр Никитич. — Мы и ему крест целовали.

— Как же это! — воскликнул Шуйский, теряя обычное свое самообладание. — Так вы хотите, чтоб и годуновское отродье утвердилось на престоле?!

— Не мы того хотим, князь Василий Никитич! — горячо и громко ответил Федор Никитич. — А вы все, бояре, того хотели, и ты, князь Василий, больше всех!

— Я-то? Я? В уме ли ты, боярин? — в бешенстве вскричал Шуйский, сверкая своими маленькими злыми глазками.

— Да. Ты, князь. В твоих руках была судьба Бориса! Ты ее держал в руках еще в ту пору, когда Борис и не был царем...

Шуйский вдруг изменился в лице... Глаза его забегали по сторонам в великом смущении. А Федор Никитич продолжал:

— Ты покривил душой, князь, в то время, как ты был послан на розыск в Углич. Ты не дерзнул назвать покойному царю, кто главный был убийца царевича Дмитрия... Ты за себя боялся! Ты предпочел сгубить десятки, сотни неповинных... теперь и казись, и терпи!

— Это ложь! Это клевета! Не допущу... Он лжет, бояре! Не верьте, я не знал... Я и теперь не знаю! — растерянно твердил Шуйский, обращаясь то к Голицыну, то к Милославскому.

— Ты не знаешь, да угличане-то ведь знали, кто убийца! И в один голос все вопили одно! — грозно воскликнул Федор Никитич, поднявшись во весь рост и устремивши взор на Шуйского. — Но ты не дерзнул о том донести царю Федору, ложь ты показал, лжи очистил ты дорогу на престол и корень зла всего посеял... А сам теперь кричишь, что ложь всех нас заплонила!

Никто не смел ответить на эту горькую правду. Только Дмитрий Иванович Шуйский решился проворчать из своего угла:

— Кто старое вспомянет, тому и глаз вон!

— И то, и то! Верно! Что вспоминать! — за-

говорили примирительно и Голицын, и Милославский. — Мы не о прошлом толковать собрались, а о том, как быть теперь!.. Что делать?..

— Я повторяю вам, бояре, — сказал Федор Никитич, — что я вам не помеха. Какую бы ни пришлось пережить смуту, как бы ни тяжело было нам, я за себя, за братьев и за всю свою родню одно скажу: мы от царя Бориса и от сына его Федора ни на шаг... Романовы присягой не играют!..

Князь Василий Иванович окончательно вскипел и вышел из себя.

— Ну, боярин, спасибо! — закричал он со злобным смехом. — Утешил! Не знали мы, что встретим в тебе такого верного слугу Борису Годунову!

— Не Годунову, — твердо и спокойно отвечал Федор Никитич, — а царю Борису! Бог попустил, чтобы он нами правил, и пусть он правит по Божьей воле. Не нам с тобой, грешным людям, против Бога ходить! Что бы это было, кабы мы избирали царей не Божьим изволеньем, а своим хотеньем... У нас не Польша, слава Богу!

— Да что ты нам в глаза все с Богом лезешь! — вскричал Голицын. — Чай, мы и поговорку знаем: Бог-то Бог — да и сам не будь плох!

— Я вот что тебе на это скажу, князь Василий Васильевич, — твердо и спокойно обратился к Голицыну Федор Никитич. — Ты знаешь, я охотник старый и бывалый. Все охотничьи порядки знаю на память и не ошибусь... Не первый десяток лет хожу я на медведя... Позапрошлым годом поднял я косолапого из берлоги. Рогатина в руке, нож булатный на поясе, а за спиной у меня и братья родные, и друти верные. Пошел на меня медведь. Я ему рогатину подставил и в бок всадил, а он одним ударом лапы ее в щепы! Да на меня, сшиб с ног, насел и под себя подмял... Ревет, когтями рвет... И на всех-то кругом такой страх напал, что опешили, столбами стали... Я ножа хватился — нет ножа на поясе! Тут я взмолился к Богу: «Господи, не попусти!» И чую вдруг, что нож-то у меня в руке... И я его — по рукоять медведю в сердце... Так вот Он, Бог-то! На Него надеясь, не погибнешь!

Все молча выслушали Романова, и никто не отозвался ни единым словом на его замечание. Василий Шуйский поспешил изгладить впечатление его рассказа.

— Ну, делать нечего! — промолвил он, лукаво и злобно посмеиваясь. — Пусть так! Коли тебе так люб и дорог царь Борис и все его отродье, так и держись их! Да только, боярин, не просчитайся... Не раскаялся бы ты потом, что с нами не хочешь быть заодно... Что нас меняешь на Годунова!

— Не вас меняю и за Годунова не стою, а от креста отречься не хочу и не могу кривить душою... Ну, прощенья просим! Брат Александр, поедем.

— Как? В такую глухую ночную пору? — засуетился Шуйский. — Нет, не отпущу, бояре! Как хотите, не отпущу!

— Нет, мы поедем. Вели подавать нам лошадей! Мы не останемся, нам нечего здесь больше делать.

— Да помилуй, боярин! — вступился Дмитрий Шуйский. — Тут у нас проселком грабят по ночам... Уж лучше вы переночуйте!

— Спасибо. Мы ни зверя, ни лихого челове-

ка не боимся, — сказал Александр Никитич. — И кони хорошие, и слуги верные, и запас с собой изрядный... Прощайте, счастливо оставаться, бояре!

И братья Романовы вышли из комнаты, в которой происходило совещание. Хозяева проводили их до крыльца, и когда передний всадник, с фонарем, тронулся с места, а за ним двинулись кошевные, запряженные четверкой гусем, и десяток обережатых верхами затрусил мелкой рысцой за боярами, Василий Шуйский вернулся в сени, схватил крепко брата за руку и прошипел ему на ухо:

— Каковы?! Вот их-то прежде всех и нужно Борису в глотку сунуть! Пусть оплатит им за верность!

VI

Золотая клетка

Красноватые лучи зимнего негреющего солнца только что осветили причудливые башенки и крыши Теремного дворца, только что запали в окна той половины, которую во дворце занимала царевна Ксения Борисовна, как уже вошла сенная боярышня и доложила маме, боярыне Мавре Васильевне, что пришли крестовые дьяки и с уставщиком.

— Зови, зови их скорее в Крестовую! — зашептала мама и пошла навстречу дьякам.

В комнату с низкими поклонами вступили пять человек певчих дьяков в стихарях, все уже люди пожилые, с проседями в бородах, и уставщик, дьякон верховой (дворцовой) церкви — седой старик лет семидесяти, но еще бодрый и свежий на вид.

Мама раскланялась с ним весьма дружелюбно.

— Послала за тобой пораньше, Арефьич, потому не заспалось нашей пташке нонечь! Ну а уж не помолясь у Крестов, она и маковой

росинки с утра не примет!

— Все одно, матушка, Мавра Васильевна, мы ведь и завсе рано поднимаемся.

И мама царевны с дьяками и с кравчей боярыней прошли в Крестовую и притворили за собой двери. Через несколько минут там раздалось стройное пение хора, прерываемое мерным и протяжным чтением уставщика.

— Ах ты, Господи, Господи!.. — заговорила вполголоса та сенная боярышня, которую Мавра Васильевна посылала за крестовыми дьяками. — Что это за наказание такое! Ровно в монастыре!.. Варенька, голубушка! Сбежала бы я отсюда!

— Что ты, что ты, Ириньюшка! — воскликнула с испугом Варенька, другая сенная девушка, которая суетилась около пялец царевны, приводя в порядок канитель и шелки, разбросанные крутом пяличного дела. — Ты этак, пожалуй, и при других скажешь! А как кто услышит? Да если до самой-то еще донесут!..

— Ах, пусть бы до самой донесли! Не боюсь я ничего! — несколько возвышая голос, продолжала жаловаться Иринья. — Сил моих уж

нет! Все одно пропадать!..

И она заплакала с досады. Варенька подошла к ней и обняла за плечи.

— Да чего же, чего же тебе, неразумная! Ведь, кажется, мы и сыты здесь, и одеты, и ни в чем нужды не терпим... И царевна к нам ласкова... Ну?

— Что мне в том? Разве это жизнь! С восхода до заката солнечного все в четырех стенах, как в клетке, как в тюрьме! Живого человека не увидишь, все одни седые бороды... Будь им пусто! Только и радости всей, что Богу молись с утра до ночи! Я так не могу, воля твоя, не могу...

— А небось как вчера-то в Чудов монастырь с царевной ехать, так ты первая вызвалась! — лукаво улыбаясь, сказала подруге Варенька.

— Да потому, что там хоть людей увидишь! Хоть не те же все боярыни-казначеи, да ларешницы, да верховые боярыни, да постельницы... Надоели они мне хуже горькой редьки. А я, я тебе правду скажу, я каждой светличной мастерице завидую...

— Ах, Бог мой! Да в чехм же?

— Ав том, что она, как работу кончит, куда захочет — идет, кого хочет — любит...

Но в это время в Крестовой чтение закончилось, послышалось пение дьяков, а затем дверь в Крестовую скоро отворилась, и оттуда вышли дьяки и боярыни.

Дьяки с обычными поклонами удалились. Благоухание ладана пахнуло в комнату, и легкая дымка кадильного курения синей стружкой повисла под раззолоченным потолком царевнина терема.

Наконец царевна Ксения, в домашней легкой телогрее из белого атласа и в легкой накладной шубке из белого сукна, подложенной желтой тафтой, вышла из Крестовой палаты. Великолепные темные волосы царевны, спереди придерживаемые легким золотым обручем, падали на плечи длинными дивными локонами, а сзади спускались двумя толстыми косами почти до самых пят. Лицо царевны было бледнее обыкновенного, глаза красны от слез. Ответив на поклоны присутствующих легким наклонением головы, царевна перешла через комнату, опустилась в кресло, закуталась поплотнее в свою шубку и молча по-

нурила голову...

Несколько минут продолжалось тягостное молчание.

— Аль неможется, царевна? — подступила к ней с обычным вопросом мама, наклоняясь и пристально всматриваясь в очи.

— Нет... Так только изредка чуть-чуть знобит, а там вдруг в жар бросит...

— Послала я за комнатной бабой...

— Ничего не нужно, я здорова, и лечить меня нет необходимости...

Опять наступило молчание.

— Царевна, матушка! — с льстивой миной начала кравчая боярыня, княгиня Пожарская. — К нонешнему обеду каких приказных блюд не повелишь ли изготовить?

— Ничего не хочу, — спокойно и сухо отвечала Ксения, отворачиваясь к окошку, покрытому поверх мелкого переплета слюды причудливыми узорами инея, блиставшего сейчас всеми цветами радуги.

— И то уж я ума не приложу, как угодить тебе яствой... Ничего, почитай, вкушать не изволишь! А на нонешний обед яствы: на блюдо три лебеди, да к лебедям взвар, да утя

верченое, да два ряби, а к ним лимон, да три груди бараньи с шафраном, да двое куров рас- сольных молодых, да пупочки, да шейки, да печенцы тех же куров молодых, да курник, да кальи с огурцами, да ухи курячьи черные с пшеном сорочинским, да пирогов пряженных кислых с сыром, да пирог подовой с сахаром... Да...

— Ты не устала еще блюда-то считать? — с досадой перебила царевна словоохотливую боярыню-кравчую.

— Коли не любо, так вот я и спрашиваю, еще чего не будет ли в приказ?

— И к тому не притронусь, все раздам...

Мама и кравчая многозначительно переглянулись и развели руками, как бы теряясь в соображениях.

В это время вошла еще одна сенная боярышня и с низким поклоном доложила о приходе стольника государева с «обсылкою и опросом», как государыня царевна «почивать изволила и в добром ли здоровье обретается?»

— Скажи, что посеючас Божиим милосердием здравствую и спала хорошо, — отвечала

царевна боярышне.

Но едва только та успела выйти за двери, мама с сердцем обратилась к царевне:

— Вот и не ладно приказала сказать государю-батюшке! И спала не хорошо, и неможется тебе, царевна... Грех берешь на душу перед батюшкой!

— Ты все с тем же! — с досадой сказала царевна, оборачиваясь к маме и сердито хмуря брови. — Я тебе говорю, что я здорова! А ты что стала, чего еще нужно? — обратилась царевна к кравчей. — Чай, слышала, что приказаний не будет?

Кравчая боярыня отвесила поклон и направилась к двери, неслышно ворча себе что-то под нос. За нею вышла из комнаты и мама.

Царевна Ксения оперлась локтями на поручни кресла и глубоко задумалась, устремляя взор в пространство и не замечая присутствия своих двух любимых сенных боярышень. Ей вспоминалось далекое веселое детство, отрочество вспоминалось и ранняя юность, проведенные не в тесном теремном заточении царского дворца, а на свободе, среди подруг и сверстниц, в обширных хоромах

отца (тогда еще конюшого боярина) или в привольных садах села Хорошева. Ей вспомнились тогдашние игры, и беззаботное веселье, и чудесный, искренний, переливчатый смех подруг, и простые, сердечные отношения к людям, и радужные надежды на будущее... И где же эти подруги ранней юности? Где они? Давно все уже замужем! Разлетелись с мужьями по разным концам Московского государства, у них своя воля, свой дом, и дети, и заботы, и печали, и радости... А она, краше всех их, всех их умнее, она все еще в девушках, все еще на руках у мамы! Шагу ступить не смеет без разрешения матушки да верховных боярынь, а у них все по чину, да по обычаю, да чтобы истово было... «Ах какая тяжкая неволя! — с сокрушением думала царевна. — И никогда-то мне из нее не вырваться! И в грядущем-то что еще ждет меня? Келья монастырская, в которую, словно в могилу, еще заживо опустят, и...»

Глубокий вздох прервал грустные размышления царевны. Она быстро обернулась к своим сенным боярышням.

— Ирinya? Ты это так тяжело вздыха-

ешь? — спросила царица с кроткой заботливостью. — Что у тебя за горе такое?

— По своим взгрустнулось, государыня царица, — отвечала Ирина. — Давно уж нет от них весточки... Так бы и полетела к ним!..

— Да разве тебе здесь дурно жить, Ирина? — сказала царица с легким оттенком укора. — Никто тебя не теснит, не обижает...

— Никто не теснит, не обижает под охраной твоей великой милости, государыня! Да только уж скучно очень в нашей теремной обители, прости ты мне это слово, государыня! Так скучно, так грустно, что как об воле вспомнишь, душа болит, рвется, на волю просится...

Царица собиралась ответить своей любимице назиданием, которому, однако, сама не почувствовала, когда дверь отворилась, и в комнату царицы вошла мама, бережно неся какую-то воду в вощанке, поставленной на серебряную тарелочку.

— Я эту воду святую под образа поставлю, царица! — сказала мама, заботливо указывая на вощанку. — Это от Макарья Желтоводского, еще по осени привезена. Всякий ваш деви-

чий недуг как рукой снимает... Вот вечером, на сон грядущий, и спрысну тебя!..

И старуха прошла в Крестовую, потом вернулась опять и засуетилась:

— Ах, мать моя праведная! Совсем из ума вон! Ведь матушка-то царица приказала звать тебя, царевна, к себе в столовую палату... Ждет тебя немедля!

VII

Сватовство

Царевна поднялась, собираясь идти на зов матери, когда на пороге появилась низенькая и очень тучная женщина лет пятидесяти, живая и подвижная. Ее большие темные глаза блистали умом, а лицо, все еще красивое, дышало веселостью и здоровьем.

— А! Марфа Кузьминична! — с видимым удовольствием обратилась к ней царевна, милостиво отвечая на поклон пришедшей. — Рада тебе! Знаю наперед, что ты меня потешишь, позабавишь, мне что-то не весело сегодня... Подожди меня. Сейчас вернусь от матушки.

И царевна вышла из комнаты в сопровождении своих сенных боярышень.

— А ну-ка садись, мать-казначей! — обратилась к Марфе Кузьминичне мама царицы. — Устанешь еще, вдоволь стоявши-то! — говорила она, опускаясь на лавку около муравленной печки и усаживая боярыню-казначейку. — Рассказывай, чего новенького под полой шубы принесла?

— Вот те на!.. Никак, и ты меня в забавницы рядишь, Мавра Васильевна! — смеясь, заметила казначейка. — Это царица твоя все ко мне, как в ларец за кузнею аль за жемчугом, за забавой ходит... На всех на вас забав не напасешься!

— О-ох! Позабавь хоть ты ее! А то она у нас совсем завяла... Ничем ее не проймешь, ничем ей не угодишь! Я и песни по вечерам затевала ей на утеху, и на теплых сенях игры разные заводила, и карлиц плясать заставляла и колесом ходить... Сердится, вон даже гонит! Надоели, говорит. А вот нищими угодила ей нашими-то, целый вечер изволила слушать, как они ей стихи пели про Егорья Храброго да про «пустыню прекрасную», и сама да-

же потом на гусях гласы к стихам подбира-
ла... Ох, трудно с ней, матушка, становится!

— Чего еще захотела! Чтобы она у тебя и в двадцать лет все в игрушки играла! Замуж выдавать ее пора! Молодая — кровь вот-вот закипит..

— Да знаем мы это и без тебя, мать-казначей! Да откуда же ты царевне жениха-то возьмешь, ведь ей вон принца нужно, а его из репки не вырежешь... Батюшка, говорят, и то уж за море посольство шлет за новым женихом.

— Во-от оно что! И давно пора ее устроить! А то ведь сама в девках-то бывала? Знаешь, небось, какова тоска! А на их-то месте и совсем пропасть надо, без обряда ни шагу ступить, ни слова сказать! Вон Иринья у вас, та — ловка! Бес-девка!

— А что?.. А что?

— Даром что в царском терему живет, а сеть далеко раскинула, и говорят, будто жениха себе нашла.

— Ах-ах-ах! Кого же это, Марфушка?

— А изрядного-преизрядного молодца!.. Он Федору Никитичу Романову по жене срод-

ственник, шурином приходится, Алексей Шестов, что в стольники нынче государем пожалован.

— Где же он ее видел? Да и как с ней стакнулся? Ведь она же все тут, около царевны, как пришитая.

— Ну да уж недаром говорят: «Красных девушек высматривать — по теремам глазеть!» Вот он ее и высмотрел, а стакнулись-то уж, вестимо, через сестру... Бабье племя сводить да мутить падко... Чай, через сестрицу-то, через Аксинью Ивановну, все и дело у них ладится... Ведь она к царевне-то вхожа.

— А-ах! Скажите на милость, мне и невдомек, что она и сама тоже Шестовых!.. И вот ведь какая эта Иринья неблагодарная! Ведь у родителей-то бедным-бедно, и взяли ее к царевне малехоньку и тут в такой благодати да в холе вырастили... И она же царевну покинуть хочет, шашни-башни строит, замуж норовит?..

— И-и, Мавра Васильевна! Ведь девка-то, что волк, сколько ни корми, все в лес смотрит. И то сказать, замуж захочет, так уж тут не до благодарности.

Как раз в это время дверь отворилась, и царица Ксения вступила в комнату со своими сенными боярышнями.

Боярыня-казначей подошла к царице тотчас после того, как она опустилась в свое кресло перед пьльцами.

— Ну, Марфа Кузьминична, что новенького скажешь? — спросила ее царица рассеянно, блуждая взором по мудреному узору, который был начат в пьльцах, по прориси.

— Да вот, государыня царица, за спросом к твоей милости... По приказу твоей матушки царицы рылась я ономясь в задней повалушке на старом дворе, разбиралась там с ларешницами царицыными в сундуках кованых, да в коробьях новгородских, да в немецких шкатулках писаных, все со старой рухлядью, да и дорылись мы так-то до угла, в котором три кипарисных сундука нашли, серебром окованы, и ярлычок к ним прибит, и потому ярлычку видно, что в тех сундуках сложены царицы Елены вся крута и казна платьеная... И лежит она там лет семьдесят некретимо...

— Какой же это царицы Елены? — спроси-

ла царевна Ксения, с интересом взглядывая на казначею.

— Царицы Елены Глинских, что второй супругой была у Великого князя Московского Василия Ивановича, а царю Ивану Васильевичу матушка.

— Так что же ты речь завела о сундуках ее?

— Спросить хотела, не повелишь ли ты сундуки сюда взнести, да вскрыть, да посмотреть на старые наряды. Авось там и пригодное найдется? А что негоже, то можно бы раздать, чтобы не тлело даром.

— Вели взнести, пожалуй! Авось и позаймусь я этим, порассеюсь. А то я все скучаю, Марфа Кузьминична, и только вот как на молитве стою, так мне не скучно.

— Пеню время и молитве час, государыня царевна, а и своей красоты девичьей забывать не след, — лукаво улыбаясь, заметила казначея. — Вот, может быть, из старинных-то нарядов что тебе и приглянется? Ведь бабушки-то наши тоже затейницы были!.. Да я еще вот что придумала, государыня, для твоей забавы: есть у меня на примете бахарь, и уж такой-то знатный... Где-где не бывал! И у

бусурманов в плену, и во граде Иерусалиме, и в Царьграде в самом... Я его у княгини Куракиной целый вечер слушала, да где тут! В три дня его не переслушаешь!

— Ах, Марфа Кузьминична, голубушка! Вот этого бахаря-то ты мне достань-достань поскорее! Смерть как я слушать люблю, если кто бывальщины да странствия сказывает!

И глаза царевны заблестели, лицо оживилось.

— Достану, достану его, матушка! Он старичок такой почтенный, древний... А теперь я, значит, распоряджусь, чтобы сундуки-то сюда поднять.

И казначея, уточкой переваливаясь, спешно зашагала к дверям.

Мать-казначея так оживила царевну своим обещанием прислать ей бахаря, так расшевелила ее воображение этими старыми сундуками, в которых предстояло порыться, что царевна стала разговорлива, шутила и смеялась и даже принялась за пяльцы, а сенным боярышням своим поручила разматывать шелк.

В это время ей доложили о приезде бояры-

ни Ксении Ивановны, супруги Федора Никитича Романова, которую царевна очень любила и жаловала.

— Проси, проси ее скорее! Боярышни, ступайте ей навстречу.

Через минуту Ксения Ивановна, женщина лет тридцати, красивая и стройная, с неправильными, но очень приятными чертами лица, явилась на пороге и поклонилась царевне обычным поклоном до земли. Тонкий белый убрус, вышитый золотом и шелками, покрывал голову боярыни. Богатейший опашень из петельчатого брусничного атласа с золотой струей прикрывал собой нижнее светло-песочное камчатное платье, которое на запястьях рукавов и на подоле заканчивалось жемчужным низаньем.

Царевна пошла навстречу Ксении Ивановне и спросила ее о здоровье, затем она приказала ей сесть на скамеечку около своего кресла.

— Что детушки твои, здоровы ли? — ласково спросила царевна боярыню.

— Спасибо на твоем спросе, государыня царевна. Посейчас здоровы, как ягоды, и весе-

лы, а подчас, как расшумятся, так и не унять... Особенно Ирина! Она у меня выдумщица такая!

— Как это весело, должно быть, возиться с детками?

— Еще бы! Ими и жизнь-то красна! За них меня и муж любить стал... А не любил сначала, — смеясь, призналась боярыня.

Царевна тяжело вздохнула и, видимо желая переменить разговор, промолвила:

— А я все и не спрошу тебя, Ксения Ивановна... Ты, может быть, ко мне по делу?

— Да, хотела бы тебя, царевна, потревожить просьбишкой, да еще и не своей, а чужою...

И Ксения Ивановна украдкой оглянулась на маму и на боярышень. Царевна поняла значение этого взгляда и сделала им знак, чтобы они вышли за двери.

— У тебя, царица, в сенных боярышнях служит Иринья Луньева, из бедных смоленских дворян. Я к ней давно присмотрелась, и крепко полюбила она мне... А ты изволила, быть может, слышать, что у меня есть брат, человек он молодой и скромный... Так я бы

думала, что если бы милость твоя была, так ты бы матушку царицу попросила разрешить, я бы тогда за брата ее посватала.

Царевна слегка, чуть заметно, повела бровями.

— Да сама-то Иринья об этом ведает ли?

— Да... Кажется, и она не прочь выйти замуж за брата, — с некоторым смущением сказала боярыня. — Но ведь не смеет и подумать, коли на то не будет милости твоей и воли матушки царицы.

— Так, так... Что же?.. Я попрошу... Я буду матушку просить, чтобы дозволила, а я... Я всякого ей счастья желаю... Я всем желаю счастья...

И царевна отвернулась к окну, чтобы скрыть свои волнение и слезы, которые навернулись ей на глаза.

Ксения Ивановна поднялась с места и еще раз усердно просила царевну не оставить ее просьбы без внимания.

— Брат на пути теперь, недавно вот и в стольники сказан... Пора ему жениться и домком обзавестись.

— Да, да... Пора обзавестись! — как-то рас-

сеянно и почти машинально повторила царевна, поднимаясь со своего места и провожая Ксению Ивановну к дверям.

Когда дверь за нею захлопнулась, царевна Ксения взялась за голову обеими руками и проговорила:

— Никто меня не любит... Всех других любят... Все ищут счастья... Одной мне никогда, никогда не найти его!..

И она залилась слезами.

В сенях послышались шум, возня, тяжелые мужские шаги и возгласы Марфы Кузьминичны:

— Сюда! Сюда тащите! В комнату к царевне!

Варенька вбежала торопливо и весело обратилась к царевне:

— Сундуки несут! Большущие, окованные! Сюда нести прикажешь, государыня?

Царевна быстро отерла глаза и отрывисто проговорила:

— После, после! Не теперь! Пусть там в сенях поставят.

И поспешно ушла в Крестовую, оставя боярышню в совершенном недоумении.

VIII

В передней государевой

Бояре давно уже собрались в передней[1] государевой и ожидали царского выхода. Предстояло заняться посольскими делами и снабдить надлежащими инструкциями дьяка Шестака-Лукиянова, который отправлялся в Немецкую землю, ко двору кесаря римского Рудольфа, а по пути должен был заехать и в Данию. Все разговоры в передней вращались преимущественно около трех вопросов, которые предстояло решить в тот день на заседании думы.

— Что бы это значило, что он так долго нынче не выходит? — шептал на ухо соседу старый и хворый князь Катырев-Ростовский. — Ведь вот уже, почитай, часа два стоим здесь... Умаялся я до смерти.

— Кто же его знает... Тут вон мало ли что болтают? — шепотом же отвечал князю сосед, такой же ветхий старец.

— А что же... болтают-то?.. Как слышно?

— Да говорят, что он еще с утра, ранешень-

ко, с каким-то немцем заперся, остролом какой-то...

— Как же это остролом?

— Кудесник, что ли? По звездам, значит, гадает, судьбу ему рассказывает.

— О-ох, грехи! Не царское это дело!

— Вестимо, нечего тут и гадать... Мимо Бога ничего не станется!

Дверь во внутренние покои дворца отворилась, и один из ближних бояр, выйдя из дверей, провозгласил:

— Великий государь царевич князь Федор Борисович изволит жаловать в переднюю.

— Сына высылает! — шептали в дальнем углу старые бояре. — Сам, видно, все еще не может с кудесником расстаться.

Царевич Федор Борисович, юноша высокий и плотный и притом чрезвычайно красивый и стройный, вышел в переднюю, приветливо ответил на общий поклон бояр и занял место на меньшем кресле, рядом с креслом, приготовленным для государя. В его поклонах, в его движениях, в его обращении с боярами был замечен навык к высокому положению, которое отец ему готовил в будущем,

постепенно приучая его к управлению государственными делами под своим руководством.

— Князя и бояре! — сказал царевич громко (и голос его звучал чрезвычайно приятно). — Великий государь, родитель мой, не может выйти к вам сейчас и потому послал меня сюда для слушанья и для решения посольских всяких дел... Дьяк Василий Щелкалов, прочти и поясни боярам присланные нам просительные грамоты вольного города Любка.

По знаку царевича бояре заняли свои места на лавках, по «старшинству и чести», а дьяк Щелкалов прочел им просительные грамоты любчан и стал их пояснять:

— Бурмистры и ратманы и палатники вольного города Любка бьют челом его царскому величеству о своих нуждах. Терпят они всякие обиды от свейского арцы-князя Карла. В Ругодив и Иван-город с товарами их торговать не пропускает и перед ними хвалится, будто с ним вместе и царское величество воевать их, любчан, будет. И молят они слезно царя и великого князя Бориса Федоровича,

всея Руси самодержца, чтобы он их пожаловал — на их город не шел.

— Что думаете ответить на ту грамоту, бояре? — спросил царевич, когда дьяк Щелкалов закончил свои объяснения.

— Да это прямая лжа есть! — сказал прежде всех старый боярин Милославский. — Что ж на эту лжу ответить?

— У царского величества и ссылки никакой с арцы Карлом не бывало, — заметил князь Василий Шуйский, поглаживая свою жиденькую бородку.

— Неправда, были ссылки — о рубежах ссылались! — перебил Шуйского Берсень Беклемишев.

— Так то о рубежах, а не о лихе на любчан! — резко отозвался Шуйский.

— Как бы там ни было, а надо им писать, что это им внушает некто враг христианский, некто от литовских людей! — вступился горячо Вельяминов.

— Ну, зачем же тут еще литовских людей к делу путать! — заметил строго Федор Никитич.

Завязался между боярами горячий спор, к

которому царевич Федор прислушивался очень внимательно, не решаясь, однако ж, пристать ни к той, ни к другой стороне. В самый разгар спора, когда речи стали и громки, и резки, стряпчий государев отворил дверь в переднюю и возвестил о приходе самого великого государя.

Все бояре и сам царевич поспешно поднялись со своих мест. Споры смолкли разом, и водворилось глубочайшее молчание, среди которого Борис вошел медленно, опираясь на посох из резной кости, медленно опустил в свое кресло и легким наклоном головы ответил на земной поклон бояр.

Передавая посох стряпчему, он обратился к сыну вполголоса с вопросом, которого никто не мог расслышать.

— В чем у вас тут споры, князя и бояре? — возвысил голос Борис, обводя всех присутствующих вопрошающим взглядом.

И затем спокойно, внимательно выслушал самые противоположные мнения об ответе, который надлежало дать на просительную грамоту любчан.

— Нет! — сказал Борис, выслушав всех. —

Не таков ответ им нужен. А вот что им написать... — сказал он, обратясь к дьяку Щелкалову. — Ссылаться нашему царскому величеству с арцы Карлом неуместно, потому он в Свее удельный князь, а не король. А и король-то свейские ссылаются в отчине нашей великого государя не с нами, а с новгородскими наместниками, как то всем соседним государям ведомо. Так и напиши! — добавил Борис, следя за пером дьяка, быстро бегавшим по столбцу бумаги.

И только уж тогда, когда дьяк записал ответ, царь Борис для виду произнес, обращаясь к боярам:

— Так ли, князья и бояре?

— Так, истинно так! — загудели с разных сторон голоса, между которыми громче и слышнее всех раздавались голоса годуновцев.

Затем Борис поспешил окончить заседание и удалиться во внутренние покои — видимо, чем-то озабоченный.

Из передней, следом за Борисом, направился в комнату только один боярин, дядя его, Семен Годунов, которого современники в насмешку прозывали «правым ухом государе-

вым». Высокий, худощавый, сутуловатый, выставив вперед длинную, сухую и жилистую шею, он выступал за царем, бросая исподлобья по сторонам недобрые взгляды, полные недоверия и подозрительности. Он двинулся по мягким коврам, ступая неслышно, как тень, тщательно храня в себе тот запас дурных вестей, который он с особенным удовольствием собирался поднести Борису как доказательство своей преданности ему и его роду.

Когда Борис пришел к себе в комнату и в тревожном раздумье опустился в кресла, Семен Годунов словно из земли перед ним вырос. Борис невольно вздрогнул, бросив взгляд на эту зловещую фигуру. Он по выражению лица своего дядюшки понял, какие тот принес ему вести, и, обратившись к стряпчим, сказал:

— Ступайте и до приказу не впускайте никого.

Оставшись с глазу на глаз с Борисом, Семен Годунов на цыпочках обошел комнату, убедился в том, что двери заперты плотно, и потом уже подошел к креслу царя.

— Ну говори же! — торопливо и тревожно

произнес Борис.

— Доведался я, государь, что слухи недобрые в народе носят... Об Угличе...

— Что! Что такое?.. Да ну же!

— Об розыске, который там чинили... Рассказывают, будто там убит не тот... младенец...

— Что-о?! Не то-о-от? — прошептал Борис и вскочил с кресел.

Семен невольно отшатнулся от царя к стене.

— Не тот?! Повтори, не тот! — продолжал шептать Борис, страшно меняясь в лице и сверкая глазами.

— Не гневайся, государь!.. — глухо промолвил Семен, наклоняя голову. — Не грози мне грозою, не то я тебе и слова не молвлю...

Борис тотчас овладел собою, провел рукой по лицу и, стараясь казаться спокойным, проговорил поспешно:

— Прости, Семен Никитич! Я и сам не знаю, с чего я так на тебя вскинулся? Все, все теперь говори начистоту...

— Рассказывают, будто убили там не царевича, а из жилецких ребяток сверстника...

Али попова сына... А самого царевича мать скрыла, ухоронила... Будто бы то же и на рысике многие угличане сказывали, и за это самое их и казнили... Это мои же люди на базарах здесь слышали...

— Ну, это басни! — сказал Борис. — А больше-то что слышно?

— Да вот еще тут в Чудовом есть чернец один... Сдуру либо спьяну он хвалился, будто бы ворожея одна ему еще с детства сулила, что он царем будет...

— Ну, мало ли что с пьяных глаз болтают!..

— Да оно так-то, так... Да он же говорит, будто бы лицом уж очень схож...

— С кем? — перебил Борис.

— Да все с тем же... с угличским-то...

Борис принужденно улыбнулся.

— Ну, пусть и утешается, что хоть с рожки схож с царевичем... Верно, допился до хорошего!.. А ты все-таки узнай, что это за инок, что такие пустотные речи ведет? Надо будет патриарху сказать, чтобы его куда-нибудь услатить подальше на послушание...

И Борис замолк. Молча стоял перед ним и Семен Годунов, всматриваясь в лицо его, сле-

дя внимательно за каждым его взглядом.

— Нет! Это мне не страшно! — сказал наконец Борис, видимо, успокоенный. — Мертвцов пусть бабы боятся... Да ребята неразумные! Вот живые-то, живые-то, те пострашнее будут! Вот эти мне Шуйские, да Милославские, да Романовы, вот они у меня где сидят!.. — И царь указал себе на шею. — За ними следи, и следи неусыпно! Каждый шаг их познавай!

— Уж это будь спокоен, государь! Шевельнуться им не дам... Все будешь знать о них!..

И Семен, поклонившись Борису, удалился от него теми же неслышными шагами.

«Все это бредни! — утешал себя между тем Борис. — Где же там было подменять младенца? Ведь не грудной... Пустое!.. Но не странно ли, что мне сегодня этот кудесник-немчин тоже по звездам сулил какие-то беды, напасти, смуты и войны... И так именно сказал: «Будешь сражаться с таким богатырем, которого никто не одолеет, и ты не одолеешь». Я спрашивал его, так что же будет? Он посмотрел на звезды, какие-то черты провел на бумаге и говорит: «Об этом звезды молчат!» Странно...»

И Борис погрузился в глубокую думу.

IX

Матушка царица

С половины царя Бориса Семен Годунов счел нужным заглянуть на половину царицы Марии Григорьевны. Он был особенно обрадован поручением государя следить за боярами Романовыми. Романовых он особенно ненавидел за те почет и уважение, которыми они пользовались, за высокое положение в среде московского боярства, за громадные богатства их, которые почти равнялись богатствам царя Бориса. Но Семен Годунов знал, что царь Борис никогда не решится выступить против них открыто и что на царя необходимо было повлиять через царицу Марию Григорьевну, достойную дочь Малюты Скуратова, женщину злую, жестокую, неумолимую во вражде и готовую на все, лишь бы утвердить на престоле свой царский род. С царицей (которая знала цену Семену Годунову и постоянно его привечала) этот достойный царский слуга надеялся обдумать те темные

замыслы, которые лелеял в душе своей против Романовых.

Пройдя перильными переходами и внутренним крыльцом на половину царицы, Семен Годунов очутился в настоящем бабьем царстве. И крыльцо, и сени перед царицыной передней были битком набиты женщинами. Кроме обширной царицыной служни, тут было много и посторонних: и верховые нищие старцы, и богомольцы, и монахи с разных концов Московского государства с посильными дарами и приношениями обитателей, и всякие «беспокровные вдовы и сироты» с челобитными, пришедшие в чаянии царицыной милости и «государского наделения». Среди этого люда сновали взад и вперед закройщицы, наплечные мастера и мастерицы царицыной мастерской палаты со своими работами, царицыны комнатные боярыни с узлами материй и белой казны, седые царицыны «дети боярские» со шкатулками и ларцами за царской печатью и царицыны стольники, малые ребята лет по десять и двенадцать.

Двое таких стольников отворили настежь перед Семеном Годуновым двери в царицыну

комнату, где также было не менее полусотни женщин, но это уже были все только царицыны родственницы, верховые и приезжие боярыни, постельницы и ларешницы. В стороне стояла приказная боярыня Хамовного двора, на котором изготовлялись холсты и шилось белье для царского семейства. Около нее стояли ее мастерицы и целый ряд коробей, замкнутых, запечатанных и зорко охраняемых дворцовыми истопниками. В коробьях хранились работы мастериц, привезенные на показ царице.

Семен Годунов, как ближний человек царицы, прошел через переднюю, едва кивая на поклоны боярынь справа и слева, и без доклада вошел в комнату царицы.

Царица Мария Григорьевна, женщина лет сорока, среднего роста, дородная и полная, в темном атласном опашне с жемчужным низаньем на передних полотнищах, на плечах и на рукавах и в высокой жемчужной кике, суетилась около стола, у которого чинно, почти навтытяжку, стояли перед ней две пожилые боярыни. На столе были разбросаны полосы цветного аксамита и алтабаса, низанные

жемчугом; куски бархата, расшитого золотом и серебром, разбросаны были около стола по полу. Царица гневалась и кричала на одну из боярынь, на светлишнюю, которая заведовала золотым шитьем и низаньем, и в гневе ходила крутом стола, размахивая руками и делая такие резкие движения головой и плечами, что изумрудные серьги с длинными жемчужными привесками так и мотались во все стороны. Царица, стоявшая лицом к дверям, не заметила Семена Годунова, который, как и всегда, вошел словно тень, и продолжала кричать на боярыню:

— Ведь я же тебе говорила, чтобы мне все это рефидью[2] вынизать, да лесами, да в три пряди, а ты мне что тут нанизала? А?..

— Приказывала я, государыня, видит Бог, деловицам приказывала, а они говорят мне, что не та прорись дана...

— Да что мне до их прорисей за дело? Приказ мой чтобы был исполнен! Ты понимаешь, я велю рефидью, ре-фи-дью низать, а ты мне все в ряску да елями...

— Виновата, матушка государыня, виновата, да ведь вот все мастерицы-то меня с толку

сбили, — оправдывалась светлишная боярыня.

— А коли тебя с толку сбили, так я тебя на толк наведу — все спороть, все заново сделать, как приказано! А мастериц, которые напутали, всех перебери!

«Праведно рассудила», — подумал Семен Годунов и легонько откашлянулся в руку, чтобы дать знать о своем присутствии.

Царица быстро повернула к нему свое искаженное злобой лицо, с сердито сдвинутыми бровями и молнией во взоре, и разом стихла.

— Добро пожаловать, Семен Никитич! — сказала она, допуская боярина к руке. — Присядь и обожди немного, пока я отпущу боярыню-судью. Вмиг с нею все дела порешим...

И она подозвала к себе боярыню-судью, занимавшуюся исключительно разбором разных ссор и дразг между женской и мужской служней и мастеровыми на царицыной половине.

— Кто с чем, матушка царица, — молвила боярыня-судья с низким поклоном, — а я все к тебе с жалобой.

— Ну, на кого еще?

— Да вот, матушка, Ванька Бесхвостов, наплечный мастер, да Еремка Утенок, что знаменщик в Светличной палате, так вчера разодрались, разругались, такой содом подняли, что всех мастериц присрамили. Еремка зачинщик был, стал над Ванькой издеваться, на смех его поднял: «Ты, — говорит, — сегодня наплечный мастер, а завтра тебе прикажут, так и заплечным мастером будешь!». А тот и давай в него швырять чем попало! Чуть до смерти не убил! Ну и разодрались...

— Обоих батожьем поучи! — не долго думая, отчеканила царица. — А чтобы впредь неповадно им было, пусть днем работают, а на ночь в холодный чулан запирать.

— Слушаю, матушка! — ответила боярыня-судья, отвесила низкий поклон и вышла из комнаты вместе с светличною.

— Вот так-то целый день как на сковороде тебя жарят! — проговорила царица, обращаясь к Семену Годунову. — Поди-ка тоже думаешь, легко мне управляться с моим бабьим делом?

— Где уж легко, государыня! Чай, царь Борис с тобою не поменялся бы...

— Много и у него заботы! — сказала царица, покачав головой. — Да вот дрязг-то этих нет! Дела — делами! А тут дело и не дело, а ухо держи остро! Везде подвохи, подходы разные... Вот хоть бы на днях, ты знаешь, с чем подъехала боярыня Романова к царевне...

— Где же знать мне, государыня! Не знаю, о которой Романовой и говорить изволишь?

— Полно прикидываться-то, Семен Никитич! — с сердцем сказала царица. — Как тебе не знать, ты все на свете знаешь! Знаешь даже, что в келье шепотом монашки говорят... А туда же, со мной хитришь!

— Ей-же-ей, не знаю, государыня! Ведь из Романовых женаты трое...

— Да кто из них главный-то! — злобно и почти шепотом продолжала царица, нагибаясь над столом и впиваясь взглядом в очи Годунову. — Кто первый-то наш враг, в ком все зло-то романовское сидит! Не знаешь? А?..

— Чаю, что изволишь говорить о Федоре Романове? Он точно что опасней всех... Его бы...

— Так вот, его-то женушка, боярыня Аксиныя, приехала просить царевну, чтоб я дозво-

лила царевниной сенной боярышне, Иришке, замуж выйти за братца за ее, за стольника Шестова! Какова?!

И злые темные глаза царицы Марии так и забегали, так и заблестали молниями...

— Ведь, пойми ты, этакая дерзость, девчонка нами во дворец взята с детства, сиротой, и всем наделена, сыта, обута, одета нашей милостью... С царевной выросла, как собака верная должна бы век свой служить ей!.. Ан нет! «Отдай ее за братца замуж!..» А сам знаешь: отдай, так и спекаешься! Девчонка-то весь сор из дворца на романовское подворье понесет!

Произнося все это, царица так волновалась, что не могла усидеть на месте и стала ходить взад и вперед по комнате.

— Так как же ты ответила боярыне Романовой, великая государыня? — любопытствовал Семен Годунов.

— Как я ответила?! А вот как: приказала ей сказать, что, мол, Иришка молода еще и замуж не желает, а сама велела мигом собрать девчонку да со всею рухлядишкой сослала из дворца ее в село Кадашево, к кадашевской боярыне под строгий начал... Пусть там ткать да

прясть поучится, коли здесь не сладко было! Будет знать, как замуж проситься за романовскую родню!

— И дело, государыня! С Романовыми ведь уж как ни верти, добром не кончишь. Им туда же дорога лежит, куда и Вельскому Богдану... Да хорошо бы и подальше куда-нибудь...

— Ах, хорошо бы, Семен Никитич! Раскинь-ко разумом, придумай! Озолочу тебя, половину их богатств тебе отдам!..

Семен Годунов вдруг насупился и прикинулся обиженным.

— Да разве ж я из-за корысти хлопочу, государыня? Я твой и государев холоп, без лести тебе предан, денно и ночью думаю только о том, как бы древо ваше царское...

— Знаю, знаю все это, Семен Никитич! — нетерпеливо перебила царица. — Пусть так... Да ты уж лучше денно и ночью думай о том, как бы их-то... Их-то... Стереть с лица земли!

И царица, сверкнув очами, сделала резкое движение рукой в сторону.

— Думаю, матушка, думаю, да ведь если ты государя не наставишь да не станешь ежедневно ему все то же в уши дуть, так и ника-

кая затея моя не выгорит, пожалуй.

— В уме ли ты, Семен Никитич? Да я скорее забуду помолиться и лоб перекрестить на сон грядущий, нежели забуду государю твердить и поминать, кто первый-то нам враг! Не Милославский, мол, не Шуйские, а вот они, Романовы... Их прежде всех и с корнем вон. Так говори же скорее, что ты там придумал?

Годунов огляделся по сторонам и сказал шепотом:

— Государыня! Ты вперед-то все же поклянись мне, что меня не выдашь!

— Изволь, боярин, клянусь тебе, что никому, даже и мужу, не скажу того, что от тебя услышу.

— Ну, тогда изволь прислушать, государыня! — лукаво и вкрадчиво произнес боярин, наклоняясь над столом...

И затем, беспрестанно оглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху, он изложил царице Марье свой черный замысел против Романовых.

Х

Тайный гость

Когда Алексей Шестов узнал о неудаче своего сватовства, он стал очень горевать и сокрушаться. Он был почти уверен в успешном исходе задуманного дела, он знал, что сестра его, боярыня Ксения Ивановна Романова, пользуется милостивым расположением царевны Ксении и что царевна не откажет в своем ходатайстве перед матерью-царицей. Заботы царевен о подыскании женихов для их сенных боярышень и о щедром наделении их в случае замужества были делом весьма обыкновенным в придворной среде, и Алешенька Шестов знал очень хорошо, что его родство с боярами Романовыми давало ему значительное преимущество перед всеми иными женихами. Ему даже и в голову не могли прийти те тонкие нити придворных отношений, которые привели к отказу, и потому на первых порах он даже подумал, что Иринья почему-то не пожелала выйти за него замуж... Вот он и загрустил, и задумался, и го-

лову повесил...

Хорошо еще, что как раз около этого времени Алешенька назначен был в приставы к польскому послу Льву Сапеге, и эта трудная, хлопотливая обязанность, отнимая у него все время, в значительной степени способствовала тому, что его личная невзгода была ему менее тягостна и менее ощутительна.

Действительно, по современным московским понятиям и обычаям всякие иноземные послы (а тем более польский) содержались на Посольском дворе под таким строгим надзором, что на все время пребывания в Москве должны были отказаться от всяких сношений с внешним миром и жить в стенах своего двора, как в стенах обители с чрезвычайно строгим уставом.

Находясь при Посольском дворе безотлучно, Алешенька Шестов не знал ни днем, ни ночью никакого покоя и даже не смел отлучиться на романовское подворье за вестями о своей суженой. Вести с подворья получались только через Михаила Никитича, который частенько заглядывал на Посольский двор и навещал Алешеньку не иначе как с двумя свои-

ми закадычными приятелями, Петром Тургеневым да Федором Калашником.

— Эй, Сенька! — кричал Алешенька по нескольку раз в день, высовывая голову из своей избы в сени.

Сенька, молодой малый, слуга Алешеньки, тотчас появлялся на пороге.

— Сбегай к воротам, посмотри, не едут ли наши с подворья?

И Сенька возвращался все с тем же ответом:

— Не едут-ста, не видать-ста их, батюшка Алексей Иваныч!

И Алешенька нетерпеливо топал ногой и начинал с сердцем толкаться из угла в угол по своей избе, пока кто-нибудь не прерывал его грустных размышлений приходом и запросом, касавшимся его служебных обязанностей.

После одной из таких посылок Сеньки к воротам в избу к Алешеньке вошел старый стрелецкий урядник и, остановившись около порога, старательно закрыл за собою дверь.

— Алексей Иванович, батюшка! — сказал старик, закладывая руку за пазуху. — У нас на

дворе неладное творится, как бы нам с тобой в ответе перед государем не быть?..

— Ну что же бы такое, Силантьич?

— А то, что у поляков в городе приятели завелись и с ними весточками обсылаться стали...

— Как так? Да у нас, кажется, так строго, что к ним и муха не пролетит? День и ночь дозором ходят...

— За всем не усмотришь, Алексей Иванович! Я ведь вот уж который год здесь на дворе урядничаю и все, кажись, иноземные хитрости знаю, а и то вот поди-ка ты... Чуть-чуть не околпачили!..

И старик вынул из-за пазухи какой-то стеклянный пузырек, тщательно заткнутый пробочкой и запечатанный сургучом.

— Иду, этта, я сегодня утром по двору, позади главного посольского дома, где от него переход с крылечком к шляхетской избе сделан, и вижу — вышел на крылечко набольший Сапегин холоп да руками-то знаки какие-то делает, словно бы через забор с кем разговор ведет...

— Ну! А ты что же?

— А я и притаился за углом, и вижу — он что-то из-за пазухи вынул, в снежок скомкал да тот снежок-то через забор и махнул! Я притаился, и — ни гугу! А холоп-то все на крылечке стоит, словно бы чего выжидает... И вдруг вижу — из-за ограды, с переулочка, летит снежок прямо к крылечку да под крылечко-то и угодил! Холоп только стал сходить с лестницы, а я тот снежок в шапку да и был таков! Как пришел к себе в сторожку, вижу, в снежке-то пузырек, а в пузырьке-то том писулька вложена... Изволь сам посмотреть.

— Ай да Силантьич! Молодец! — породовался Алешенька. — Подкараулил и накрыл. Вот как приедет дьяк с Посольского приказа, так я ему писульку покажу, пусть разберет, и о службе твоей скажу... Только до поры до времени ты никому ни слова! И виду не подавай! А в этом месте, около крылечка, надо тайный дозор поставить да и присматривать за ляхами в оба...

— Слушаю, батюшка, Алексей Иванович! Будь спокоен на этот счет! — отвечал старый урядник и взялся за скобу двери.

Но в это самое время дверь распахнулась

настежь, и Сенька как угорелый вбежал в избу.

— Едут! Едут! — закричал он впопыхах. — Наши с подворья к тебе в гости едут!

Несколько времени спустя Михайло Никитич Романов со своими двумя неразлучными спутниками Петром Тургеневым и Федором Калашником переступили порог избы и поприятельски поцеловались с Алешенькой.

— Небось соскучился по нас? — спросил Шестова молодой богатырь. — Давненько ведь мы у тебя не бывали?..

— Как не соскучиться! Сижу тут, как в заточении, света Божия не вижу, вестей никаких не слышу. Хоть волком вой!

— Ну, зато на этот раз мы в твою обитель с вестями добрыми пожаловали! — весело сказал Тургенев. — Спроси-ка Михайла-то Никитича?

— Говори, говори скорее! Какие вести? — торопил Шестов Романова, крепко хватая его за руку.

— Погоди, погоди, рукав у чуги оборвешь! Все я сам расскажу! — смеясь, отговаривался Михайло Никитич.

— Смилуйся, говори! — горячо упрасивал Шестов.

— Приехала к нам на прошлой неделе сестра Иринья Никитична, что за Иваном Годуновым, да и говорит сестре твоей: «А слышала ли, боярыня, что с боярышней Ириньей стало?».

— Что случилось? — вскрикнул Алешенька, быстро вскакивая со своего места.

— Да уймись же ты, непоседа! — крикнул Федор Калашник. — Ведь сказано, что с добрыми вестями приехали!

Алешенька опустил на лавку и впился глазами в широкое добродушное лицо Романа, который преспокойно продолжал:

— Сестра твоя и говорит моей сестре, что ничего не слышала, а та ей и рассказала: твоя-то суженая Иринья Луньева из сенных боярышень разжалована в помощницы к боярыне Хамовного двора и сослана в село Кадашево...

— Так вот они твои хорошие вести? — гневно вскрикнул Шестов. — Иль вы смеяться надо мной приехали?

Друзья разразились действительно самым

искренним смехом.

— Да ты, по крайности, дослушай! — остудил его Тургенев. — Авось и сам вести хвалить будешь?

И когда Тургенев с Федором Калашником кое-как поуломали и поуспокоили Алешеньку, Романов так же спокойно, как и прежде, продолжал:

— Сестра твоя расплакалась, сейчас послала разузнать, как там твоей боярышне в Кадашах-то живется, и скорешенько от той к нам на подворье весть пришла, что ты ей жених по сердцу...

Алешенька просиял при этих словах Романова и отвернулся в сторону, чтобы скрыть свое волнение.

— И мать-царица ее за это тотчас и с глаз долой, хоть бы в этом Романовым назло, наперекор, в обиду сделать!..

— Змея подколодная! Малютина дочь Скуратовна! — с озлоблением прошептал Алешенька.

— Да нам страшна ли ее злость? — добродушно улыбаясь, произнес Романов. — От нее нам и обида не в обиду! Бог с ней!.. Да пого-

ди — ты, друг любезный, дальше слушай! Как узнала Ксения Ивановна, что за тебя Иринья не прочь замуж выйти, она и говорит: «Не бывать в этом деле по-годуновскому! Будет по-нашему, потому это не царское дело чужому счастью завидовать да свадьбы расстраивать!». И мы втроем, я с Федором Калашником да с Петром Тургеневым, решили тебе в этом деле помочь!

— Недаром же нас «нерасстанными животами» величают! Все трое за один! — сказал Федор Калашник.

— Да как же вы можете помочь мне? — удивленно спросил Алешенька.

— А так же! — сказал Михайло Никитич. — Твою боярышню из неволи выручим, из-под руки кадашевской боярыни вызволим, ни дать ни взять как в сказках красную девицу от бабы-яги... Да на лихую тройку и под венец с тобой поставим. В наших вотчинах ростовских тебя и повенчают!

— Ох Господи! — горячо произнес Алешенька, с умилением поглядывая на своих друзей.

— Ну, понял, чай, теперь, что мы тебе доб-

рые вести привезли? — закончил Федор Калашник. — А ты уж тут, кажись, и колдовать начал? Это что тут у тебя за снадобье?

И он указал на пузырек с запиской, стоявший на столе перед Алешенькой.

— Ах, я было и забыл о пузырьке-то об этом! — спохватился Алешенька и рассказал приятелям о своей беседе с урядником.

— Как-хочешь, друг! — сказал Петр Тургенев. — А на мой взгляд, это ты затеял не гораздо дьяка дожидать!.. Надо тебе самому эту грамотку прочесть!

— И я так думаю, — поддержал Романов.

Шестов согласился с их мнением, и пузырек решено было взломать. Оградив себя крестным знамением от всяких зловредных чар, Шестов отбил у пузырька горлышко и вынул из него узкую полоску бумаги, на которой по-польски было написано: «Жди меня сегодня вечером, пан Сапега! Узнаешь новое, чего тебе и во сне не грезилось».

Друзья переглянулись.

— Что же это такое? Разве змием огненным в трубу к нему прилетит? Чай, тоже смотрим мы здесь? Или между стражей есть

предатели? — заговорил Алешенька. — Так я же всю ночь глаз не сомкну и выслежу, кто жаловать к послу изволит по ночам!

— Давай и мы тебе поможем! — предложили разом приятели Шестова. — На нас уж можешь положиться, не выдадим да и не выпустим!

— Спасибо вам, что посоветовали мне грамотку прочесть! Пока я ожидал бы дьяка-то из приказа, птица-то улетела бы! — суетился Алешенька, расхаживая по комнате. — Теперь же мы ей всяких ловушек понаставим — авось и попадетя?

И Алешенька позвал старого урядника, приказал ему везде усилить караулы, а из-под крылечка тайный дозор убрать.

— Я сам там буду сторожить вот с ними! — сказал Алешенька, указывая на своих приятелей. — Если кто из твоих стрельцов подметит, что лезет через забор иль крадется около ограды человек, сейчас оклихни, и если не ответит — хватай и в избу, сюда веди, не подымай тревоги, чтоб не вступилась в дело челядь посольская...

— Как приказываешь, так и исполним! —

кивнул урядник и ушел, чтобы распорядиться стрелецким караулом.

А между тем Алешенька стал совещаться с приятелями, как и где устроить им засаду.

— Я ухоронюсь в клетушке около заднего крылечка, а ты, Петр Михайлович с Федором, как стемнеет, засядьте за бревнами, что насупротив крыльца к ограде привалены от переулка, а ты, Михайло Никитич, ходи по ту сторону двора да посматривай, чтоб караульные-то не дремали... Да есть ли у вас у всех запас на случай?

— У нас обоих засапожники! — сказал Федор, кивая на Тургенева и вынимая на показ из голенища рукоять ножа.

— А мне вели дать только дубинку поуверсистей! — сказал Михайло Никитич.

— Ему и той не надо! — вставил Федор Калашник, смеясь. — У него каждая ручища по два пудища весит!

— Да ведь и то сказать, незнакомый гость, чай, один к нам пожалует? А одного, какой он там ни будь, мы втроем в узел завяжем! — сказал Шестов. — Только чур уговор такой, если пожалует, пускай сюда войдет, пусть и у

Сапеги побывает, а как назад направится — тут и бери его!

Стемнело. Зги не видно на Посольском дворе. Давно погашены огни, давно улеглась шумливая и задорная посольская челядь. Потух огонек и в спальне Сапеги. Только пристально всмотревшись в темноту, можно было рассмотреть темные очертания зданий и ограды Посольского двора... Но вот за оградой, со стороны переулка, послышался легкий шорох, потом осторожный кашель. Как бы в ответ на это кто-то громко кашлянул наверху, на заднем крыльчке. Тень человека показалась над забором, потом появилась на куче бревен и осторожно спустилась во двор.

Тургенев и Федор Калашник видели из своей засады, как эта темная неопределенная тень скользнула по двору к крыльцу и исчезла.

Прошел добрый час времени. На Посольском дворе царила такая тишина, что слышны были даже и отдаленные звуки ночи над спящим городом. И вдруг Алешенька из своей засады услышал легкий скрип шагов наверху, над крыльцом, в то же время до его слуха до-

летели отдельные слова из разговора двух людей, говоривших вполголоса по-польски:

— Через два дня царевича здесь уж не будет... К вам переправим на рубеж... А там уж ваше дело! — говорил один голос.

— Бардзо пшемно, — отвечал другой голос тоже тихо. — Наияснейший пан наш круль Зигмунт его не выдаст...

— Какая польза выдавать-то! Ведь мы же все... Ведь нам только и нужно...

Тут голос понизился до шепота... Ничего не стало слышно, пока один из говоривших не произнес:

— До видзэнья, пан!

Наверху дверь легонько скрипнула, притворяясь, на ступеньках послышались осторожные шаги. Неясная тень человека, закутанного в шубу, скользнула мимо Алешеньки, который дал ей отойти на несколько шагов от крыльца и потом в один прыжок очутился около непрошеного гостя.

— Стой! Давай ответ! Зачем пожаловал? И кто ты таков? — проговорил шепотом Алешенька, хватая незнакомца за воротник шубы.

Незнакомец не смутился нисколько и проговорил совершенно спокойно:

— Испугать задумал? Думаешь, так тебе в руки и дался!

— Врешь — не уйдешь! Говори, кто ты! — горячился юноша, не выпуская воротника шубы.

— Я злой ворог Годуновым, их сгубить поклялся и на том свою душу бесу продал! — глухо проговорил незнакомец.

Алешенька невольно выпустил воротник шубы. Незнакомец и с места не тронулся.

— А ты за что дружишь им? Не за то ли, что мать-царица твою боярышню со света сжить хочет? В Кадаши без вины сослала, а теперь ладит на Белоозеро отправить?

— Ты лжешь! Быть не может!

— Или за то ты Годуновых жалуешь, что они на Романовых злобой пышут и их погубить измышляют? — продолжал незнакомец, не обращая внимания на восклицание юноши.

— Будь они прокляты! — невольно сорвалось с языка у Шестова.

— Вот это в одно слово! — быстро и горячо

сказал незнакомец. — Да так и знай, их дни сочтены! Из гроба встал законный царь, в том их погибель!

— Да сгинь же ты, пропади! С нами крестная сила! — едва мог выговорить юноша, озадаченный загадочными речами незнакомца.

— Спасибо, что пропуск дал! — отвечал тот насмешливо. — Спасибо, что и приятелей своих из засады не зовешь! Ты думаешь, я не знаю?.. Я все знаю, недаром мне бес-то приятель!.. Ну так ты же не думай, господин Шестов, что я спроста к тебе в гости полез. Вот на, послушай!..

И незнакомец жалобно мяукнул по-кошачьи. В двадцати местах за оградой двора и по всему переулку откликнулось такое же жалобное мяуканье.

— Изволишь слышать? — сказал незнакомец Алешеньке. — У нас уж так порешено, что если бы я отсюда не вышел да годуновцам бы попался в лапы, мои головорезы запалили бы двор с четырех концов. Никто бы из него живой не выскочил!

В отдалении послышался свист, через минуту повторился ближе.

— Меня зовут! — поспешно произнес незнакомец. — Прощай... Да на расставание вот тебе совет: скажи своим Романовым, чтобы за кладовыми своими смотрели зорко... Есть там один предатель у них, Годуновым их продать собирается!

Свист повторился в третий раз, под самым забором. Незнакомец в один прыжок очутился на бревнах, вскарабкался по ним, как кошка, и исчез во мраке...

А юноша, совершенно растерявшийся от всего им слышанного, с минуту еще простоял на месте, словно околдованный, и Федор Калашник с Петром Тургеневым, выйдя из засады, долго не могли от него добиться толком, что с ним случилось, кого он видел, с кем и о чем он беседовал в глубоком мраке ночи?

XI

Чернец Григорий

Ночь давно уже спустилась над Московским Кремлем. Давно уже окутала она глубоким мраком кремлевские соборы, дворцы, подворья и обители. Все спит, все покоится до утра, до новых забот и тревог... Только в окошечке одной из келий Чудова монастыря чуть светится огонек.

Там при тусклом свете лампы, которая теплится перед иконой в низенькой божнице, молодой чернец Григорий склонился над ветхой рукописью и жадно вчитывается в исписанный и пожелтевший столбец. Глаза его блестят, быстро перебегая со строки на строку, лицо горит, руки дрожат, грудь подымается порывистым и усиленным дыханием. Юного инока волнует чтение той «повести», которую недавно отыскал он в патриаршей библиотеке и утаил от зрения людского, и хранит как драгоценность, и любит как запретный плод. Днем носит он ту «повесть» на груди, ночью кладет себе в изголовье, чтобы никто

не мог ее похитить, чтобы ничей нескромный глаз не смел в нее ненароком заглянуть. И только тогда, когда во всей обители водворяются сон и молчание, инок Григорий припирает дверь кельи изнутри толстым колом, крадучись подходит к своей божнице, вынимает из-за пазухи заветную рукопись и прочитывает ее залпом всю, начиная от заглавия, на котором киноварью изображены слова: «Повесть, како восхоте царской престол Борис Годунов похитити», и до заключения, в котором неизвестный автор сказания восклицает: «Отселе что реку и что возглаголю? Слез время приспе, а не словес, плача, а не речи, молитвы, а не бесед... Скорьби нашей пучина и плача нашего бездна!».

И несмотря на то что инок Григорий почти наизусть выучил эту повесть, он не может читать ее без волнения. Прочитывая некоторые места рукописи, он отрывается от нее на минуту, шепчет невнятные слова, грозит кому-то кулаком и потом опять углубляется в чтение:

«И тотчас убийц всех изымаша и приведоша их на двор и реша им граждане: «Окаян-

нии и злии человеци! Какое дерзнуше такое дело сотворити?» Они же окаянные стояху и зряху семо и овамо, и реша к народу: «Кровь неповинная нас обличила, послушали мы прелестника Бориса Годунова...»

— Послушали окаянные окаянного! — шепчет, качая головой, инок. — И подняли руку на царское детище!

И затем опять продолжает чтение:

«И пришедше во двор царский и видеша юного царевича заколота ножом яко агнца... Мати же его над ним стоящи, плачущися...»

— Притворялась только, что сына оплакивает, — прошептал Григорий, — а сама знала, что сын ее уж далеко, что вместо его заколот попов сын... А царевич-то — вот он!

И Григорий выпрямляется во весь рост перед божницей и обводит кругом себя горделивым взглядом.

— Царевич! — сказал юноша. — Хорош царевич! Поет на клиросе с дьяками, спит на соломее... Дрогнет в сырой келье под старой овчиной... Так, может быть, и весь век свой проживет?.. Укрываясь от окаянного Бориса и от ножей его убийц!

И Григорий бережно свернул столбец, завернул его в тряпицу и сунул под изголовье. Потом и сам прилег на жесткую постель, прикрылся нагольной шубой и попытался уснуть.

Но это было нелегко. Воображение после чтения рисовало ему один образ за другим, воскрешало перед ним прошлое, манило в будущее. То представлялся ему в виде отдельного воспоминания, утратившего яркие краски действительности, тот боярский дом, в котором он рос еще ребенком, где-то далеко от Москвы. Он даже видел перед собой того боярина, который воспитал его и часто, лаская его и глядя по головке, называл «царским рождением». Тот добрый боярин его и грамоте выучил, и говаривал ему не раз: «Учись, царскому сыну надо быть грамотным».

Потом начались какие-то переезды, какие-то странствованья, о которых детская память не сохранила связных ясных воспоминаний. Ему казалось, что детство минуло, как сон, и тотчас после того сменилось бесконечной вереницей тяжелых, грустных дней. Григорий помнил только, что лет восемь тому

назад служил он во дворце князей Черкасских, что там его никто не называл ни «царевичем», ни «царским рождением», что все считали его сыном какого-то галицкого боярина, что слуги над ним смеялись, когда он отказывался от своего отца и говорил о своем знатном происхождении.

«Чего хвастаешься? — дразнила его княжья челядь. — Не лучше ты нас! Такой же холопич, от холопки под кустом родился, холопом за кустом и помрешь».

И Григорий помнил, как он плакал слезами бессильной злобы в ответ на эти насмешки и грубые шутки дворни.

«Потом? Что было потом?..» — спрашивал себя юноша в полудремоте.

И ему вспомнился тот чудесный весенний день, когда его впервые увидел боярин Федор Романов и выпросил себе у князя Черкасского. «Дай мне мальчишку, он шустрый, грамотный, пусть во дворце моем растет, а там в дьяки либо в приказные его пристрою...»

— И хорошо жилось на романовском подворье! — вслух произнес Григорий. — Не то что здесь... Здесь — как в могиле... Как в сы-

рой земле... Здесь душно! Давят эти стены, нет воли разгуляться силе молодецкой! На коня бы сел, вихрем бы по полю носился, копьё бы в руки! С врагом бы переведаться, на Бориса окаянного рать бы повести... Ох Господи! Неужто стинуть придется здесь?

И юноша кутает свое крепкое, здоровое, молодое тело в овчину и скручивается калачиком от холода на жестком ложе.

— Да нет же, быть не может! Ведь не сам я сюда зашел, не доброй волей надел на себя черную рясу... Мне ли носить ее, когда в теле кровь кипит, когда черные очи мне краше звезд кажутся и сами руки меча просят, а плечи широкие да грудь высокая — воинской брони!.. Нет, не волею я сюда зашел, в эту тесную келью!..

И юноша припоминает, как однажды на романовском подворье, в то время как он подметал широкий боярский двор, к нему подошел нищий и сказал тихим шепотом:

— Не дело царевичу двор мести!

Григорий выронил метлу из рук и посмотрел на нищего в испуге.

— Ступай за мной! — сказал ему нищий. —

Я к тебе с делом пришел...

И Григорий пошел, и в темном углу боярского сада нищий подал ему крест золотой с камнями и сказал:

— Носи его на память об отце своем... Это тебе его благословение... Да знай еще: тебе приказано немедля бросить службу у бояр Романовых...

— Кто приказал? Зачем? Мне хорошо здесь!

— Не тебе судить — не тебе и знать! О тебе заботятся другие, и если ты не хочешь помереть в застенке, завтра же беги, и чтоб вечер не застал тебя в здешнем боярском доме.

— Куда же мне бежать? Куда приклонить голову? — с испугом спрашивал Григорий.

Резкий свист раздался в кустах неподалеку и заставил юношу вздрогнуть.

— Меня зовут! — оглянулся нищий. — Мне некогда с тобою говорить. Завтра пораньше утром выходи на Варварский крестец, там узнаешь, куда тебе идти.

Свист повторился дольше, нищий скрылся в кустах.

На другое утро Григорий встретил на

крестце монаха, который шел в Спасо-Ефимьев монастырь. Монах взял его с собой, и с тех пор начались его скитания по монастырям. И вот уж пятый год все те же незримые силы ведут Григория из обители в обитель, и все ему указывают вдаль и говорят: «Великая ждет тебя слава! Завидная доля! Но еще не время. Будь осторожен! Молчи и жди!».

И он молчит и ждет... И тоскует в каменной монастырской ограде, рвется на волю, жаждет шума и движения и блеска и часто в уединении своей кельи разворачивает ладанку на груди своей, смотрит на крест, принесенный нищим-старцем, и сам себя вопрошает:

— Благословение отца? Царя Ивана Васильевича... А мать моя еще жива! Где-то она, голубушка! Сумела мне жизнь спасти, чудом спасти меня, но не сумела оградить от царя Бориса!.. Господи! Боже правый! Дай же мне отомстить за нее, вооружи мою руку, укрепи на врага... Пусть я сокрушу всю ненавистную семью его, пусть увижу его самого в унижении, в презрении, в тюрьме и узах, не на престоле... А царевна Ксения? Неужели и ей тоже

я могу желать зла и гибели! Неужели и в ее сердце гнездится злоба Борисова?

И в пламенном воображении юноши, не искушенного жизненным опытом, не испытавшего женской ласки, восстает, расцветает в полном блеске и во всей роскоши красок дивный образ красавицы царевны... Она молится... Чудные очи ее устремлены туда, куда несется с ее ароматных уст горячая молитва... Вот и слезы заблестели на ее длинных ресницах, она плачет, она слезно молит Всевышнего за своего преступного отца, за всю семью свою, за род и племя... И себя видит Григорий рядом с нею, в каком-то обширном храме, блистающем тысячей огней, подернутых легкой дымкой кадильного благоухания. Григорий видит себя не в жалкой иноческой рясе, а в царской одежде из толстой золотой ткани с широкой каймою из крупных жемчугов и драгоценных камней, в тяжелом золотом венце, со скипетром в одной руке, с мечом в другой... Он смотрит ласково на царевну и говорит ей: «Проси у меня всего, что душа желает, все тебе отдам! Царство разделю с тобою, на престол посажу тебя рядом». Он бросается

к ней, чтобы ее поднять, — и просыпается на полу под скамьей.

— Ах Господи! Так это сон был!..

И он протирает глаза и старается привести в порядок свои мысли, освоиться с действительностью.

Первое ощущение пробуждения — резкий холод, который струей пахнул на него из окошка... «Открылось оно, что ли?» Григорий подходит к окну и видит, что оно разбито... Со двора чуть брезжит свет раннего зимнего утра...

Вьюга метет и крутит облаками снега в монастырской ограде, а сквозь широкую пробоину в слюдяной оконнице заносит снег и в келью Григория. «Но кто же разбил окно?.. Чем разбили?.. Да вот и камень!»

И Григорий в полумраке поднимает с полу увесистый камень, обернутый в тряпицу, крепко стянутую веревкой. Его руки дрожат, когда он разрезает ножом узел веревки... В тряпице он видит грамоту, подвязанную к камню, и спешит к божнице, чтобы прочесть то, что написано в ней. Развернув ее при слабом, мерцающем свете лампы, Григорий

читает: «Царевич, собирайся в путь! Борис о тебе прослышал, уноси подальше свою голову! Завтра после ранней обедни выходи к Фроловским воротам, там наши люди тебя и встретят, и поведут. Мужайся и знай, что скоро ударит час твой!».

И только он дочитал эти последние слова, раздался первый удар монастырского колокола, который созывал братию к заутрене... За первым ударом — второй, третий, и благовест пошел разноситься в ограде монастырской, изредка заглушаемый воем и свистом метели.

Григорий был так ошеломлен полученным известием, что даже забыл и лоб перекрестить при начале благовеста. Он все еще держал в руках таинственную грамотку, когда в коридоре раздался звук шагов, и мимоидущая братия стала стучать в двери Григорьевой кельи.

— Поспешай, брате Григорий!

— Аль заспался, что и благовеста не слышишь?

— Аль жезла архимандричьего отведать захотел, лежебока?

Григорий поспешил сжечь грамотку, оправил рясу, подтянул потуже ремень на поясе и собрался выходить из кельи. Но прежде чем отомкнуть дверь, он сунул руку под изголовье, вытащил оттуда заветный свиток и спрятал его за пазухой...

А колокол все громче и громче гудел, призывая к молитве, напоминая об иной, высшей воле, о том, что над всеми людскими помыслами, тревогами, стремлениями, заботами и желаниями есть Всевидец, читающий в душе всякого человека, как в открытой книге...

Григорий, покидая свою келью, бросая последний взгляд на тот тесный угол, в который он надеялся не возвратиться больше, не дерзнул обратиться с молитвой к Всемогущему и Всеблагому. Он боялся заглянуть в грядущее и страстно хотел бежать от настоящего, бежать во что бы то ни стало! Дух целомудрия и смиренномудрия был далек от души Григория, и земные желания так переполняли ее, так всецело ею владели, когда он переступал порог своей кельи, что в душе юноши не было места ни молитве, ни помыслам о Боге.

ХII

Веселые похаживают

Царицына хамовная[3] слобода Кадашево, сплошь заселенная хамовниками и хамовницами, мастерами и деловицами, была одним из самых богатых промышленных подмосковных сел. Многие из кадашевских хамовников и в Гостиную сотню выходили, и большими богачами на Москве слыли.

Слобода была раскинута за Москвой-рекою на пологих холмах и занимала значительную часть нынешнего Замоскворечья. На самой середине Кадашевской слободы стоял «государин Хамовный двор», город городом, обнесенный высокой бревенчатой оградой, с круглыми вышками по углам. Из-за этой ограды виднеются только двускатные кровли высоких и просторных хамовных изб, в которые каждый день собираются хамовники и деловицы, ткальи, бральи, пряжи и швеи, и целый день кипит там работа; стучит ткацкий стан, жужжат веретена, шуршат колеса самопрялок, и не смолкают веселый смех и говор

нескольких сот мастериц, которые трудятся над тканьем полотен и убрусов или выбирают на скатертях мудреные узоры в виде «полтинок», «петухов», «немецких колес», «осмерногов» и «бараньих рожек».

В той же ограде Хамовного двора помещаются, как раз около ворот, хоромы кадашевской приказной боярыни, которая всеми работами распоряжается, всем заведует, всему ведет счет, а главное — оберегает государственную хамовную казну (то есть все запасы холста и полотен, доставляемых во дворец) от всякой порчи и лихого глаза.

Но и вне стен Хамовного двора вся Кадашевская слобода представляет собой огромную фабрику, здесь все от мала до велика ткнут и прядут, расчесывают пряжу и белят полотно. Здесь никто не сидит сложа руки все заняты делом, и заняты им круглый год как пчелы в улье: каждый тянет свою вощину и влагает свою долю меда в общие соты.

Умеют Кадаши работать — умеют и гулять, и праздновать. Чуть праздник на дворе — так уж и вся слобода на улице. Бабы дородные в жемчугах да в золотых киках, девки видные,

красивые в цветных ферязях да в телогреях, парни в суконных кафтанах да в однорядках, в ярких шапках с меховой опушкой, в сапогах с высокими подборами. Песни, пляски, игры, шум, веселье такое, какого в ином городе не сыщешь! Недаром Кадашевские слобожане сами о себе сложили присловье: «Наши Кадаши всем хороши!».

Кроме всех других праздников, у кадашевских слобожан каждый год бывали еще два лишних: один в декабре, когда оканчивалось изготовление белой казны и ее укладывали в коробьи для отвоза во дворец, другой в начале февраля, когда на Хамовном дворе новую казну заводили, то есть начинали готовить пряжу для тканья холстов и полотен на будущий год.

Вот и на завтра, на 9 февраля, выпадает как раз этот праздник, и вся слобода государынина к нему еще накануне готовится.

— Хоть ты, боярышня, и опальная, и в немилости у матушки царицы, — говорит Ирине Луньевой суровая кадашевская боярыня, — а все же завтра и для тебя праздник. Коли попросишься, я тебя с собой и в церковь

Божию возьму.

— Возьмешь, так и ладно, а не возьмешь, я и дома помолюсь, — довольно резко отвечала ей Иринья.

— Ой, матушки! Гордыня неприступная! Думаешь, красива очень, так и спесивишься? Небось, голубушка, спесь-то с тебя здесь сбивать велено!..

— Не ты ли ее с меня сбивать станешь, госпожа всемилостивая?! Я уж тебе не раз говорила, что дело стану делать без всякого прекословия, а из-за твоих милостей тебе кланяться не стану!

— Добро, добро!.. Вот погоди, первый раз как во дворец пойду, я на тебя царице того наговорю, что тебя отсюда еще подальше уберут, пошлют в женскую обитель под строгий начал прохладиться...

— Ну и пойдя — клеветчи! Не очень ты мне страшна! — гневно крикнула Иринья. — Под начал — так под начал! Умру, а тебе не поклонюсь!

Иринья отвернулась в сторону и склонилась над пальцами, избегая того холодного и злобного взгляда, который бросила на нее

злая боярыня, выходя из комнаты.

— Боярышня, а боярышня!.. — шепчет Иринья, незаметно наклоняясь к ней, соседняя девушка-деловица. — А что же ты велишь Авдюшке Хамовнику сказать? Ведь он ответа ждет — идти в город ладить...

Иринья подняла голову, с минуту подумала и вдруг, смело глянув в лицо девушке, проговорила решительно:

— Пусть он скажет, что я на все согласна! Хоть завтра же!.. Пропадай моя голова — лишь бы отсюда вон!

— Что ты! Что ты!.. Да они же говорят, что у них уж все налажено и ты с женихом как ключ в воду канешь!

— Пусть я точно в воду кану, мне все равно! Хоть денек пожить, как люди живут!.. Ступай скорей, скажи Авдюшке, чтобы шел, чтобы бежал... Чтобы спешил туда... Чтобы нигде и часу не замешкался!..

...На другой день спозаранок, чуть поднялась, чуть очнулась от сна Кадашевская слобода, как уж загудели по-праздничному церковные колокола, и веселый шум и говор народа, хлынувшего толпами из домов, напол-

нили все слободские улицы и закоулки. По-праздничному разряженные слобожане и слобожанки спешили к Хамовному двору, на котором попы собирались петь молебен Спасу с Пречистою да Ивану Предтече и воду святить и той водой кропить хамовные избы перед «заводом новой белой казны государственной».

В то же самое время, верстах в двух от слободы, по дороге к ней тянулось какое-то престранное, предиковинное шествие. Шла веселой гурьбой ватага скоморохов в пестрых и ярких лохмотьях, в рогожных гуньках, в берестяных шапках с мочальными кистями, в тулупах, вывороченных наизнанку и подпоясанных лычными поясами. Кто нес волынку, кто гудок, кто домру, кто бубен, кто гусли звончатые, кто свирель голосистую... Трое мехонош на длинных жердях тащили увесистые мешки со всяким потешным скарбом и скоморошьей крутой. Два ручных медведя на цепях, прикрепленных к кольцам, продетым в ноздри, тяжело переваливаясь, выступали вслед за вожаками и волокли за собой салазки, на которых были навалены всякие потеш-

ные снасти для медвежьей игры: деревянные сабли да саадаки,[4] бабьи кокошники, козий мех с золочеными рогами и всякая тряпичная ветошь. Ватага была большая, человек в шестьдесят.

— Стой, ребята! — крикнул передовой во-
жак. — Вон, никак, и боярин наш едет... Тот
самый, что наймовал нас сегодня в Кадашах
играть!..

— Он! Он и есть!.. — загомонили скоморо-
хи навстречу Тургеневу, подъезжавшему к
ним в легких саночках, запряженных парой
отличных вороных коньков.

— Поклон твоей милости правим, бояри-
нушко! До сырой земли маковки клоним! Все
собрались по твоему приказу! Да вот еще мед-
вежатников Курмышских по дороге прихва-
тили!

— Ну и спасибо! Внакладе не будете! — ска-
зал Тургенев, обращаясь к скоморохам. —
Только чур не своевольничать! Ухо остро
держатъ — по приказу ходить. Больше там иг-
райте, где наших ребят увидите в серых каф-
танах да в красных кушаках...

— Знаем, знаем, бояринушко! И в шапках с синими верхами!

— Около них всю игру ведите, чтобы вам от слобожан какой помешки не вышло. А медведей с жожаками, да с козами, да с гудками, да с волынками прямо ведите на Хамовный двор, и как только мой парень из пистолы выпалит, так уж там сами знаете, что вам делать надо... По уговору...

— Знаем, вестимо знаем, бояринушко!.. Вот только бы нам с тебя задаточек сошел, так оно бы...

— Вот вам в задаток! — засмеялся Тургенев, бросая кожаный кошель с деньгами в толпу, скоморошьему старосте. — А если завтра целы да живы будете, так здесь же еще столько же получите!..

— Спасибо тебе, красное солнышко! Обогрел ты нас, веселых людей, уж и мы ж тебя потешим, позабавим... Эй, робя! Славь боярина, славь его честь!

И громкая, лихая песня, с присвистом и с гуденьем бубнов, понеслась вслед Тургеневу, который приударил на вороных, так что только снежная пыль кружилась и сверкала сле-

дом за его санями в морозном воздухе...

...Гуляет Кадашевская слобода широкой развеселой гулянкой. У всех ворот кучки нарядных слобожан и слобожанок и шутки, говор, смех... Парни об руку с девушками ходят по улице, угощают их орехами и пряниками, перекидываются с ними и словами, и взглядами. У царского кружала тоже не отолченный угол народа, там веселый шум похмелья и раскатистый хохот.

— Эх вы, клюковные носы! — кричит на своих товарищей ткачей Авдюшка Хамовник, пожилой сидельый ткач и большой гуляка. — Вот как пить да гулять, так «где, мол, тетка, мой полуторный ковш?», а как за стан-то сел, так уток от основы не разберет!

— Ну, загулял, Авдюшка, разбахвалился! Поехал в самую бочку! Смотри не утони... — кричали со всех сторон в толпе, окружавшей Авдюшку.

— Небось, не утону, а и утону — выплыву! Потому Авдюшка все может... Я своему государю... Своим государыням уж который год работаю, и рукодельишко мое вам в образец сходит... Вам, вислоухим, приказывают, что-

бы ваше изделие в точь моей руки было! Со-
всем чтобы в точь...

— Да ну тебя! Провались ты и с изделием...
Небось теперь и в бёрдо-то ниткой не попа-
дешь!.. Знаем тебя тож!

Но Авдюшка не слышал насмешливого
укора. Слегка покачиваясь, он продолжал раз-
глагольствовать, размахивая руками:

— Я все знаю. Знаю, что будет сегодня...

— Еще бы тебе не знать! — смеются ему
в ответ. — Знаешь, что будешь к вечеру пьян.
А мы знаем, что и завтра с тобой будет, — опо-
хмеляться станешь! Ха-ха-ха!

— Нет, врешь, я не о том! Знаю, что сюда к
нам, Кадашам, из царского погреба бочки с
пивом да с медом выкатят... Пей, мол, гуляй!

— Уж не ты ли за нас царскому кравчему
попечаловался? Ха-ха-ха!

— Братцы! Братцы! — кричит кто-то со сто-
роны. — Да он не врет! Смотрите, и точно к
нам обоз целый с бочками идет!

Вся толпа бросается в ту сторону, откуда
показался обоз, и все с радостью видят, что в
слободу на двадцати санях, запряженных сы-
тыми конями, везут возчики бочки с медом

да с пивом, а обок с санями царская служня идет, по четыре человека на подводу, народ все рослый и видный, молодец к молодцу. И все в серых кафтанах с красными кушаками, все в высоких шапках с синими верхами. А впереди обоза едет царский стольник в нарядных санях на вороных коньках. Борода у стольника седая, длинная, а лицо красивое, румяное. И на облучке у стольничих саней сидит здоровенный детина, стройный, высокий, конями правит.

— Ребята! — говорил всем на пути царский стольник, приветливо кланяясь на обе стороны. — Як вам от матушки-царицы да от батюшки-царя с государским жалованьем и с милостивым словом прислан. Великий государь изволит вас жаловать погребом!

— Благодарствуем великому государю и великой государыне на милостивом слове и на жалованье! — громко кричит толпа, толкаясь и кружась около обоза с бочками, который останавливается у церкви.

По приказу стольника серые кафтаны разом выворачивают бочки из саней и катят их в народ.

— Сюда ее, голубушку! Сюда!.. Эта наша, в наш конец катится! — слышатся в толпе веселые восклицания.

— А эта с чем?.. С медом?.. С паточным давай, давай! Ставь бочку дыбом... Выбивай донце!

— Братцы! — кричит кто-то в толпе. — Бамам меду не давать, царские меды разымчивы, а наши бабы забывчивы...

— Ну да! — кричат в ответ балагуру бабы. — Небось! Наш Кадаш пьет и пиво и мед — ничто его неймет!

Разгул начинает быстро овладевать толпой, шум и говор растут по мере того, как бочки осушаются одна за другой. «Царское жалованье» пьют ткачи, и ткачихи, и старики, и молодые парни, а за углом да исподтишка небрезгают им и красные девицы. Кое-где начинают довольно нестройно петь песни... В общем веселье и похмелье не принимают участия только царские слуги, которые стоят молча, стена стеной, около своих подвод и ждут стольничего приказа.

Вдруг у околицы раздаются какой-то нестройный гам, звон, свист: трубят в трубы,

бьют в бубны, гудят на волынках, а среди этой дикой музыки слышится и песня удалая, хоровая:

*Веселые по улице похаживают!
Гудки да волынки понашивают!
Ой, гуди, гуди, гудок заливной,
Ступай, молодец, в садочек за
мною.*

— Скоморохи, скоморохи идут! — проносится радостный крик над всей слободской улицей. — Веселые ребята, потешники! То-то гулянье у нас пойдет!

И ватага знакомых нам скоморохов в диковинной скоморошье круте, в уродливых деревянных личинах, потряхивая шутовскими посохами, припевая и приплясывая, высыпала на площадь. Далеко разносится их песня:

*Скоморохи люди вежливые,
Да они же и очестливые!
Красну-девицу возьмут, уведут,
Ожерельице назад принесут!*

— Сыграйте, сыграйте, скоморохи удалые! — кричат им из толпы.

— Не смей играть! — кричит начальствен-

ным голосом десятский. — Наш приказ не велит у нас в слободе играть скоморохам без приказу...

— Ну тебя к шуту и с приказчиком! Играй, ребята, наплюй на приказчика!

Скомороший староста выступает вперед, подходит к десятскому с глубочайшим почтением и, снимая с головы берестяной колпак, спрашивает его:

— А дозволь у твоей чести узнать, кто будет вашей слободы приказчик.

— Вестимо кто! — отвечает скомороху десятский. — Кузьма Иваныч, что на Хамовном дворе...

— О! Так этого мы знаем! — весело подхватывает скоморох. — Этого мы как на место ставили, учили: «Приказчик, приказчик, клади деньгу в ящик — алтын за сапог!».

Вся толпа и сам десятский покатываются от смеха, а ватага скоморохов разбивается на группы, и все они свистят, поют, колесом ходят, да вдруг как грянули плясовую:

*Ай, жги, жги, говори,
Комарики, мухи, комари!..*

И закружились, завертелись, пошли по снегу вприсядку...

— Любо! Любо! Вот так пляшут, черти! Глянь-ка, глянь, Дуняшка! Ногами-то, ногами — тьфу, пропасти на них нету!

— Господа скоморохи! — крикнул в это время какой-то парень в сером кафтане, подбегая к ватаге. — Вожаков с медведями требуют на Хамовный двор, приказную боярыню тешить.

— Вали, меньшая братия, на Хамовный двор! — кричит скомороший староста. — Поворачивайтесь, Михайлы Ивановичи! Потешьте, ступайте, сердитую боярыню!

И между тем как отдельные группы скоморохов действуют в разных местах слободы, привлекая общее внимание и возбуждая неумолчный хохот толпы, часть их пестрой гурьбы с жожаками медведей отделяется и идет на Хамовный двор, а за нею вслед валит толпа народа посмотреть, как ученые медведи с ряженой козой плясать станут.

Все население Хамовного двора высыпало на крылечки да на рундуки хамовных изб. Все теснятся, толкаются, все хотят поглазеть

на предстоящее представление. Вон на крыльцо и сама боярыня Настасья Ивановна выплыла со своей служней да с опальной боярышней Ириньей Луньевой. А около боярыни и пузатый приказчик Кузьма Иванович, и государев стольник, что царское жалованье слобожанам привез.

Вот и скоморохи с медведями ввалились во двор, идут кругом двора широкого, всем низкий поклон правят.

— Смотри-ка, Палашка, хари-то, хари! Ай Господи! Глазици-то какие намалеваны!

— А на медведях-то! Шапки набекрень надеты! А у бурого-то, смотри-ка, кушак подвязан, а на кушаке саadak да сабля! Прости Ты, Господи!

И даже сама боярыня изволит улыбаться, когда перед ней останавливают вожаки обоих медведей и заставляют мишек кланяться ей в землю.

— Кланяйся, Михайло Иванович, боярыне ласковой! — нараспев повторяет вожак, держа медведя за цепь. — Да кланяйся ниже, до сырой земли! Да кланяйся и приказчику Кузьме Ивановичу, да не так низко, как боярыне!

Общий хохот кругом. Сама боярыня изво-лит смеяться со стольником и приказчиком.

А между тем два скомороха уж успели нарядиться в козий мех с золотыми рожками и пошли кругом медведей приплясывать, то ударяя в бубен, то поваживая смычком по гудку.

— А ну-ка, Михайло Иванович, как лёжен-ка без рук и без ног на солнце лежит, а одну голову подымает... «А как мать родных детей холит, а мачеха пасынков убирает...»

Восторг толпы достигает крайних пределов. Слышатся голоса:

— Ай, любо!.. Истинно так!.. Ай, Мишенька!..

— «А как жена милого мужа приголубливает, порох из глаза у него вычищает...». — «А как теща зятя потчевала, блины ему пекла да, угоревши, повалилася...»

Вдруг в самый разгар этой медвежьей комедии вывернулся из толпы какой-то детина в сером кафтане, сунулся к медведям, невесть откуда выхватил пистоль да над ухом у одного мишки из пистоли — хлоп! И опять в толпу юркнул, окаянный...

— Ай, батюшки! Убил, убил! Застрелил! — ревет во весь голос скомороший староста и бросается на землю между медведями.

— Ай, застрелил! Держи его, держи! — кричат вожаки и выпускают из рук цепи медведей.

Ошалелые от выстрела и криков медведи рычат и мечутся по двору, бряцая цепями, и лезут на толпу.

Крик, визг, шум, давка, ругань и общее бегство во все стороны... Суматоха и сутолока поднимаются невероятные! Все кричат, все вопят, и никто ничего не понимает. Степенная боярыня Настасья Ивановна завизжала первой и хотела броситься с крыльца в хоромы, да сзади нее натолкалось полное крыльцо девок и дворни, что и не пролезть, и не продраться.

— Пустите, пустите! — кричит она во все горло, отвешивая направо и налево тумачи и оплеухи.

Но ее кто-то хватает за руки, и держит крепко, и плотно накрывает овчиной.

— Ай, чтой-то! Задушили! Пустите! — слышится ее визгливый голос среди общего гама

и крика.

— Батюшки мои! — кричит кто-то из двора. — Смотрите-ка, боярыня-то наша, никак, ошалела! Козой нарядилась! И Кузьма Иванович! Да кто же это на них круту скоморошью надел? Ха-ха-ха!.. — галдят и хохочут кругом люди, убегая со двора и указывая пальцами на оторопевшую боярыню и приказчика, которые наконец освобождаются от своего шутовского наряда, оправляются и с удивлением посматривают друг на друга.

— Матушка Настасья Ивановна! — пыхтит приказчик. — Что же это? Наваждение бесовское, что ли?

— Где скоморохи? Где все наши Кадашевские ротозеи?! — кричит боярыня и мечется по опустевшему двору. — Где десятские? Где староста? Куда все разбежались?

Но никто их не слышит. Над селом носится шумный и веселый гам праздничного похмелья. Толпы народа гуляют... Ими запружены все улицы, все закоулки... Свист, песни, хохот — все сливается в общий гул. А на околице слобожане провожают «веселых скоморохов», которые вместе с медведями спешат

убратся подобру-поздорову восвояси и поют на прощанье с присвистом и гиком:

*Эх вы, братцы! Эх вы, братцы!
Кадаши! Кадаши!
Променяли красну девку
На гроши, на гроши!
А мы взяли красну девку
В барыши, в барыши!*

И только тогда, когда след скоморохов пропал на дороге, вдруг по толпе пронеслась весть:

— Братцы! Ведь скоморохи-то у нас с Хамовного двора боярышню выкрали!

— Что врешь-то! Незнамши! Скоморохи выкрали! — кричит Авдюшка Хамовник, совершенно уже опьяневший. — Ты меня спроси! Я все знаю...

— Говори, коли знаешь! — кричит на него толпа. — Там во какой переполох идет! Говори!..

Авдюшка подбоченивается и долго смотрит на вопрошающих мутными, бессмысленными глазами.

— Так сказать вам? А?.. А видели ли вы, как лягухи прыгают? Была девка, да незанра-

вилось ей! И ушла девка, и ищи ветра в поле... Сам видел, как этот государев стольник девушку-то около себя на сани, а седую-то бороду под сани... А вороны так и чешут, так и чешут... А серые-то армяки на своих кошевнях все врассыпную... Ха-ха! А вы, дурни, орете: «Скоморохи девку выкрали!» Ха-ха-ха!..

Часть вторая

I

Черные вороны

Царь Борис, закончив обычный утренний прием бояр в «комнате», только было собирался идти на заседание в думу, как к нему прибежал стряпчий с царицыной половины.

— Матушке царице крепко неможется! — сообщил впопыхах царицын стряпчий. — Просит тебя, великий государь, пожаловать к ней. За духовником послать изволила свою боярыню...

Борис немедля приказал послать к царице своего дохтура-немца. Затем внутренними дворцовыми покоем и переходами он прошел на половину царицы Марии.

Здесь он нашел такой хаос, такие суетню, беготню, снованье взад и вперед всякой служни, что голова у каждого, даже и здорового человека, должна была бы пойти кругом. Среди всей этой беготни и шума до слуха царя явственно долетал голос царицы Марии, кото-

рая то кричала в своей опочивальне, то стояла так, что даже в теплых сенях было слышно. Едва переступив порог царицыной передней, царь недружелюбно и подозрительно оглядел всех столпившихся тут женщин и тотчас приказал выйти из передней всем посторонним. Передняя быстро опустела, в ней остались только самые приближенные лица царицы.

Царь отозвал к окну боярыню Беклемишеву и спросил ее, нахмутив брови:

— Что у вас случилось? Верно, опять чем прогневали царицу?

Борису были хорошо известны истерические припадки его почтенной супруги, составлявшие одно из великих несчастий его жизни.

— Ни в чем не повинны, великий государь! — отвечала царю старая боярыня. — Ничем не прогневили, как зеницу ока бережем. Да вот кадашевская боярыня принесла матушке царице недобрые вести, ну она и...

— Какие вести? Что за напасти могут там быть у них в хамовщине?.. Холсты пропали?..

Скатерти не тем узором стали брать, что

ли? — с досадой сказал царь.

— Нет, государь, там у них худо поважнее случилось... Да вот она и сама здесь! Извольте сами у нее спросить!

И не успел царь оглянуться, как кто-то бухнулся с визгом и плачем к нему в ноги и усиленно целовал его в сапог, причитая в голос, как по покойнику:

— Смилуйся, батюшка царь, прости меня, рабу свою, холопку грешную! Видит Бог, без вины... Всех нас бес попутал... Обошли, проклятые!..

— Да что у вас? Говори толком, не путай! — прикрикнул Борис, стараясь освободить свой сапог из рук плачущей боярыни.

Боярыня Настасья Ивановна подняла свое красное заплаканное лицо и проговорила, всхлипывая:

— Девица у нас пропала... Боярышня та самая, что матушка царица мне на руки сдала! Видит Бог, уж я как ее берегла! А тут околдовали нас... Ей-ей, околдовали!

— Да кто околдовал-то? Что ты плетешь! — еще громче крикнул Борис, ударяя посохом в пол.

— Околдовали... Скоморохов навели... В праздник... Медведями наряжены... А в слободе-то все пьяны твоим государевым жалованьем... Из дворца бочки с медом да с пивом повезли... А тут кто-то выстрелил из пистолы, чуть всех нас не убил... А медведи с цепи сорвались... Нас всех драть хотели... Еле мы от них за дверь спрятаться успели... А твой государев стольник... И с медведями да со скоморохами сгиб да пропал... А с ним и девица-то боярышня пропала же!..

— Какой стольник! Как он к вам в Кадаши попал?

— С твоей государской милостью к Кадашам прислан, погреб твой царский им привез... И ко мне пришел, седой такой, почтенный... А людишки-то его всех перепоили... И скоморохов ко мне во двор прислали... Сильно играть им велели...

— Эй, позвать сюда Семена Годунова! — крикнул царь гневно. — Пусть он эту дуру расспросит, как было дело! Он мне толковее доложит...

И Борис быстро прошел в опочивальню царицы, из которой неслись стоны и вопли впе-

ремежку с рыданиями и всхлипыванием.

В царицыной опочивальне Борису представилась знакомая и невеселая картина. На широком царицыном ложе, раззолоченном и разукрашенном пестрой резьбой, на камчатных пуховиках и подушках, среди парчовых занавесок с богатейшими кистями и кружевами лежала царица Мария, в одной ферези с расстегнутым воротом. Повязка ее сбилась на сторону, пряди волос высыпались на шелковое изголовье... Лицо ее было бледно, глаза горели как угли, ноздри раздувались, она тяжело дышала... Смолкала на минуту, потом опять принималась кричать, стонать и плакать, бросалась по постели и била ногами в спинку кровати. Две комнатные боярыни растерянно метались около кровати, то опрыскивая царицу Марию святой водой, то подавая ей какое-то нашептанное питье. Две постельницы стояли в отдалении, одна держала в руках таз со льдом, другая окуривала комнату какими-то травами.

Когда царь вступил в опочивальню, обе боярыни почтительно отошли от царицына ложа и выслали постельниц из комнаты.

— Выйдите и вы! Оставьте нас одних! — сказал Борис, обращаясь к боярыням. — Да тотчас пошлите доктора сюда, как только он придет!

Царица Мария продолжала метаться, кричать и охать на постели, несмотря на присутствие царя, который подошел к кровати и опустился на мягкий стулец, стоявший у изголовья.

— Ох! — стонала царица. — Загубят, загубят меня и тебя лиходеи, вороги наши лютые!.. Ох-ох, смерть моя пришла! За отцом духовным послала... Загубят, а все потому, что ты меня не слушаешь! Узды на них наложить не хочешь... Ох Царица Небесная!..

— Успокойся, Марьюшка, ты сама себя своим сердцем в гроб вгонишь! — сказал царь Борис.

— Успокойся?! — крикнула царица, вдруг поднимаясь на своем ложе и опираясь на руки. — Успокойся?! — еще громче повторила она, сверкая глазами, между тем как бледное лицо ее подергивалось судорожными движениями и на нем выступали красные пятна. — Я тогда успокоюсь, когда ты моих и своих вра-

гов со свету сживешь! А до сей поры мне один покой — под гробовой доской!

— Ты все одно да одно! Заладила! Теперь-то чем же перед тобой Романовы провинились?

— Чем провинились! Ты еще спрашиваешь? А кто боярышню украл, как не их же держальник?[5] Кто опоил зельем всю слободу? Кто надо мной и над тобой насмеялся? А?!

— Насмеялся?! — переспросил Борис, сурово сдвинув брови.

— А то как же! Я, царица, ее, негодницу, послала в слободу в пример да в наказанье, чтобы другим дурить было неповадно да без воли царской замуж прыгать, а они взяли ее да выкрали, да увезли... Да еще всех опоили, всех одурачили — будто на двадцати подводах царский погреб Кадашам привезли...

— Кто же это смел? Кто осмелился так обманывать?!

— А кто же, как не твои все приятели? Все они же! Они и монашка того выпустили из Чудова, которого ты в дальние монастыри отправить велел, они и теперь мою слугу укра-

ли, прослышали, знать, что я ее за непокорство в женскую обитель отослать собиралась!..

— Да кто же это знает, что все сие от Романовых идет?..

— Все, все от них! Все зло!.. Прикажи сыскать, притяни их накрепко к допросу-то...

— Что говоришь ты, Марьюшка!.. — нетерпеливо дернул плечом Борис. — Ну как я из-за девчонки да из-за Кадашей твоих к допросу притяну первых вельмож, первых бояр моих!

Я их и сам-то, правду сказать, не жалую... Не лежит к ним сердце!.. Да как же так-то?.. Это вам с бабами так расправляться, а не нам с боярами!

— Не из-за девчонки!.. Не из-за Кадашей! — злобно прошипела царица Мария. — А из-за них самих, из-за их злобы... Из-за того, что они на тебя ножи точат, на твое государское здоровье умышляют, коренья держат... Я ведь говорила уж тебе!.. Или не веришь?.. Так Семена спроси! Он знает...

Борис молча отвернулся. Ему тяжело было смотреть в глаза царице, она напоминала ему злого гада — змея, василиска сказочного. На

душе у Бориса холодело от этого взгляда... А царица все шипела и нашептывала ему в уши те же злые речи, те же злые мысли, пока новый и сильнейший припадок не вынудил ее смолкнуть и от слов перейти к крикам, к стонам и корчам.

Пришел доктор-немец, прибежали боярыни из соседней комнаты. Царицу, по приказу доктора, стали оттирать, обвязали ей голову мокрым убрисом. Доктор просил у царя разрешения пустить кровь царице, если она не успокоится, и заметил, что эти припадки грозят ей серьезной опасностью.

Хмурый и гневный вышел Борис в смежную с опочивальней комнату, там у выхода в переднюю его уже ожидал Семен Годунов.

— Ну, опросил ли бабу?.. Что выведать успел?.. — сурово обратился к нему Борис.

— Боярышню, Шестова-стольника невесту, украли романовские люди, а по чьему приказу — неведомо. А ведомо, что тех людей, которые с погребом твоим царским в Кадаши приехали, на романовском подворье видели... И кони под тем стольником, что боярыню кадашевскую оплел, романовской же конюшни...

Да тут еще ткачишко один с пьяных глаз со-
знался, что тот вовсе и не стольник, а ка-
кой-то из романовской же дворни, только бо-
роду седую надел...

— Сыскать про все про то сейчас же и на-
крепко всех опросить на романовском подво-
рье! — строго проговорил царь.

Но сейчас же спохватился и совладал с со-
бою, заметив, что лицо Семена Годунова про-
сияло какою-то особенной радостью.

— Постой! — сказал Борис. — Сыскать без
шуму под рукою... А на подворье не соваться!
Сначала доложить мне обо всем, что разузна-
ешь. А Шестова немедля взять за приставы и
допросить.

Семен нахмурился, опустил голову и пере-
минался с ноги на ногу, видимо, недоволь-
ный тем, что приказ царя не развязывал ему
руки для решительного действия.

— Ну что же стал? Ступай! — велел Борис.

— Великий государь! — вкрадчиво заме-
тил Семен. — А на подворье романовском не
повелишь мне разыскать?.. Насчет коре-
ньев?.. Изволишь помнить, что я докладывал
тебе?.. Что если это точно — правда?..

Борис молчал, хмуро поглядывая по сторонам. Это ободрило Семена, и он продолжал, понижая голос:

— Да уж кстати там на подворье можно бы и беглых поискать... Там, говорят, есть где укрыться! А для своих-то и подавно найдется место... Ведь этот монашек-то чудовский жил тоже у Романовых на подворье... А может, и теперь не там же ли живет?

— Что ты врешь?.. Почему ты знаешь?.. — недоверчиво спросил царь.

— Да мне же сам князь Василий Иванович Шуйский об этом сказывал... Этот самый инок Григорий сначала, как в миру-то жил, пришел откуда-то во двор к князьям Черкасским, а от Черкасских его переманил к себе Романов Федор Никитич... А от него потом он убежал да в иноки пошел, да в иноках и проболтался...

— Ну?! При чем же тут Романов?

— А Шуйский-то сказывал, будто и прежде за тем Григорьем та же похвальба водилась, будто бы и прежде величался он родом своим...

Борис беспокойно стал оглядываться, опа-

саясь, что Семен скажет лишнее. Но тот добавил только шепотом:

— Так, может быть, и теперь не там ли укрывается чернец-то, не на подворье ли?.. Ведь Романовы-то жалостливы... Не захотят, чай, выдать старого слугу...

Борис нетерпеливо сделал шаг вперед, потом обернулся к Семену, и, видимо, стараясь подавить в себе волновавшее его чувство, сказал:

— Ступай и делай только то, что тебе приказано... А прежде всего вели Шестова взять и допросить.

Семен низко поклонился и вышел из комнаты в переднюю царицы...

...Пройдя переднюю и выйдя в теплые сени, Семен направился сначала на то Постельное крыльцо, на котором он должен был отдать приказ о Шестове, затем он свернул по переходам направо, перешел через небольшой внутренний дворцовый дворик, за угол церкви Спаса на Бору, и вошел в отдельную брусяную избу, в которой хранились ключи от порученных ему ведению кладовых и тайных подвалов теремного дворца. Притворив

дверь на запор, он рылся между связками ключей, перебирая их на кольце, разглядывая, и наконец снял с кольца один какой-то мудреный, зубчатый, кривой. Потом вздул свечу в фонаре, открыл подполье — и спустился туда.

Долго рылся он в подполье, пока не отыскал в нем то, что ему было нужно. Он вынес из подполья два порядочных мешочка, тщательно зашитых и туго-натуго завязанных веревкой с печатями. На каждом мешочке стояла какая-то надпись мудреными восточными каракулями. Семен Годунов задул фонарь, потом внимательно осмотрел мешки, осторожно разрезал веревки, которыми они были завязаны, снял с них печати и заглянул внутрь мешков, набитых какими-то кореньями. Он перевязал их новыми веревками, затем, слепив из воска новые печати на концах веревок, порылся за пазухой, вынул какой-то массивный золотой перстень и тщательно оттиснул его на восковых печатях. Те, кто знали толк в знаменьях, с первого же взгляда могли бы различить на этом перстне знаки боярина Александра Никитича Романова. Любобав-

шись оттиском печати, притворив за собой дверь на замок, Семен Григорьевич бережно привесил мешки под полу шубы и вышел из избы во двор. Он спешил из дворца к себе на подворье со своим драгоценным кладом.

II

Царская тещь[6]

Наступила весна — ранняя, теплая, дружная. Снега стаяли быстро, и реки еще не успели войти в берега, как луга уже зазеленели, и лес в половине апреля оделся такой листвой, какой в иную весну не бывает на нем и в мае. Прилет птиц начался тоже рано, всякая полевая и водяная птица валом повалила на север с юга, оживляя топкие пожни и мокрые поля своими писком и криком. Большие вереницы диких гусей и лебедей понеслись по ясному, бледно-голубому, безоблачному небу. Охотников потянуло в отъезжее поле с соколами и кречетами. Из первых выехал Федор Никитич Романов с братьями и поехал тешиться в своих заповедных, подмосковных лугах и болотах. С ним отправилась в поле его

обширная, нарядная охота, сокольники и кречатники, все в цветных, ярких кафтанах, отороченных галунами, в красных сафьянных рукавицах, расшитых шелками.

Съехал со двора Федор Никитич ранним утром и приказал ожидать себя домой к обеду. Но вот уж солнце и за полдень перевалило, и час, и другой прошел, а боярин все еще не приезжал из отъезжего поля.

Боярыня Ксения Ивановна стала не на шутку тревожиться о муже, и мать тщетно старалась убедить ее в том, что тревога напрасна, что боярин просто увлекся своей любимой утехой и что опасаться за него нечего.

— Не опасуюсь я, матушка, а так как-то на сердце у меня нехорошо. Худоумие такое на меня напало... И это уж не первый день.

— Что же ты мне ничего не скажешь, Аксиньюшка? Что у тебя на сердце, голубушка?

— И сама не знаю, матушка! Вот так и кажется, что беда над нашей головой висит, туча какая-то грозная! И все с тех пор, как брата Алешеньку за приставы взяли.

Мать тяжело вздохнула.

— В ту пору я так перепугалась! — продол-

жала Ксения Ивановна. — Прослышала я, что его к допросу требуют, и вздумалось мне, что его пытаться станут... Да услышала Дева Пречистая молитвы мои грешные, и царь приказал в Смоленск на службу отослать... Вот в ту-то пору я натерпелась страху и с той поры все жду беды.

— Да неужели из-за того, что боярышня из Кадашей, не вытерпевши, сбежала?

— Нет! Из-за того, что злая царица Мария давно уж на всех Романовых гору несет и погубить их хочет... Оклеветать и очернить перед царем. Когда Алешу взяли, Семен-то Годунов (наш главный враг издавна) всю челядь нашу перебрал поодиночке, у всех выпрашивал, всех подговаривал и подкупал, чтобы наговорили на Федора Никитича.

— Злодей этакий, прости Господи! — прошептала Шестова. — Мало ему людского горя!..

— Не нашлось тогда меж нашей челяди предателей, да ведь, по нынешним-то временам, кто ж поручится?..

Ржание и топот коней послышались в это время с улицы, и Ксения Ивановна бросилась

со своего места к окну терема. На дворе суетились люди и бежали отпирать ворота.

— Матушка! — весело вскричала молодая боярыня. — Вернулись! Вернулись! Ступай скорее, веди сюда детей из детской! — я знаю, что Федор Никитич прежде всего сюда заглянет, ведь он детей-то не видал сегодня! Эй, люди! Кто там?.. Велите скорее собирать на стол, чтобы мигом все поспело... Чай, голодны бояре?

Через несколько минут в терем засуетившейся Ксении Ивановны две мамы ввели двух миловидных деток, шестилетнего Мишу и восьмилетнюю Танюшу, и поставили их рядом с матерью. Русые головки их были гладко расчесаны, а нарядные камчатые ферязи щеголевато подпоясаны пестрыми золототкаными поясками. Дети ласкались к матери и охорашивались, мать внимательно их осматривала и заботливой рукой поправляла складки одежды. Со двора доносился топот коней, слышались неопределенный говор и шум, но не слышно было того веселого гама, не слышно было песен, которыми обычно сопровождалось возвращение боярина Федора Никитича

с охоты. Ксения Ивановна тотчас это заметила, ее чуткое сердце и в этом почуяло что-то недоброе.

— Матушка! — сказала она, наклоняясь к Шестовой и понижая голос так, чтобы ее не могли услышать люди. — Не веселы что-то вернулись они с охоты!.. Уж не стряслась ли у них беда какая?

Прошли еще несколько минут, а боярин все не шел в женин терем, все томил ее ожиданием.

— Мама! Где же батя? — спросил Миша у матери.

— Мы там играли, — залепетала Танюша, — а нас от игры позвали... Говорят, батя приехал... Ну где же он, мама?

— Молчи! Придет сейчас! — нетерпеливо перебила дочку боярыня.

И затем сама не утерпела, обратилась к вошедшему дворецкому с вопросом:

— Где же боярин? По здорову ли вернулся?..

— Да я и так к твоей милости, боярыня, — сказал с некоторой нерешительностью седой дворецкий.

— А что такое... Что случилось? — тревожно спросила Ксения Ивановна, быстро вскакивая с места.

— Да не знаем, как быть... На стол велела ты подать, я и пошел было доложить боярину, что, мол, щи поданы, да вижу — он с братцем своим, с Александром Никитичем, заперся в своей опочивальне... Я и не посмел... К тебе пришел...

— Что это с боярином? Уж не убится ли он? Не ранен ли? Господи!..

— Нет, матушка боярыня! Бог милостив! — отвечал дворецкий. — А только видели мы, что сумрачен вернулся с полевой потехи.

— Да говори скорее, что ты знаешь!

— Кречета своо любимого...

— Ну что там?.. Упустил?.. Ветром отнесло, что ли?

— Нет, матушка боярыня, сам своей рукой убил!

— Кто? Федор Никитич?! Своего любимого Стреляя?.. Быть не может!

Дворецкий хотел пояснить и подтвердить свое сообщение, но на лестнице послышались шаги, и боярыня не вытерпела, броси-

лась к двери. В этот миг дверь отворилась, и на пороге появился Федор Никитич. Он был все в том же полевом кафтане, в котором выехал на охоту. Лицо его было сумрачно и бледно. Движением руки он дал знать, чтобы челядь покинула терем.

Ксения Ивановна подвела к нему детей. Федор Никитич молча поцеловал их и сказал:

— Пусть мама их возьмет! Пускай идут играют.

Шестова хотела выйти вместе с мамой и детьми.

— Матушка, останься здесь! — сказал боярин и, обращаясь к дворецкому, добавил: — А ты ступай, зови сюда брата, Александра Никитича!

— Что с тобой? Здоров ли ты? — заботливо допрашивала мужа Ксения Ивановна.

— Здоров, слава Богу!

— Ты, чай, проголодался? Рассольник на столе...

— Нет, мы не хотим обедать... Нам с братом не до обеда, — с грустной улыбкою добавил Федор Никитич, усаживаясь около жены на лавку.

— Садись и ты сюда, поближе, брат! — обратился он к вошедшему Александру Никитичу, который крестился на иконы терема и здоровался с хозяйками дома.

Все сели тесным кругом. Женщины с беспокойством и недоумением поглядывали на бояр-братьев.

— Большая беда на нас стряслась! — твердо и спокойно произнес Федор Никитич. — Сегодня утром, когда я выехал на полевой простор, у меня на сердце было так светло, так любо, так легко... Всею грудью дышать хотелось, и думали мы с братом, что натешимся вволю. Но только мы приехали на край заповедной поляны нашей, только поравнялись с осиновою рощей, нам навстречу едет сам царь Борис с сыном, и с Шуйскими, и с годовцами со всеми... Кречет у него на рукавице... Напуск хочет чинить... Мы сейчас всю челядь спешили и сами сошли с коней, стоим и ждем проезда царского. А царь Борис к нам шлет царевича сказать, что «встрече рад, что о наших кречетах наслышан много, так просит свалить охоты...» Ну, думаю, некстати нас понесло в ту сторону! Да делать нечего, свали-

ли! И указал мне царь Борис с моим Стреляем ехать обок с ним (все годуновцы чуть не лопнули со злости) и говорит: «Давай, боярин, по первой птице выпустим обоих наших кречетов — пусть потягуются! Коли мой кречет прежде твоего добудет птицу, ты мне отдашь Стреляя, а коли твой добудет, я тебе своего Мурата отдам». Я поклонился, говорю: «Твоя, мол, воля, государь!..» А самому не по сердцу заклад! Ну, дальше едем... Вдруг с болота спугнули цаплю загонщики. Чуть поднялась — мы разом спустили кречетов. Мурат на средний верх поднялся, а мой Стреляй стал сразу забирать великий верх. Царский кречет пал было на цаплю, да маху дал, стал снова вверх идти, как вдруг Стреляй с великого-то верху из-под самой выси небесной, как молонья, в него ударил, сбил, перевернул, еще ударил — ив крохи расшиб!..

— Царского-то кречета?! — воскликнула Ксения Ивановна, всплеснув руками. — Ах Боже мой! Напасть какая!

— Так тот пластом и пал на землю, — продолжал Федор Никитич, — и не трепыхнулся... А Стреляй поплавал и вверх пошел... Все

так и ахнули... Я оглянулся на царя, хотел было сказать... Да вижу — на царе лица нет: бледен, мра-, чен, позеленел весь, трясется от злобы, только глаза блестят из-под сомкнутых бровей. Глянул на меня и говорит: «Худая эта примета! Недаром говорили мне, что у тебя любимый кречет завеченный да заколдованный...» Я вспыхнул и говорю: «Нет, государь, я с колдунами вовеки не знался, и кто тебе сказал — тот лжет!». А он опять: «Все на тебя, боярин Федор, лгут! Ты один только с правдой-то знаешься!» — «Великий государь! — я говорю. — Я докажу тебе, что кречет мой не завеченный!» Поскакал вперед, повабил кречета, и, когда он ко мне слетел на рукавицу, я голову ему свернул!

Голос у боярина дрогнул; он на минуту смолк и отвернулся.

— Ну что же царь? — с беспокойством допрашивала Ксения Ивановна.

— Повернул коня, созвал бояр, велел сокольничему собрать загонщиков, сбить в кучу кречетников и, не кланяясь ни с кем, тотчас уехал в город. И веришь ли, что все бояре вдруг от меня как от чумного — врассыпную!..

Все за царем вослед! Так мы с братом одни и очутились в поле. Да уж нам не до охоты было! Я приказал зарыть обоих кречетов и вот домой вернулся... И чую над собой невзгоду!..

— Да в чем же тут твоя вина? — спросила Ксения Ивановна. — За что же царский гнев? Ведь сам же он предложил тебе заклад...

— Царь Борис, боярыня, великий суевер, — вступился Александр Никитич. — Он больше верит во всякие кудесы да в приметы, нежели в Бога. Он в этой сшибке кречетов увидел такое знаменье, какое другому и во сне не померщится. Ну, а кругом его, ты знаешь, найдутся люди, которые поразожгут его...

Все замолкли и долго просидели молча, выжидая, что скажет Федор Никитич. Наконец Александр Никитич прервал тяжелое молчание.

— Сдается мне, — сказал он, обращаясь к брату, — что издавна собираются тучи над нашей головой. Припомни-ка, что говорил Алешеньке Шестову тот незванный гость, который на Посольский двор пожаловал? «Пусть, мол, за кладовыми смотрят зорко... Есть, мол, там у них один предатель, Годуновым их продать

собирается...»

— Да, да! Припоминаю...

— Так вот я и стал смотреть, стал сам во все входить, все сам запирать и отпирать... И вдруг такое случилось диво, что и доселе постигнуть не могу! Пропал у меня из-под изголовья ключ от кладовки тайной, да не один, а с перстнем знаменным.

— И у меня пропал мой перстень! — воскликнул Федор Никитич, вскакивая со своего места.

— Ну, пропал, пропал... Я думаю, и разглашать опасно! Молчу, таюсь, другой замок повесил на кладовку. А вот вчера, чуть лег я спать, мне сон приснился... Лезут воры в мою кладовку! Вижу — замок ломают, а я кричу им сверху, с крылечка: «Что вы ломитесь! Вот ключ — я вам его сейчас подам!». Да руку под подушку сунул во сне и разом очнулся... Что ж думаешь? Ведь ключ с перстнем под подушкой у меня! Я вздул огонь, глазам не верю, мой ключ и перстень мой!

— Ох, не к добру все это! Чует мое сердце! — проговорила Ксения Ивановна, всплескивая руками и принимаясь плакать.

Бояре стали утешать ее, но боярыня, долго сдерживая свою тревогу и мрачные предчувствия, никак не могла удержать слов, которые так и лились, лились обильным потоком из ее очей.

Было уж поздно, когда боярин Александр Никитич простился с братом, его женой и тещей и уехал на свое подворье...

...И чуть только забрезжила заря, чуть только за клубился утренний густой туман, приподнимая полог свой к темнеющим вершинам деревьев романовского сада на Варварке, как засверкали среди тумана копья, бердыши, стволы мушкетов, замелькали шапки стрельцов и шеломы конного отряда дворцовой стражи, который подымался по Варварке прямо к их подворью. Впереди отряда верхами ехали бояре с Семеном Годуновым во главе.

Властной рукой застучал Годунов в крепкие ворота подворья и крикнул громким голосом:

— Эй! Отпирай ворота! Живей! Впускай во двор царских слуг с государевым указом!

Оторопелые привратники отворили воро-

та настезь. С шумом и криками ворвались го-
дуновцы на боярский двор. Топот коней, бря-
цание оружия и шум нахлынувшей во двор
толпы людей разом подняли все подворье.
Изо всех окон высунулись тревожные лица,
из дверей повыскакивали люди, поспешно
натягивая кафтаны, оправляя кушаки, нахло-
бучивая шапки.

— Хоромы оцепляй! Хоромы боярские, что-
бы никто из них не увернулся! От саду заез-
жай! — кричал Семен Годунов, как угорелый
бегая по двору перед хоромами. — А вы за
мною, на крылец! В самой опочивальне возь-
мем изменника и злодея государева!

Но Семен Годунов с боярами и стрельцами
не успел еще и ногу занести на ступени, как
дверь из хором распахнулась настезь, и бо-
ярин Федор Никитич Романов явился на поро-
ге.

— Что ты здесь шумишь, Семен Григорье-
вич? — сказал он, гордо поднимая голову и
величаво обращаясь к «правому уху государе-
ву».

— А вот сейчас узнаешь! — отвечал ему Го-
дунов с нескрываемым злорадством; он по-

спешно сунул руку за пазуху, выхватил оттуда свернутый столбец с печатью и, высоко поднимая его над головой, закричал во весь голос: — По указу государеву повелено мне взять тебя, злодея и изменника, боярина Федора Романова, и всех братьев твоих, и весь род твой, и в цепи заковать, и отвести в тюрьму! Все животы твои и все имение отписать на великого государя! Брат твой, боярин Александр, сознался, что умышлял кореньями на царское здоровье!

Федор Никитич набожно перекрестился и громко твердо произнес:

— Видит Бог, что ни он, ни я не виновны...

Семен Годунов не дал ему договорить.

— Что вы стоите, идолы! — крикнул он приставам. — Берите его, куйте в цепи!

III

Сказка и быль

Весть об опале бояр Романовых уже облетела пол-Москвы и привела одних в недоумение, в других возбудила негодование, но в тереме царевны Ксении никто не говорил, никто не смел сказать ни слова об этом важном событии. Там по-прежнему вяло и спокойно текла все та же сытая, скучная и однообразная жизнь, не нарушаемая никакими бурями, лишь изредка оживляемая сплетнями и слухами о том, что происходило вне стен дворца. Царевна Ксения по-прежнему молилась и тосковала, по-прежнему томилась неопределенностью и безвыходностью своего положения, по-прежнему искала развлечений и тяготилась своей тесной неволей.

— Кабы не Марфа Кузьминишна, — не раз говаривала кравчей боярыне мама царевны, — мы бы все с ног сбились!.. Ничем-то не угодишь на нашу причудницу, уж такой-то у ней норов стал непокладливый, что времена-ми хоть плачь! Да вот Марфа-то (дай ей Бог

здоровья) такого выискала царевне бахаря, что просто всем на диво! Говорит, словно ручей журчит, без перестани. Так вот его-то царевна все и заслушивает... Вот и сегодня обещался прийти в обед!..

— Ах, хоть бы мне его когда послушать-то удалось! — воскликнула боярыня-кравчая.

— И чего-то, чего-то он ей ни плетет, мать ты моя праведная! — продолжала царевнина мама. — И палаты-то среди лесу стоят хрустальные, заколдованные, и красные-то девицы в них замурованные, у Змея Горыныча в злом полону, а добрый молодец, сильно могучий русский богатырь, приходит да палицей-то семипудовою как вдарит!..

— Ах матушка! Что ты говоришь!

— Да вот, никак, он и сам к нам в терем жалует...

И точно, вслед за сенной боярышней Варварой в терем вступил старик в долгополом темном кафтане из домодельной сермяги. Его умное и правильное лицо было покрыто глубокими морщинами, длинная борода и густые кудри серебрились сединою, но он смотрел бодро и держался прямо, а его улыбка и

выражение больших голубых глаз были очень приятны.

— Вот он, краснобай-то наш! Добро пожаловать! — приветствовала бахаря мама царевны, ласково отвечая на низкий поклон старика. — Наша голубка уж и так-то ждет тебя не дождется! Три раза сегодня о тебе спрашивала...

— Рад служить царевне всем моим запасом, пока он ей не наскучил!.. А впрочем, у меня сказок запасено не на один год и не на два!..

— Знаю, знаю, что тебя не переслушаешь! Боярышня, ступай-ка скажи царевне, что бахарь-то наш пришел да Змея Горыныча с собой в поводу привел...

Боярышня ушла и через минуту вернулась в терем с царевной Ксенией, которая заняла свое обычное место за пальцами. Бахарь сел прямо на ковер, на полу, против царевны, все женщины обступили кресло царевны и так и впились глазами в лицо бахаря, когда он обратился к царевне с вопросом:

— Какую же мне сказку сказывать прикажешь? Веселую аль невеселую?

— Какая лучше да позанятнее, ту и сказывай! — отвечала Ксения.

— Позанятнее? — произнес в раздумье бахарь. — Ну, коли позанятнее, так разве рассказать тебе бывальщину? Иная быль помудренее всякой сказки бывает!

И он провел рукой по бороде, потер лоб, как бы припоминая что-то. Наконец начал так:

— Не в котором царстве, не в котором государстве в Тальянской земле жил да был сильный да славный государь, Ротригом звали. Смолоду был он такой сорвиголова, что не приведи Господи, а как состарился, женился и остепенился. Взял за себя в жены царицу Семерицу и прижил с нею сына, по прозванию Костянтина. А сам пожил царь с царицей долго ли, коротко ли, и царица Семерица царю Ротригу не показалась, и приказал он ту царицу в дальнем монастыре постричь, а сам на другой, молодой царице задумал жениться...

— Ах он греховодник! — воскликнула мама царевны, всплеснув руками.

— Знамое дело — царь в полной силе стоит и все может... Никто ему не указ! — про-

должал с улыбкой бахарь. — Не нам его и судить... Царей Бог судит! Он на вразумление им и знамения посылает небесные. И точно: царь к свадьбе готовится, меды варить велит, кафтаны да чуги нарядные шить, а на небе вдруг звезда диковинная объявилась... Как есть метла огненная!

— А-ах, батюшки! — слышались восклицания из-за кресла царевны.

— И велел царь Ротриг всех мудрецов со своего царства с Тальянской земли, сколько их ни на есть, собрать, всех их вопрошает: «Скажите мне, мудрые мудрецы, ученые знавцы, что та звезда на небе значит?». Стали мудрецы, брады уставили, посохи в землю потыкали, смотрят на ту звезду огненную, не смеют царю ничего сказать. И дал им царь сроку на три дня и говорит: «Не сдумаете вы, не сдаете в те три дня — не видать вам больше света белого, не сносить бородатой головы на широких плечах». И прослышал о том некий старец боголюбивый, который в пустыне Ливийской от юности жил. Был тот старец такой постник великий, что одной краюхой хлеба да ковшом воды по неделе питался и под зем-

лей в малой пещере жил, все Бога за людей молил. Пришел он к царю и говорит ему: «Не дело ты, царь, затеял — от живой жены на другой жене жениться! Ты эту дурь из головы выкинь — негодна твоя женитьба Богу!». Возгорелся на старца царь лютым гневом. «Как ты, — говорит, — смеешь мне этакие речи молвить? Да я, — говорит, — велю тебя диким зверям на растерзание отдать!» А старец ему отвечает: «Не пугай ты меня муками, сам адских мук бойся! Пришел я тебя остеречь от гибели. Ты мудрецов со всей земли Тальянской собрал, чтоб они тебе сказывали, что новая звезда сама по себе значит, и они тебе ничего сказать не посмели, а я тебе скажу! То тебе Божье знамение — метла небесная. И если ты меня не слушаешь, от живой жены на другой женишься, так и знай: сметет тебя та метла небесная и оплатится твой грех на детях и внуках твоих, на всем царстве твоём!..» Задумался царь, стал умом так и этак раскидывать, да нашлись злые думцы, лихие советчики, говорят ему: «Тебе ли, царю могучему, знаменитому, полоумного старца пещерного слушаться? Вели ты его са-

мого помелом из дворца выгнать и твори себе свою волюшку». По сердцу пришлись царю Ротригу советы злые, и говорит он старцу: «Проваливай отсюда, посконная борода, пока жив да цел еще, а твоим речам безумным я не верил и не верю!..» Поклонился старец царю в пояс, говоря: «Спасибо на ласковом слове». И ушел опять в свою пещеру. Едва он ушел — и метлы огненной на небеси как не бывало. И возрадовался царь со своими боярами, пир свадебный богато-прегато обрядил и ввел в дом царицу новую, молодую, Нину Прекрасную...

— А старший-то сын от царицы Семерицы? Тот-то где же? — спросила бахаря царевна.

— Тот-то растет да растет да к царской-то свадьбе и совсем вырос — готовый царю наследник. А царь Ротриг ему и говорит: «Коли Нина Прекрасная мне сына родит — не видеть тебе моего царства, как своих ушей. На того младенца все царство запишу, а тебе по белу свету дорога вольная». И точно, года не прошло — родила царица Нина сына, и прозвал его царь Митродатом.

— Ишь ты, ведь какой мудреный! — произ-

несла мама царевны.

— Как Митродат родился, так старший-то сын, Костянтин-царевич, стал в дорогу собираться по отцову приказу, на чужбину уходить задумал, по белу свету счастья искать. Да вдруг сам-то царь Ротриг разнемогся, с трудом языком владеть стал, день проболел, а к вечеру и Богу душу отдал и наследника себе не назначил. Собрались думцы царские, говорят Костянтину: «Садись на царство, правь землю, а этого младенца с мачехой отошли в дальний удел, за горы высокие, каменные, за реки быстрые, за леса дремучие — пусть там растет, и коли вырастет, пусть только тем уделом и правит, а ты — всем царством».

Бахарь замолк на мгновение, обвел глазами всех своих слушательниц и продолжал тем же ровным спокойным голосом:

— Стал царь Костянтин всем царством править, и стала его зависть мучить... Думает он: «Растет у меня в Митродате лютый враг! Вырастет, пожалуй, скажет, что мало ему того удела, захочет всем царством владеть! Надо мне той беды загодя избыть!» И послал он к младенцу своих верных слуг, приказал его без

милости убить, а царицу Нину Прекрасную в тот самый монастырь постричь, в котором царица Семерица была пострижена.

Бахарь замолк, как бы колеблясь, продолжать ли ему свой рассказ. Но царевна так и впилась в него глазами.

— Ну, ну! — торопила она. — И дальше-то что же? Что с Митродатом случилось?

— Нашелся между царскими слугами жалостливый, забежал вперед да и шепнул царице Нине: «Припрячь свово сына! Прилелей попенка, прими его во дворец за дитя милое!..» И чуть только она свово сына припрятала, а попенка обрядила царевичем, наехали скурлаты немилостивые, вывели попенка на высокий крылец, отсекли ему голову и повезли к царю в его стольный город Милан Островерхий. Царица-то над попенком убивается, слезы точит, голосом воет, а сама думает: «Не над своим ребенком плачу, убиваюся. Мой-то жив, Божьей милостью, и отмстит царю Костянтину, как вырастет!». И никому-то она своей тайны не выдала, с ней и в обитель из миру ушла! А сын ее Митродат-царевич вскрыте рос да рос и вырос...

Но ни царевне, ни остальным слушательницам бахаря не удалось дослушать сказку о чудесно спасенном царевиче: сама жизнь во всей своей ужасающей правде вдруг вторглась в заколдованный мир теремной жизни и порвала нить сказочного вымысла... В сенях послышался сначала шум, потом раздался неясный говор, за ним — женский крик, топот шагов, и вдруг дверь из сеней распахнулась настежь, и боярыня Ксения Ивановна Романова, в одной флязи, без ожерелья, без верхней одежды, вбежала в терем. Голова ее наскоро была повязана белым убрисом, из-под которого пряди волос выбивались на лицо, покрытое смертною бледностью... Ужас, холодный ужас выражался в глазах, в ее побледневших губах, во всех чертах лица. Следом за боярыней в терем вбежали царицены стольники и стряпчие, боярыни и служня и все остановились около дверей у порога.

Боярыня Ксения Ивановна как вбежала, так прямо и бросилась к царевне, упала перед ней на колени и, скрестив руки на груди, воскликнула слабым, прерывающимся голосом:

— Царевна! Спаси!.. Спаси нас от позора...

Спаси от гибели... Спаси мужа, детей — весь род-племя! Погибаем, погибаем безвинно!..

Царевна вскочила со своего места перепуганная, взволнованная... Она смотрела на Ксению Ивановну изумленными очами и ничего не понимала.

— Отлучают от мужа! От детей отрывают... Муж, братья, мать — вся родня в темнице!.. Розыск... Пытать хотят! Спаси... Умоли за нас царя-батюшку, царицу!.. Ах Боже, Боже!

И несчастная боярыня ломала руки в невыразимом отчаянии.

— Боярыня! Что за напасть такая? Что случилось? Расскажи ты мне! — воскликнула царевна, протягивая руки к Ксении Ивановне.

Но несчастная не могла говорить, у нее не хватало ни сил, ни голоса... Вместо нее заговорил царицын стольник. Выступив вперед из пестрой толпы людей, заграждавшей дверь в сени, он сказал, обращаясь к царевне:

— Бояре Романовы перед царским величеством объявились в измене и в злодейских кознях... В кладовых у них сысканы мешки с лютым зельем, за их печатями, и зелье то они хранили, умышляя на государское здоровье.

Всех их велено по тюрьмам рассадить, покамест патриарх с боярами присудят им кару по вине...

Царевна вдруг отступила от Ксении Ивановны, но речь стольника возвратила боярыне и голос, и силы, и она громко воскликнула:

— Царевна! Он лжет! Коренья нам подкинули... Злодеи... Проклятый Семен Годунов подкупил казначея у Александра Никитича, чтобы погубить нас! Романовы ни в чем перед государем неповинны!.. Упроси за них отца и мать!

— Я... Я... Не могу... Не знаю! Суд рассудит... — бессвязно лепетала царевна, колеблясь и не зная, что предпринять, какому чувству отдаться.

Но в эту минуту в сенях раздался голос царицы Марии:

— Где она? Где она? Где злодейка? Кто смел ее в царевнин терем впустить! Олухи! Вот я вас всех!..

И она бурей ворвалась в терем Ксении.

— Взять ее! В тюрьму! Ништо им всем злодеям! Всех к розыску!..

И она грубо оттолкнула Ксению Ивановну

от царевны.

Боярыня быстро поднялась с колен, выпрямилась и смело глянула в глаза царице Марии:

— Пусть я иду в тюрьму... Да зачем же детей-то отрывать от меня? Зачем не с ними, не с мужем в одну тюрьму?.. Зачем нас разлучают?.. Разве мало мы страдаем — и за что? За что?

— Ты еще лицемерить смеешь? Лукавить? Змея подколодная? — закричала царица, трясясь от ярости. — Мало тебе того, что мужа и шурина в лиходействе да в измене уличили! Концов небось схоронить не успели!.. Да вас всех бы нужно в землю живыми закопать! А ты тут смеешь о своем отродье плакать... Вон отсюда, зелье!

Стольники по знаку царицы подскочили к Ксении Ивановне, подхватили ее под руки и хотели увести, но та совершенно неожиданно вывернулась из их рук, сделала шаг вперед и, посмотрев в лицо царицы пристальным, полным достоинства взором, произнесла скороговоркой:

— Ты знаешь, государыня, что мы страда-

ем безвинно! Тебе то ведомо! Ты знаешь, кто нас погубил и кто за это ответит Богу! Но не смей звать моих детей отродьем, не смей! Я не прошу ни за себя, ни за них, не кланяюсь тебе! Без воли Божьей даже и ты не сможешь погубить их... Но знай и помни: ты тоже мать и у тебя есть дети... На них тебе отольются наши слезы, на них тебя накажет Господь, заступник наш!..

— Замолчишь ли ты?! — закричала в бешенстве царица Мария, бросаясь к боярыне со стиснутыми кулаками.

Но царевна, трепещущая и бледная, заградила матери дорогу и вовремя ухватила ее за руки.

— Теперь ведите меня, куда вам приказано, — твердо сказала Ксения Ивановна, обращаясь к стольникам. — Бог нам прибежище и сила — нам, несчастным!

IV

Безвременье

Темные, мрачные, кудластые тучи быстро неслись по ветру над Москвою, обильно поливая ее дождями и ливнями. Ветер дул, почти не переставая, — и ветер холодный, настоящий осенний северяк, хоть на дворе стояло еще лето — начало августа и до Успеньева дня было не близко. На улицах и по подворьям развело ненастье такую грязь, что где не было постлано деревянной мостовой, там лошади вязли по брюхо. В садах и подмосковных рощах все листья на деревьях были желты и съезжены, как после первых заморозков. А на пригородных полях, затопленных обильными дождями, хлеба стояли совсем зеленые, незрелые и уныло клонили голову по воле ветра, еще не тронутые серпом. Ненастье длилось уже третий месяц подряд, не прерываясь ни на один день, и всех сельчан приводило в уныние...

Да и не одни сельчане — и городские жители, и даже богатые московские купцы и те по-

нурили голову. В знакомых нам рядах на Ильинке половина лавок была заперта, а в остальной хоть и сидели торговцы, но больше занимались беседой и шмыганьем из лавки в лавку, нежели торговлей. Покупателей совсем не видать было, зато нищие бродили станицами и беспрестанно осаждали торговцев своими жалобными просьбами и возгласами.

Особенно охотно собирались торговцы около крошечной лавчонки нашего старого знакомого Захара Евлампыча, который по-прежнему торговал бубликами в том же ряду с красным товаром и по-прежнему слыл между рядскими торговцами «всевидцем». Его лавчонка сделалась сборным местом всяких городских вестей и слухов, и сам Захар Евлампыч служил для своих приятелей, торговцев, живой ходячей хроникой городских происшествий и текущей московской, действительно-

сти.

— Ну уж и погоду же Господь посылает! — говорил он в один из описанных нами ненастных дней своим обычным собеседникам. — Дождь да дождь! На дворе страдная по-

ра, а мужику и в поле не выехать, и рук к работе не приложить!

— За грехи наши Потопа на нас не послал бы Бог! — забасил в ответ на это Нил Прокофьич, который еще больше успел разжиреть за последние годы.

— Нет, этот дождь не потопный, — сказал Захар Евлампыч.

— А ты почему знаешь? Нешто ты при Потопе был?

— По Писанию знаю, Нил Прокофьич, по Писанию! В ту пору все хляби небесные разверзлись, всего шесть недель дождь-то шел, да вон воды-то выше той горы Арарата налил, которая в третье небо упирается. А тут три месяца дождь льет и только что низины залил.

— Низины залил, — вздохнул один из соседних торговцев, — а хлеба все вымочил! Как есть все вымочил — и на семена не собрать!

— Да! Если Господь хоть на малый срок не смилуется, пропал нынешний урожай! Зубы на полку мужики класть должны!

— За что смиловаться-то? Вот что скажи,

Нил Прокофьич! — горячо вступился Захар Евлампыч. — Впали мы в объедение, и в пьянство великое, и в лихвы, и в неправды, и во всякие злые дела... А Бог нас миловать станет!.. Того ли мы еще дождемся!

— Н-да! Времена лихие! Брат на брата идет... Жена на мужа доносит, холоп на господина... А за доносы да изветы доносчиков жалуют...

— Да еще как жалуют-то! — заговорил старый бубличник. — Смотри-ка, скольких разорили теперь: Романовых, да Сицких, да Черкасских, да Репниных — и все богатства от них в казну... А глянь-ка, каков ломоть из романовских-то животов себе Семен Годунов выкроил, недель пять только рухлядь с ихнего подворья на свое возил... Как тут не доносить?!

— Подайте милостыньку, Христа ради! — раздался вдруг чей-то голос за самой спиной Захара Евлампыча.

Старик вздрогнул и обернулся.

— А будь тебе пусто! Как подкрался!.. Бог подаст! Проходи, проходи, что ли! — сказал он, обращаясь к нищему, высокому, кривогла-

зому парню в мокрых и грязных лохмотьях.

— Поддай святую Христову милостыню! — продолжал приставать нищий, нахально поглядывая на старика-торговца.

— Не дам я тебе ничего. Ты теперь повадился уж и по три раза на день ходить! Отваливай!..

— Дай хоть ты, богатей! — еще нахальнее обратился попрошайка к купчине.

— Чай, слышал нашу отповедь? — с досадой сказал Нил Прокофьич.

— Ну ладно, голубчики! Ужо меня вспомнете и станете давать, да не возьму! — огрызнулся нищий, отходя от лавки Захара Евлампыча.

— Да вот поди ж ты! — заворчал старый торговец. — Не дал ему, так он еще грозитя. А тоже Христовым именем просит!..

— Такие-то, зауряд, днем христарадничают, а ночью с кистенем под мостами лежат! — заметил сосед-суконщик, худощавый старик с длинной седой бородой.

Как раз в это время к тем же лавкам подошли еще человек восемь нищих, впереди них шел старик весьма почтенной наружности.

Они были одеты в плохую, но в целую и чистую одежду. В их числе двое были молодые, рослые и красивые ребята. Подойдя к лавкам, они остановились молча, сняли шапки и стали кланяться купцам. Дождь поливал обильно и кудрявые головы молодых ребят, и седую голову старика. Все купцы, как только завидели их, переполошились.

— Вот этим, — заговорил Захар Евлампич, — не грех подать. Это романовские бывшие холопы — сироты теперь бесприютные.

И он первый полез в свою тощую мошну за подаванием. Его примеру последовали и другие. Старик принимал милостыню в шапку и отвешивал подававшим низкие поклоны.

— Спасибо вам, купцы почтенные! Дай вам Бог за вашу милостыню и еще того более за ласковое слово! Пришлось всем нам христарадничать... Видно, от сумы да от тюрьмы никуда не уйдешь!

— Никак, тебя Сидорычем зовут? — спросил старика Захар Евлампич.

— Сидорычем величали, как на романовском подворье в больших холопах жил... А теперь все мы овцы без имени, попрошай, ле-

женки!..

— Не гневи Бога, старик! — вступился су-конщик. — Все вас здесь знают, всем ваше несчастье ведомо, никто вам слова в укор не скажет...

— Вот и спасибо! А все больно, больно, купец почтенный, чужою-то милостью жить... Как силы-то еще есть, руки да ноги еще ведь служат... Не отнялись у нас...

— Знаем, знаем! — заговорили несколько голосов разом и с видимым участием. — Знаем, что вас никуда в холопы принимать не велено, а то бы романовским везде нашлось место...

— У добрых-то молодцов крылья связаны и пути им все заказаны! — с грустью произнес Захар Евлампыч, покачивая головой.

Как раз в это время к кучке торговцев, собравшихся под навесами лавок около романовских холопов, подошел пристав с пятью стрельцами и с кривоглазым нищим. За стрельцами и приставом тащились с десятков зевак. Появление пристава с этой кучкой людей тотчас привлекло внимание всех рядских, со всех сторон стали сбегаться приказ-

чики, мальчишки и всякий праздный люд и сброд. В несколько минут собралась порядочная толпа.

— Вон, вона! Этот самый! Толстый-то купчина! Он и говорил! — кричал кривоглазый, размахивая руками и указывая издали пальцем на Нила Прокофьяча.

Пристав, стрельцы и нищий подошли в это время к самой лавке Нила Прокофьяча, и кривоглазый продолжал кричать во все горло:

— Этот-то самый о Годуновых говорил, будто они государевых злодеев и изменщиков, опальных бояр Романовых, и Репниных, и Черкасских, напрасно сослали, и боярина Семена Годунова поносил всякою позорною лаею! Я хоть сейчас под присягу... Под колокол пойду...

Нил Прокофьяч переполошился, поднялся со своего места и обратился ко всем с растерянным видом:

— Православные! Вы, чай, все видели, как я этому попрошайке милостыни не дал и отсель его прогнал?.. Чай, слышали, как он грозился? И вот теперь какую околесицу плетет!..

— Да вот тебе и новая улика налицо! — еще громче и наглее кричал кривоглазый, обращаясь к приставу. — Они мне не дали и милостыни, а вот небось романовским холопам полную шапку накидали! Вот они каковы! Злодеям первые потатчики!

Пристав сурово посмотрел на Нила Прокофьяча и, обращаясь к стрельцам, с подобающей важностью сказал:

— Возьмите купца, сведите в дьячую избу. И кривоглазого туда же. Пусть их там допросят.

— Я докажу! Я, брат, так распишу тебя там перед дьяком-то! — хорохорился кривоглазый, подступая к купчине и перед самым носом его потряхивая своими лохмотьями.

— Да ты пойми же, господин пристав, — убеждал перетрусивший Нил Прокофьяч, — вот ей-же-ей я ничего не говорил! Лжет этот проходимец! На всех сошлюсь!

— Там разберут! — важно заметил пристав. — Не мне же вас разбирать!

— Вестимо! Где вам разбирать! Ваше дело обирать! — крикнули несколько голосов из толпы.

— Ну, ну, вы там! Коли запримечу, кто кричит, несдобровать тому! — возвысил голос пристав, грозно посматривая на толпу.

Стрельцы приступили к Нилу Прокофьичу и взяли его за руки.

— Да постойте же, братцы! Господин пристав! Ведь так нельзя же!.. Я торговый человек... Как мне лавку с товаром бросить!.. Да и не говорил я! Он с меня сорвать хочет!.. По-времени, по крайности! Дай вот запрю, в сумеречки...

— Стану я ждать тебя! Не с лавкой же мне тебя в дьячую избу тащить... Веди, веди его! — крикнул пристав стрельцам.

Те рванули купца с места, но тот упирался, кричал, обращаясь к соседям... Толпа кругом шумела бессвязно, то принимая сторону купца, то посмеиваясь над его переполохом, то перебраниваясь со стрельцами.

— Братцы! Что же это за времена пришли! — громко сказал, выступив вперед, старый суконщик. — Почтенного купца, степенного, что сорок лет на одном месте сиднем сидит, берут за приставы, тащат в приказную избу по первому извету бродяги, дармоеда

подзаборного!.. Уж не сам ли пристав и подослал его, чтоб с нас посулы содрать да с дьяком поделиться?

Толпа загудела: «Верно! Верно!.. Это не обычай! Нам, купцам, обида!»

— А ты-то сам чего горланишь! Чего народ мутишь? — крикнул пристав на суконщика. — Ты откуда выкатился? Думаешь, я и до тебя не доберусь!

— Пойди другие руки на базаре купи — эти больно коротки у тебя! — сказал суконщик. — Из нашей суконной сотни именитые купцы в думе государевой сидят, а вашего брата там и на двор-то не пускают...

— Верно! Верно! — послышались голоса. — Ай-да суконщик!

— погоди! Дай вот этого отвести, и за тобой приду, суконщик именитый! — крикнул злобно пристав, постукивая палкой о помост лавки. — Тащи его! — приказал он, обращаясь к стрельцам, и сделал было шаг вперед...

Но сквозь толпу, к самым лавкам вдруг вывернулся высокий, плечистый и стройный купчик. Смело подступил он к приставу, потрянул кудрями и сказал ему, избочениваясь:

— Слышь! Оставь купца! Этот бродяга мне ведом! На дядином дворе мы дважды в воровстве его ловили, да жаль не пришибли до смерти!

— Прочь! Пустите! Эй! Стрельцам дорогу! — крикнул пристав.

— Нет, ты шалишь! Ребята, своего не выдавать! Чего вы смотрите! — и купчик мощной рукой оттолкнул одного стрельца, дал по шее другому и высвободил Нила Прокофьяча из их рук.

У толпы явился вождь. Она загудела тоже:

— Не выдавать купца! Стой за своих! Долой приставов! Бей изветчика! Бей клеветника — собаку!..

Поднялась свалка. Были шум, гам, крики... Пристав и стрельцы поспешили убраться, кривоглазый с крепко помятыми боками успел-таки юркнуть в толпу и скрыться.

Когда волнение поунялось и толпа стала со смехом расходиться в стороны, Нил Прокофьяч пришел в себя от смущения и обратился к высокому купчику:

— Ну, исполать тебе, добрый молодец! — сказал он, кланяясь ему в пояс. — Кабы не ты,

сцапали бы меня в приказную избу!

— Зачем своих выдавать? — сказал спокойно парень, оправляя пояс на своей однорядке. — Мы тоже купеческого рода...

— А как тебя звать-величать, кормилец?

— Да разве ты не признал молодца-то, Нил Прокофьич? — весело воскликнул Захар Евлампыч, который во время шума и свалки спрятался было под свой прилавок. — Ведь это тот же Федор Калашник. Филатьева купца племянничек...

— Федор Калашник! Силач-то наш имени-тый! Кулачный боец удалой! Вот он! Исполать ему! — раздалось в толпе рядских, собравшихся около Федора.

— Полно вам, братцы! Я своей силой не хвастаю. А где за правое дело, там грудью стану! — отозвался Федор Калашник, кланяясь на все стороны и стараясь уйти поскорее из-под навеса лавок.

И как раз при переходе улицы наткнулся он на романовских холопов с Сидорычем во главе.

— Батюшка Федор Иванович! Откуда тебя Бог принес? — крикнул Сидорыч, бросаясь к

молодому купцу и хватая его за руки.

— Сидорыч?! — с изумлением проговорил Калашник, оглядывая старика и всех его спутников. — Ты что тут делаешь?

— А вот изволишь видеть побираемся Христовым именем... Побил нас Бог!

— Ах Господи! — проговорил Федор Калашник вполголоса, но тотчас спохватился: — Слушай, старина, здесь нам не место с тобой калякать на дожде, посреди дороги. Вали со всей ватагой ко мне на дядин двор, к Филатьеву-купцу... Там вас накормят. И пообсохнете, сердечные... И натолкуюсь я с тобой по сердцу!

И он повел за собою романовскую челядь, и зашагал так быстро по улице, что старый Сидорыч и сопровождавшие его холопы едва за ним поспевали. Но до хором купца Филатьева было рукой подать. Федор Калашник подвел своих спутников к высокому забору, утыканному поверху железными рогатками, и стукнул скобой калитки, окованной железом и усаженной лужеными гвоздями. Калитка отворилась, великан дворник с толстой дубиной в руках отпер калитку не сразу и впус-

кал чужих с оглядкой.

— Терентий, — сказал ему Федор Калашник, — этих ребят сведи в поварню да прикажи там накормить досыта. Да обогреть!.. Слышишь!

— Слышу, батюшка Федор Иванович! — промолвил великан, припирая калитку и замыкая ее пудовым засовом. — Будут сыты и обогреты.

— А ты, Сидорыч, за мной ступай!

И мимо высоких, крепких амбаров, мимо товарных складов под широкими навесами на толстых столбах, мимо служб и людских изб Федор Калашник повел старика к крыльцу хором купца Филатьева, которые лицом выходили на белый двор, а задами упирались в яблоневый сад с обширным огородом.

Верный раб

Федор Калашник ввел Сидорыча в свою светелку в верхнем жилье и, прежде чем тот успел лоб перекрестить на иконы, уже заговорил:

— Рассказывай, старина! Скорей садись и без утайки рассказывай мне обо всех своих господах, обо всех наших... Я ничего не знаю! Как раз перед опалой бояр Романовых я был послан дядей на Поволжье, хлеб закупать... И вот теперь только вернулся. И никого кругом! Ни души из близких!..

Старик печально понурил голову и долго-долго молчал. Две крупные слезы, скупые, горькие, безутешные слезы старости, вытекли из глаз его и капнули на седую бороду.

— И утешно мне о своих боярах, о страдальцах безвинных вспомнить, и горько — во как горько! Стоял сыр-матер коренастый дуб, головой уходил под облака, ширился ветвями во все стороны, да налетел злой вихрь, поупущением Божиим, и сломил с дуба вершину

ветвистую, рассеял по белу свету листочки дубовые... Да чует мое сердце, что не попустит Бог ему погибнуть! Просияет и на него красное солнце... Не век будет мрак вековать, а не то расступись мать сыра-земля, дай моим старым костям в могиле место!

— Да полно, Сидорыч! Расскажи, где они? Куда их услали? Что с ними случилось?..

— Что с ними случилось! — воскликнул старик, оживляясь и от тоскливой думы быстро переходя к горячему негодованию, которое зажгло его очи пламенем. — Что с ними случилось?! Звери дикие, кабы им отдать моих бояр на растерзание... да, дикие голодные звери — и те бы к ним были милостивее... И те бы не томили их муками, не тешились бы их страданием. А тут: лишили чести боярской, в изменники и воры государевы низвергли, всего именья, всех животных лишили — ограбили, как только шарповщики подорожные грабят... И того показалось мало: детей у отца с матерью отняли, мужа с женой разделили, разрознили... Господи! Да навеки разрознили... И боярину Федору Никитичу, царскому думцу и советнику, вместо боярской шапки

да шелома тафью иноческую вздели на голову, вместо кольчуги да зерцала булатного свитой монашеской грудь прикрыли широкую и плечи могутные!

Голос у старика оборвался, он не мог продолжать и только через минуту заговорил гораздо тише:

— И боярина постригли, и боярыню ласковую... И ее молодую грудь под власяницей сокрыли... Его в Антониеву-Сийскую обитель послали — из дальних в дальнюю, ее в Заонежские пустыни... Нет больше боярина Федора Никитича Романова! Есть только инок Божий, старец Филарет, нет и супруги его богданной, есть инока Марфа...

— А где же другие братья? Где Александр Никитич, где Иван, Василий, где наш богатырь беззаветный, простота, прохлада задушевная, Михайло Никитич наш?

— Всех разметало!.. Александра тоже с женой разлучили, сослали в Усолье-Луду, к самому Белому морю. Ивана — в Пелымь Сибирскую, Василья — в Яренск. А Мишеньку, голубчика-то моего, которого я с детства на руках носил, и холил, и лелеял, — того в Перм-

ский край заслали... Неведомо, в какую глушь лесную...

И слезы опять закапали на седую бороду старого слуги.

— Да это еще что! Пытать хотели, всех пытать! Семен-то Годунов да и сама-то Годуниха на том все и стояли... Да царь Борис не допустил... Помиловать изволил безвинных-то! Ох, поплатится он за это перед судом-то Божьим, перед недреманным-то оком, которое все видит!..

— Да за что же пытать-то?

— А все у них, вишь, доспрашивали, да все допытывались о каком-то чернеце... Служил эт-та у нас в дворне какой-то, лет шесть назад, Григорьем звался, да сбежал, в монахи вступил да по обителям по разным пошел... Так все о нем...

— А что же этот чернец Романовым! Не близкий ведь, не кровный?

— Кто их знает... Царь Борис, говорят, все ищет какого-то Григория-инока, который из Чудова сбежал неведомо куда... На все заставы, во все города на рубеже разосланы гонцы и грамоты, чтобы его не пропускать... Вишь,

его-то и у бояр искали! А там как не нашли-то, принялись за нас за грешных... Было тут беды! Пытали накрепко... Били на правееже нещадно батожем... Клещами кое-кого пощупали калеными — да лих что взяли? Ни одного предателя из дворни не объявилось! Все за бояр как бы единый человек... Поверишь ли, заплечные-то мастера бить уставали, а добиться извета не могли! Человек с десяток, а то и поболее не выдержали, Богу душу с пытки отдали... А перед смертью все же душой не покривили...

— И тебя пытали небось? — с участием спросил Федор Калашник.

— Не без того! На дыбу вздернули да спину кнутиком маленько погладили... Не зажила еще... Да нам, рабам-то, что! Мы вынесем... А им-то, им-то, боярам-то нашим несчастным, каково?

— И подумать страшно! Врагу не пожелаешь... Одна надежда на Бога.

И оба собеседника смолкли на мгновенье, удрученные тягостью своих дум и воспоминаний.

— Ну а где же мой сердечный, мой зака-

дычный друг? Тургенев где?

— Его Бог помиловал от злой напасти! Он не был в Москве в ту пору. Боярышню, что ли, эту Шестова-то невесту, отвозил куда-то по боярскому приказу... А как вернулся на Москву, велено ему было в имение ехать и жить там до приказа.

— Слава Богу! — сказал с радостью Федор Калашник и перекрестился, глянув на иконы.

Старик посмотрел на него с некоторым удивлением и продолжал:

— Как злодеи-то наши с боярами расправились, так и до нас добрались... После розыска всех нас собрали в кучу да с подворья взашей! Ступай, мол, окна грызть из-за куса насущного... И строго-настрого всем боярам, всем служилым людям и купцам заказано романовских холопов у себя держать... Живи где хочешь и как знаешь! А народ-то у нас ведь сам, чай, знаешь каков? Все молодец к молодцу подобран был, все с саблей, с копьем да и с конем искусны. Бывало, боярин выведет их в поле, так ни у кого таких-то слуг и не бывало: доспех к доспеху, шелом к шелому... Ну, все тут потолкались и разбрелись: кто на Дон, в

казаки, кто в Северянину, на рубеж... А кто, грешным делом, и на дорогу вышел! Вот только эти, что ты видел, все еще около меня толкуются, да и тем уж невтерпеж.

— Ну что же! Надо вас всех устроить... У дяди в разных городах торговых дел немало... Ему надежные толковые ребята нужны. Всем найдется место... А ты живи у нас здесь, мы тебя пригреем. Будешь у нас как свой, домашний человек... Сыт, одет, обут. Авось так доживешь и до красных дней.

— Спасибо тебе, Федор Иванович, на твоей ласке, на привете да на доброй памяти! Но уж мне не бывать теперь в теплом углу, не знать ни покоя, ни радости, пока мои бояре в беде да в несчастье да в узах томятся! Шестой десяток я на свете доживаю, и смолоду — еще парнишкой был — все у них в доме, все от их милости питался... Много было за сорок лет сладкого куса поедено, много платья нарядного поношено — теперь не о том мне дума...

— Куда же ты, старик, приклонишь голову, коли тебе мой угол не по сердцу?..

— А вот видишь ли, Федор Иванович. Пришлось мне за моих бояр пострадать — и это

мне радость великая! Сохранил меня Бог от смерти лютой... И это мне знамение! Значит, я еще моим боярам нужен. Им и должен я служить, о них должен заботиться... А коли не даст Бог — ни под чью крышу не пойду, под забором спать буду, нищим по миру бродить, голодом морить себя стану... Не стать мне жить лучше моих бояр, они в беде, пусть и я в беде да в нужде. Так-то лучше!

— Да чем же ты можешь теперь боярам служить, Сидорыч? Сам ты подумай!

— Эх, Федор Иванович, добрый ты человек и умный, а такого пустого дела в толк не возьмешь?.. Да будь у меня хоть алтын за душою, разве усидел бы я в Москве? Будь у меня хоть столько в мошне, чтоб я мог хоть впроголодь, пешком дотащиться до них... Да весточку бы от одного к другому перенести... От детей к матери, а от жены-то к мужу-страдальцу! Ох Господи! Да я бы, кажется, жизни своей не пожалел!

Старик затрясся весь и глаза руками закрыл.

— Ты только подумай, Федор Иванович! — продолжал он, поуспокоившись. — Подумай!..

В пустыне мерзлой, в темной келье, одинокий он сидит, слезы горькие роняет, может быть, и судьбину свою горькую клянет, и на Бога ропщет, по своим милым тоскует... А тут вдруг весточка от них из дали неведомой, как касаточка вешняя прилетит! Ведь душу-то его словно красным солнышком обогреет, словно теплым ветерком обвеет, ведь ему жить захочется, ведь Бог ему слезы даст... Ведь он радостью, как алмаз многоценный, просияет!

Федор Калашник вскочил с лавки и зашагал по светелке.

— Кабы я знал, Сидорыч, что тебя на это дело хватит, я бы тебе последнюю полушку отдал, последнюю рубаху с себя снял бы!

— Меня-то не хватит! — самоуверенно и твердо произнес старик. — Да есть ли на свете такая сила богатырская, чтобы супротив Божьей воли выстояла? А на доброе-то дело только по Божьей воле люди идут! Не я пойду — Бог поведет! Не я моими грешными руками совершу — Бог мне даст. А коли-то Ему угодно, Он и силы найдет, и старика помолодит, и младенцу даст крепость львиную!..

— Ну коли так, — решительно сказал Фе-

дор Калашник, — то готовься в путь. Бери себе казны сколько надобно, бери в товарищи из своих ребят, кого сам захочешь. Мы с дядей хоть завтра тебя снарядим в путь. Ступай, служи службу своим боярам, как тебе Бог на душу положит!

— Батюшка! Федор Иванович! — воскликнул Сидорыч, всплеснув руками и вглядываясь в лицо молодого купца. — Да ты не шутишь? Не потешаешься над стариком? Ты взаправду?

— Что ты, старина? Или Федора Калашника не знаешь? Отродясь я не лукавил и слова не ломал. Что вымолвил, то и выдолбил. Говорю тебе: собирайся в путь, бери товарищей надежных, бери запас дорожный, и с Богом!

Тут старик, не помня себя от радости, вскочил со своего места, бросился на шею Федору Калашнику и зарыдал как малый ребенок, — он тоже просиял радостью, как алмаз многоценный!

VI

В боярской думе

Господь не смиловался над Русской землею! За неурожаем 1601 года последовал неурожай 1602, поглотивший последние запасы и разрушивший последние надежды на спасение. На селе явилось то безобразное страшное чудище, что зовется голодухой, и пошло стучать по окнам. «Хлеба! Хлеба! Христа ради!» — вопил народ, толпясь у купеческих житниц, у боярских дворов, у приказных изб, на церковных погостах. «Хлеба, хлеба!.. Детишек накормить, чтобы не примерли!» — голосили бабы по улицам и по дорогам, толпами окружая проезжих и прохожих. «Хлеба, хлеба!» — молили несчастные отцы семейства, валяясь в ногах у тех счастливцев, которые могли еще протянуть кое-как своим запасом до будущей весны... Но все стали глухи к мольбам и стонам, всем было только до себя...

Хлеб вдруг стал сокровищем — сокровищем бесценным! Давно ли еще им полны были базары и торжища, кадь в четыре четвер-

ти продавалась за пять, за шесть алтын. А тут вдруг за четверть ржи стали давать и три, и пять рублей! А затем уже и совсем опустели базары, никто не вез более хлеба на продажу. Не вез бедняк, потому что ему нечего было везти, не вез богач, потому что дрожал над своим достатком, то выжидая, что цены высятся еще более, то опасаясь, что и с деньгами останешься без хлеба.

А между тем голод распространялся шире и шире, охватывал целые области, мутил народ, поднимал бедных против богатых, вызывал ропот против власти, вынуждал каждого бежать без оглядки туда, где можно было надеяться на кусок насущного хлеба.

В конце августа 1602 года царь Борис созвал всех бояр и иных чинов людей на торжественное заседание думы. Он, опытный и умный правитель, начинал теряться, начинал не верить в силу своего разума и власти, он искал случая высказаться, обменяться мыслями с этими всякого чина людьми, которые представляли собой народ перед лицом царя.

Заседание назначено было в Грановитой палате, и все собрались туда после ранней

обедни, которую царь слушал в Благовещенском соборе. Бояре и окольные чинно расселись около стен на лавках, крытых красным сукном, думные бояре и гости стали в два ряда перед лавками. Дьяки разместились за столом около столба, поддерживавшего свод палаты. Утреннее солнце, косыми пыльными лучами проникая в узкие и низкие слюдяные окна, весело играло на золотых кафтанах и на пестрых коврах, устилавших пол, и на стенах, расписанных библейскими притчами и ликами патриархов, пророков, праведников. При первом взгляде на эту толпу людей, наряженных в золотую парчу, в одежды, украшенные камнями и жемчугами, трудно было даже и представить себе, что голод и мор рука об руку ходят по Москве около самых царских палат и что царские приставы тысячами свозят в убогие дома трупы несчастных, поднятые на улицах. Но все были угрюмы, сумрачны или печальны, на всех лицах выражалась та же скорбная дума, которая тяготела у всех на сердце. Все мрачно и сосредоточенно молчали или шепотом перебрасывались отдельными словами и краткими замечаниями.

Вот от входных дверей в палату пронеслось в толпе: «Царь идет! Царь идет!..» Все поднялись со своих мест и вытянулись.

В палату попарно вошли архимандриты и два митрополита, за ними — патриарх Иов, поддерживаемый под руки своим ризничим и патриаршим боярином. За ними шествовали рынды, четыре высоких и румяных красавца в горностаевых высоких шапках, в белых атласных кафтанах с надетыми крест-накрест тяжелыми золотыми цепями, с серебряными топорками на плече. Позади них чинно выступали трое бояр, неся на блюде Животворящий Крест, скипетр и державу. Борис в малом наряде и сын его Федор в опашне, по плечам и подолу усаженном жемчугами, выступали вслед за боярами. За ними следовали стряпчие «со стряпней», то есть убрусом на блюде, со складным стулом для царевича, с подножием для царя.

Царь вступил на ступени возвышения, на котором стоял трон под парчовым золототканым шатром. Царевич сел рядом с царем на стуле, бояре с царской утварью стали направо от трона; патриарх налево от трона опустил-

ся в широкое кресло, обитое темным рытым бархатом. Митрополиты, архимандриты позади него заняли особую лавку у стены. Рынды, по два в ряд, стали перед троном у ступеней возвышения и замерли в величавой позе, избочась и положив топорки на плечи, не поводя бровью, не шевеля ни единым мускулом лица.

— Князья и бояре! — начал государь, и начал так тихо, что многие о начале его речи догадались только по движению его бледных уст. — Бог покарал меня за великие мои преступления и, карая меня, не пощадил ни земли моей, ни народа... Голод и мор страшно свирепствуют всюду и более всего здесь, в Москве, в столице нашей. Видит Бог, что я... Я не жалел казны своей... Вот уж целый месяц, как в Белом городе с особых переходов поставленные мною стольники всем сирым, всем бесприютным, всем голодным раздают в день по московской деньге! Двадцать и тридцать тысяч рублей в единый день расходую на эту милостыню... Но беда все так же тяготеет над нами — не уменьшаются ни голод, ни мор, не заживают язвы моего царственно-

го сердца... И опричь этой денежной раздачи открыл я житницы свои и всем просящим, всем приходящим велел давать из житниц зерном, мукою, а с кормового двора печеным хлебом. А между тем беда растет... И помощь моя не в помощь!.. И с горем искренним я вижу, что едва хватает холста в моей казне на саваны покойникам, которых приставы мои собирают по улицам, чтобы свозить в убогие дома... Помыслите, бояре и князья, раскиньте умом-разумом и дайте мне совет, чем пособить нам горю и беде великой, несказанной?

Царь замолк и обвел всех вопрошающим взглядом.

Все молча переглядывались и, видимо, выжидали, чтобы кто-нибудь посмелее принял на себя тяжелую повинность, ответил бы за всех на речь царя Бориса. Из дальних углов комнаты долетали тяжелые вздохи и отрывистые возгласы: «Божья воля!..», «Никто, как Бог!..», «На Того возложим печали...»

— Великий государь! — певучим и тихим голосом начал патриарх. — Господь карает не тебя, а всех нас. Ты совершил все, что во власти твоей было, чтобы бедствие пресечь и

отклонить, чтобы уврачевать страдания несчастных... Около тебя «аки море ядения и озеро пития» по вся дни разливается!.. И если Господь, видя твою добродетель, не унимает бедствия, значит, так решено Его премудрою волей... Что смеем мы противу Его воли? Мы только можем слезно молить Его: да не продлит страдания наши, да утолит свой праведный гнев и не даст до конца погибнуть нам, верующим в Него.

Едва смолк патриарх, как на одной из лавок поднялся горячий князь Василий Голицын. Сумрачно сведя брови, неласковым взглядом обвел он кругом себя и сказал:

— Великий государь! Хорошо тому молиться и плакать, у кого не отнял Господь последней крохи хлеба! А каково теперь тем, которые траву да мох едят да подчас и падалью питаются?.. Чай, это ведомо не мне лишь одному, а всем?.. Воры вломились дней шесть тому назад в подвалы церкви нашей приходской, не тронули ни жемчуга, ни серебра, ни камней многоценных, не взяли и денег из кружки церковной, а сторожа зарезали, чтобы отнять тот каравай ржаного хлеба, кото-

рый он хотел от них укрыть... Так вот таких-то надо накормить, а там уж...

— Постой, князь Василий! — перебил Голицына царь Борис. — Кто ж может накормить их, когда и мне это не под силу?

— Да где же тебе, великий государь, всех голодных накормить! Как ни велики твои богатства, тебе и на год их не хватит... Церковь Божья побогаче тебя, а вся земля богаче и тебя, и Церкви. Так вот кто должен кормить голодных!.. А если станем все возлагать на Бога, а запасы хлебные приберечь да прятать, где ж дам беды избыть!

Патриарх тревожно задвигался на своем кресле и, бросая беспокойные взгляды в сторону Голицына, опять так же тихо и кротко обратился к Борису.

— Государь, — сказал он, — нам негоже таких речей... таких хулений слушать в думе!..

— Негоже, отец святейший патриарх, — громко и запальчиво воскликнул Голицын, — негоже укрывать запасы хлебные в такую горькую годину! Ты понял, что говорю я о тебе и о твоих поместьях, о селах и имениях монастырских!.. Кому из нас неведомо, что в се-

лах твоих закромы ломаются от хлебного зерна, а скирды в полях лет по пяти стоят не тронуты, травую, кустами порастают — и ты из них еще снопа не вынул на утоление голода, на помощь гибнущим! Да ты ли один! По твоему примеру и цругие... Коли все мы так сожмемся — все мы и погибнем!

— Правда! Правда! Верно князь сказал! — раздались громкие возгласы в разных концах палаты.

Патриарх переменялся в лице, побледнел и бросал направо и налево гневные взгляды.

Голицын продолжал:

— И вот, по-моему, тебе, великий государь, до всех запасов наших надобно добратся... Издай указ, чтобы все люди русские, кто бы ни были: церковники, миряне, князья, бояре, торговые, служилые ли люди — все поделились бы своим запасом с неимущими!.. Все, не корыствуясь бедой и не пользуясь невзгодой, везли бы свой товар на торжища и продавали бы по совести, по-божески, не наживая лихвы, не жирея от слез и крови людской!.. А если кто запас укроет и не продаст — быть от тебя тому в опале и в смертной каз-

ни!..

— Верно! Верно, царь-государь! Дай такой указ! Не то всем нам придется погибнуть лютой смертью!.. Все запасы на торг!.. Цену надо сбить!.. Тогда спасемся!.. Всею-то землей народ прокормим!

Борис сделал знак рукой, и все смолкли.

— Князь Василий Голицын, — сказал он твердо и с достоинством, — ты верно сказал, и я с тобой согласен. Если есть у кого запасы хлеба, пусть себе оставит каждый по нужде, а весь избыток везет на торг и продаст по той цене, какую мы, великий государь, назначим... Дьяк, изготовь о том указ, а мы пошлем с указом людей надежных посмотреть на запасы, перемерить и отделить из них на мирское дело. Все ли вы с тем согласны?

— Все согласны! — раздались отовсюду громкие крики.

Когда крики смолкли, между боярами поднялся старый думец, князь Иван Михайлович Воротынский, и сказал:

— Милостивый государь! Дело это великое, мирское, и мы должны просить тебя, чтобы ты дозволил нам самим избрать людей для

той рассылки по запасам, да таких избрать, чтоб уж можно было точно на них положиться, понадеяться... А то ведь ложью да обманом все дело можно пошатнуть...

— Не понимаю, о каком обмане ты говоришь, князь Иван? — резко перебил Борис. — Я избираю людей мне близких — не воров и не обманщиков. Иль никому я не могу довериться?

— Изворовались, измалодушествовались все, великий государь! — уклончиво отвечал Воротынский. — Такие времена, что и от близких жди напасти...

— И много тебя обманывали твои же люди, государь! — вступился князь Иван Федорович Милославский. — Вот хоть бы при раздачах милостыни и при хлебной даче...

— Как смеешь ты мне это говорить! — крикнул грозно царь Борис. — Я над раздачей милостыни поставил близкого моего окольничего Семена Годунова. Или и его ты укоряешь в обмане?

— Я слова своего и для Семена Годунова не возьму назад, — гордо сказал Милославский. — Я видел сам, как из его приказа дья-

ки, переодевшись нищими, по два и по три раза подходили за милостыней, а жильцы и приставы калек, слепых, хромых и всех убогих палками от переходов гоняли в Белом городе...

— Он лжет, ей-Богу лжет, великий государь! — закричал со своего места Семен Годунов, беспокойно оглядываясь по сторонам.

Но его голос был покрыт общими криками:

— Правду сказал князь Милославский! Он не лжет! Семен-то Годунов ведомый корыстолюбец! Он за чужой копейкой не постоит...

— Замолчите! — крикнул царь. — Я знаю! Все вы на Семена Годунова злы за то, что он мне верно служит и крамольников моих не укрывает!

— Сам он и есть первый злодей! — громко сказал кто-то в глубине палаты.

— Защити ты меня, великий государь! — завопил Семен Годунов, с мольбой простирая руки к царю и стараясь придать своему бледному, злому лицу самое постное выражение. — Защити меня от злодеев моих!.. Ты сам изволишь знать, за что они все пышут злобой на меня... И Милославский, и Шуйские, и Во-

ротынский... В запрошлом месяце, как ты дозволил им из Северщины двинуть сюда обозы с хлебом, я прознал, что в тех мешках с зерном хотят ввезти подметные, мятежнические письма из-за рубежа!.. И письма те нашел, и сам тебе принес...

Милославский вскочил с места и, указывая на Семена Годунова, громко произнес:

— Он сам те письма подкинул в мешки, чтобы обозы наши ограбить и продать в казну!.. Не слушай, государь, его! Он первый вор!.. Нам все его дела ведомы!..

И снова со всех сторон посыпались на государева любимца гневные крики, брань и укоры. Царь Борис не знал, что и возразить на дерзкие речи Милославского и его сторонников, когда поднялся с места князь Василий Шуйский, и царь, поспешно обернувшись к нему, спросил:

— И ты, князь, не хочешь ли, как Милославский, чернить дела и службу верную Семена Годунова?

— Нет, государь, — лукаво и вкрадчиво начал князь Шуйский, — я не то хочу сказать. Я хочу напомнить всем князьям, боярам, что

нам теперь не время ссориться. Что надо всем нам соединиться на помощь страждущим, не дать земле погибнуть! Поспешим же, братья, на помощь, все отдадим, чтобы избежать беды великой и следы ее сокрыть от иноземцев, которые должны прибыть к нам вскоре...

Борис, крепко не любивший Шуйского, на этот раз был очень признателен ему за ловкий отвод глаз и, как бы продолжая речь Шуйского, сказал:

— Да! Теперь и точно не время ссориться. И князь Шуйский кстати напомнил нам об иноземцах. Точно они идут к нам. Прошлой весной вступил я с датским королем в переговоры, и когда голод и мор перестанут, мы думаем дозволить Ягану, королевичу датскому, вступить в брачный союз с любезной дочерью нашей, царевной Аксиньей. Слышал, что он уж прибыл в Ругодив и скоро отправится в путь к Москве со всеми своими дворянами, вельможами и толмачами. Дорогих гостей мы все, конечно, должны принять радушно и никому не показать, чем посетил нас Бог в последние два года.

Вас всех прошу о том же. А теперь займи-

тесь выбором людей, которых с нашей царской грамотой пошлем искать и собирать запасы. Сегодня выберите их, и завтра же пусть с Богом едут, куда кому будет путь назначен.

Закончив эту речь, Борис одним общим поклоном поклонился всему собранию, перекрестился на богатую икону, висевшую позади трона под парчовым шатром, и сошел с возвышения. Впереди его двинулись рынды и бояре с царской утварью и царевич Федор, сзади пошли стряпчие.

VII

Девичьи грезы

За стенами терема царевны Ксении не чувствовался во всей своей силе ужас того народного бедствия, которое переживала вся Русская земля в эту пору. До царевны долетали, правда, отрывочные вести о том, что хлеб не уродился два года подряд, что весь север Руси и все Поволжье голодают, что люди с голоду болеют и мрут. Царевна по доброте своей сожалела об этих бедствиях, молилась за страждущих, но, далекая от жизни, не могла

себе составить никакого сколько-нибудь правильного понятия о действительных страданиях народных. Никто во дворце не смел говорить о том, что происходило на улицах Москвы, никто не возмущал душевного покоя царевны теми ужасами, которые приводили в трепет и смятение все население Белокаменной, притом и недостатка во дворце ни в чем не ощущалось... А потому и немудрено, что царевна Ксения продолжала жить своей прежней жизнью, то ревностно предаваясь молитве, то невольно подчиняясь тоске неопределенных желаний, неразлучной спутнице ее возраста. В такие-то минуты к ней подходила ее мама и говорила ей нежно на ухо:

— Не тоскуй, дитяtko, не долго уж тебе ждать-то!.. Вот приедут послы царя-батюшки из-за моря, привезут тебе весточку о твоём королевиче.

Ксения ничего не отвечала боярыне-маме, иногда даже сердилась на нее и прогоняла от себя, но мысль о королевиче, о красавце писаном, о богатыре заморском, который должен был проплыть пучину, чтобы найти свою из-

бранницу, вывести ее из терема и взять замуж, — эта мысль постоянно занимала Ксению, уносила ее к мечтам, и воображение рисовало перед ней картины будущего счастья. Мечты становились ее наслаждением, необходимой потребностью души, и часто, погруженная в них, она забывала о действительности, забывала о тех невыносимых однообразии и скуке, которые ее постоянно окружали.

«И куда этот бахарь подевался? — думала не раз царевна. — Куда он запропал? Он так славно рассказывал, бывало, об этом заморском королевиче и о девицах, что в теремах сидели за решетками, и о лесах заколдованных... Он и сам за морем бывал, он бы теперь не сказку, а быль мне рассказал... Все рассказал бы: как там королевичи живут, как себе невест находят, как царевен из неволи добывают... Как...»

И стыдливый румянец покрывал щеки Ксении, и она старалась всеми силами укоротить крылья своего слишком пылкого воображения.

Во время одного из таких долгих мечтаний в тишине терема над золотошвейной работой

дверь нежданно отворилась, поспешно вбежала кравчая боярыня и доложила:

— Матушка царица изволит жаловать к тебе, царевна, и радостную весточку тебе несет...

Засуетились сенные боярышни и мама, встрепенулась и сама царевна, сердце так сильно забилося, словно наружу выпрыгнуть хотело.

«Радость? Какую же радость... Верно, о королевиче вести?» — подумала царевна, невольно смущаясь и краснея.

Но вот царица вошла к царевне, вошла не одна, а окруженная своими боярынями, которые за ней несли немецкий кипарисовый ларец с серебряными наугольниками и скобами.

Лицо царицы Марии сияло такой радостью, таким полным довольством и счастьем, что все смотрели на нее с изумлением. Те, кому известен был ее злой нрав и крутой обычай, кому пришлось испытать всю жестокость ее грубого, испорченного сердца, даже и поверить бы не могли, что на лице этой страшной женщины может светлым лучом

сиять такая радость.

— Ну, доченька, здравствуй! — сказала царица, лобызаясь с Ксенией. — Каково почивала? Много ли о женихе думала?

— Ах, матушка! Что это ты?.. При боярынях стыдишь меня! — смущенно заговорила Ксения, закрываясь камчатым сборчатым рукавом сорочки.

— Нечего стыдиться, Аксиньюшка! — весело шутила царица Мария, усаживаясь рядом с дочкой на подставленное ей кресло. — Давно пора тебе замуж! Да вот все Бог судьбы-то не давал по тебе! Для такой-то красавицы нелегко подобрать муженька! — с гордостью добавила царица Мария, оглядывая царевну с ног до головы.

— Еще бы! Где же тут? Ей заморского подавай! — вступилась боярыня-мама. — Здешние-то вахлаки ей негожи!

— Вот ей Бог и послал женишка! Да еще какого! — лукаво заговорила мать, поглаживая дочку по плечу. — Не веришь?.. Так я его тебе воочию покажу!

Она сделала знак рукой боярышням, которые остановились у дверей с ларцом в руках.

Те подошли, поставили ларец на стол перед царевной и подняли крышку. Перед изумленной Ксенией предстал прекрасно исполненный красками лик королевича, оправленный в золоченую рамку...

Царевна ахнула, как бы не веря глазам своим. Царица и боярыни переглянулись между собой и улыбнулись.

— Что? Люб ли тебе? Аль не по нраву? — спросила с улыбкою царица.

Тут только царевна заметила обращенные на нее взгляды, поняла значение улыбок, выскочила из-за стола и опрометью бросилась к себе в опочивальню. А все боярыни и мама царевны, разглядывая изображение иноземного королевича, рассыпались в похвалах и в восклицаниях:

— Ах, красавец какой!.. Ах, матушка царевна, вот уж точно как в сказках сказывается!.. И одет-то как мудрено, не по-нашему: платьице — атлас ал, должно быть, с канителью делано, а шляпочка пуховенькая, а круг шляпочки кружевца золотые... Ах, какой красавец! Не нашим чета!

Царица, очень довольная, приказала шка-

тулку снова запереть и оставить на столе у царевны Ксении, а всем боярыням тут же заявила, что зовут жениха царевны Яган, что он королевич датский и что уж едет к Москве, а этот лик прислал в подарок невесте, по обычаю земли своей.

С этой минуты жизнь царевны потекла уже не столь однообразно. Мечты о заморском королевиче обратились в действительность, облеклись в конкретный образ, на который она могла любоваться, сколько ей хотелось... Она могла о нем не только мечтать, но и говорить о нем, спрашивать. К ней каждый вечер на часок заглядывали то сам царь Борис, то царевич Федор и приносили ей свежие, только что накануне полученные известия о том, как тот королевич из-за моря на восьми кораблях прибыл, какую он везет с собою богатую и многочисленную служню, какие с ним вельможи едут... Ксения все это так же жадно слушала, как сказку бахаря.

— Пишет нам дьяк Афанасий Власьев, — рассказывал царевне царь, — что нареченный зять наш приветлив с ними очень и ласков не по мере. Против них встает и шляпку с

головы снимает. Незнаком еще с московским обычаем...

Два-три дня спустя царевич Федор сообщил ей, что королевич уж проехал Новгород Великий, и рассказал ей, как он там время проводил:

— Жених-то твой какой веселый, забавник! Ездил там тешиться рекою Волховом и вверх, и вниз и иными речками и, едучи по речкам, палил из самопалов, бил утят... Да говорят, как ловко, без промаха валяет... А вернувшись в город, за столом до поздней ночи веселился...

Играли его музыканты на музыке, в цимбалы и по литаврам били и в струны дергали.

— За столом-то? Как же так? Ведь это грех, братец? — с изумлением говорила царевичу Ксения.

— По-нашему, оно точно как бы не обычай, — отвечал царевич, — а по-ихнему не грех. Их закон не так строг, как наш...

И вот в представлении царевны Ксении все яснее и яснее начинал проступать образ жениха, этого заморского датского королевича Ягана, красивого, тонкого, стройного юно-

ши, игривого, веселого, не проникнутого чопорной неподвижностью и важностью полновесных и дюжих московских князей и бояр. Она уже начинала привязываться к нему заочно, начинала любить его и часто думала о том, как она станет учиться беседовать с ним на иноземном его языке, а его станет приучать к русской речи. Она даже знала, какое слово заветное, чудное она прежде всего заставит его произнести, и много раз боярыня-мама, оправляя ночью постель под разметавшейся и разгоревшейся царевной, слышала, как Ксения шептала во сне: «Люблю... люблю! Ах как люблю!».

— Жених твой сегодня поутру уж в Старицу прибыть изволил! — сообщала царевне всеведущая боярыня-казначей. — А через неделю в Тушино прибудет да там и останется до встречи.

— Зачем же оставаться? — спрашивала у нее царевна, которая уж начинала терять терпение; ей казалось, что конца не будет этому путешествию...

— А нельзя, царевна, такой обычай! Там ему третья, и последняя встреча будет, а по-

том уже и в Москву поедет... Тысячи две туда послано бояр, детей боярских и стрельцов, и дары туда отправлены ему богатейшие, и кони, и для него, и для всех его вельмож... А его-то конь так в золоте и сияет, так и горит седельшко... Загляденье! Весь серый, в яблоках, а уздечка на нем двойная из цепочек золотых, с камнем самоцветным.

— Когда же он в Москву-то будет? — нетерпеливо допрашивала царевна.

— Возьми на час терпения, царевна! — смеясь, утешала Ксению казначея. — Бог счастье посылает — не ропщи, дитя! Как раз нагрянет твой ясный сокол и отобьет белую лебедушку нашу к серым гусям. Теперь всего с недельку ждать... Ведь как приедет, так и во дворец к нам будет, и ты из тайника его увидишь... Сама увидишь!..

Наконец настал и этот давно ожидаемый, давно желанный день. С утра звонили радостным трезвоном все московские колокола, и громко гудел с Ивана Великого громадный соборный колокол навстречу поезду королеви-ча Ягана, вступающему в Кремль Фроловскими воротами.

Царевна, с самого утра тревожная и взволнованная, спешила окончить свой наряд и торопила сенных боярышень и сенных девушек, которые застегивали богатые жемчужные застёжки на ее парчовом опашне с лазоревыми разводами и травами.

— Да ну скорее, боярышни! Скорее, девушки! — торопила их Ксения, украдкой заглядывая в небольшое круглое зеркало, которое держала перед ней боярышня Варвара.

— Не торопи, царевна, хуже не поспеем! — отозвалась одна из девушек, оправляя складки опашня на подолу.

— Да не вмоготу стоять мне — надоело! — повторила Ксения и стала сама затягивать пряжку пояса, но от поворота плеч и резкого движения две жемчужные пуговицы отскочили сразу.

— Вот как вы пришиваете! — крикнула царевна на боярышень. — Все само врозь лезет!

Тут спешишь, а вы опять ко мне с иглою да с шитьем!

И она с досадой топнула маленькой ножкой.

— Не сердись, царевна! — заметила ей на-

ходчивая казначея. — Чует сердечко милого дружка, наружу просится, так его никакой застежкой не удержишь!..

Но вот, наконец, наряд окончен. На опашень накинута расшитое жемчугом и опушенное черным соболем оплечье, голова окутана поверх девичьей повязки газовой фатой с мелкими золотыми звездочками, и царевна с боярышнями идет в терем царицы Марии и с нею, окруженная ее боярынями и своими боярышнями, спешит по переходам в тот тайник, тот узкий и низкий покойчик, вверху над Грановитой палатой, из которого широкое круглое окно, прикрытое шелковым камчатый занавесом, дает возможность видеть все, что происходит в палате, и все же оставаться недоступным ничьему постороннему взору.

...Грановитая палата была так изукрашена, так убрана к торжественному приему королевича, что любо было посмотреть на величавый блеск и роскошь, которыми стремились поразить заморских дорогих гостей.

На возвышении, где стоял трон, поставлен был стол на золоченых лапах. Три золоченых

кресла — одно повыше и два пониже по бокам — стояли около стола на златотканном ковре.

Около столба, поддерживающего свод палаты, устроен был высокий поставец, и толстые полки его гнулись под тяжелой массой золотой и серебряной посуды. Диковинные кубки в виде виноградных лоз и странных причудливых цветов мешались с братинами в виде носорогов и медведей, слонов, львов и баснословных птиц, пузатые жбаны с гранями из хрусталей и янтаря чередовались с четвертинами и сосудами в виде кораблей и шняк, с блюдами тонкой чеканной работы итальянских художников. Внизу, под поставцом, на красном бархатном ковре стояли серебряные бочки с золотыми обручами, обвешанные золотыми ковшами и обставленные вызолоченными ведрами. Над столом на возвышении спускалось серебряное массивное паникадило в виде короны со вставленными в него боевыми часами.

Но не блеск, не богатство, не роскошь привлекали внимание царевны Ксении. Она пристально устремила взор в глубину пустой об-

ширной палаты, залитой серебром и золотом, и глазами искала в ней свое сокровище, своего королевича, и сердце билось в ее груди так сильно, что царевна могла бы сосчитать его удары.

— Идут! Идут! — послышался шепот позади царевны между боярынями.

И в палату чинно вошли бояре и окольниковые, попарно, в золотых парчовых кафтанах, горевших камнями и жемчугом. Вслед за ними вошли иноземцы, жившие в Москве, в самом нарядном своем немецком платье. Все разместились около столов, покрытых белыми, как снег, камчатыми скатертями с золотой бахромой. За иноземцами московскими вошли приезжие датчане, наряженные в бархатные камзолы ярких цветов, с накинутыми на плечи короткими епанчами, на которых золотом был вышит герб принца. Толмачи Посольского приказа засуетились, указывая им по чину и старшинству места за столом против царского стола.

— А вот и он! Смотри, смотри, какой красавчик! — шепнула Ксении царица Мария...

И царевна увидела, как царь Борис и царе-

вич Федор взошли на возвышение и заняли на нем места, а вслед за ними с некоторой робостью на ступени возвышения взошел высокий, стройный и красивый юноша лет двадцати двух, белолицый, белокурый, с маленькой бородкой и усиками. Черты лица его были тонки и правильны. Мягкие густые волосы золотистыми кудрями вились на голове, а большие голубые глаза светились добротой и лаской, между тем как красивые, сочные губы складывались в приветливую улыбку.

Царевна так и впилась в него глазами, следила за каждым движением его, изучала каждую складку его богатой одежды, которая обрисовывала его стройную, мужественную фигуру, любовалась каждым поворотом его головы, каждой переменной в выражении его молодого лица... Она не могла на него насмотреться и не смущалась того, что на нее смотрят боярыни и боярышни, и говорила себе: «Вот он, наконец, мой милый, мой желанный! Мой королевич! Я не во сне, а наяву его вижу... Надо насмотреться мне на него, ведь до свадьбы не придется видеть больше!».

И в этих мыслях долгий, торжественный

обед со всеми его обрядами и обычаями, с заздравными кубками, с сотней изысканных блюд, которые появлялись на столе царя и переходили на столы иноземцев и бояр, — все это мелькнуло перед глазами царевны, как единый миг. Она очнулась от своего золотого сна только тогда, когда увидела, как царь Борис и царевич Федор, поднявшись со своего места и сняв с себя драгоценные цепи, горевшие рубинами и алмазами, надели их на шею королевича. Палата, давно гудевшая голосами охмелевших гостей, разом огласилась громкими заздравными криками царедворцев и иноземцев. Царица дернула царевну за рукав.

— Пора! Пойдем на нашу половину. Насмотрелась на суженого на своего — теперь уж полно!.. До свадьбы потерпи!..

— До свадьбы? — шепотом и как-то рассеянно переспросила царевна и поднялась со своего места не сама, а повинувшись чужой воле.

Она бы не сошла с этого места! Она так хорошо, так сладко забылась здесь, у окошка тайника... А теперь из этого блеска, из этого

света, из этого оживления опять в терем, опять в четыре стены...

И царевна, грустная, унылая, едва сдерживая накипавшие на сердце слезы, покорно последовала за матерью-царицей на ее половину.

VIII

На севере диком

Гудит, воет, заливается жалобным воплем метелица, заметая дороги, наметая сугробы, крутя снежными вихрями на открытых полянах, гуляя на просторе северной поморской мерзлой пустыни. Прямо с севера дует ледяной «полуночник» и словно ножом режет лица трех путников, закутанных в оленьи малицы и ежившихся под оленьим одеялом на дрянных дровнишках, запряженных косматой каргополкой. Один из них то и дело слезает с дровнишек и бродит по сугробам, длинным шестом нащупывая дорогу.

— Ну что, дядя? Крепок ли ты на пути? Аль сбился с него? — спрашивал старший из спутников, судя по голосу, старик.

— Кажись, крепок... Да ведь вот поди какая завируха поднялась! И стоишь на пути, и сам не знаешь: хошь у ветра спроси совета — не даст ли ответа...

— Такой было первопуточек славный стал, только бы ехать да Бога благодарить. И ведь от самых Холмогор как хорошо до последнего стана ехали, а тут с вашей деревни и пошло.

— Да ведь от нашей-то деревни и всего двенадцать верст до обители. Тут вот сейчас должны бы мы через речку Сию переехать, а там вдоль Святого озера, бережком... А тут Антониев монастырь и есть.

— Дай Бог туда хоть к ночи-то добраться, совсем бы с дороги-то не сбиться! — говорил старик возчику.

— Совсем-то не собьемся... Кони у нас привычные, хоть где жилье отыщут, а проплутать-то точно что можем и до ночи, — успокаивал возчик, опять усаживаясь в дровни и понукая лошадку, ступавшую по колено в снегу.

— На богомолье, что ли, едете, купцы? — спрашивал их во время пути возчик.

— На богомолье, — отвечал старик.

— Чай, по обету, издаlechка?

— По обету, издалечка, — отвечал старик.

— Что ж рано в путь собрались? К Антонию Сийскому богомольцы раньше Артемьева дня мимо нас не едут, а вы, верно, в Холмогорах только Покров захватили?

— Не знали мы, не здешние, из дальних... Вот и платимся... Ох Господи, ветрище какой! Как иглой и сквозь шубу шьет! — жаловался старик, ежась и дрожа от налетевшего порыва резкого ветра, осыпавшего путников целыми тучами снега.

— Рожу-то, главней всего, прикрывай, а то как раз без щек да без носу останешься... Да поталкивай в бок товарища-то — не заснул бы!..

Но молчаливый спутник старика встрепенулся, обивая с груди и плеч толстый слой снега, и проворчал только:

— Пошевеливай ты коня-то, поскорей бы до обители добраться, а то, и не заснув, замерзнешь.

— А ты думаешь, обогреют тебя в обители-то, приятель? — обратился возчик к молчаливому спутнику старика. — Нонче там такие порядки завелись, что богомольцам туда

и дорога скоро западет! С той поры, как поселили там чернеца-то этого (из бояр, что ли, постриженный?) да пристава государева со стрельцами прислали, так и монахам-то житья от них в обители не стало!

— Что же так? — с видимым любопытством спросил возчика старик.

— А то, что у ворот да у собора сторожа да у кельи того чернеца сторожа... Придешь к угоднику Божью на поклон, а тебя у ворот допрашивают, что за человек? Да к угоднику-то тоже со сторожем ведут... И как служба отошла, так тебя из обители взашей...

— Неужто же там и для странных-то, и для богомольцев избы хоть какой нет?

— Было прежде и две избы и трапеза всегда готовая, да под того опального одну избу заняли, а другую под пристава царского, а стрельцов по кельям разместили, ну, старцам-то и не стало житья! Все опального стерегут, чтобы он ни с кем не сносился... А уж где тут сноситься! Кто сюда к нему сунется?

— Да он там как же? Под замком да за решеткой, что ли, сидит? — продолжал расспрашивать старик.

— Какая там решетка! Старцы и городьбу-то монастырскую ноне разобрали да на гумно свезли... А стоит изба того опального крайней к озеру, и пройти к ней можно только мимо других изб... Зачем тут решетки? Здесь и так никуда не сбежишь.

В это время между порывами ветра, в минуту случайного затишья, вдали ясно послышался звон колокола.

Путники встрепнулись... Младший толкнул старшего под бок:

— Слышь, Сидорыч! Звонят! Ей-ей, звонят в колокол!

Возчик обернулся к ним и сказал:

— Это у старцев в Антониевой обители обычай! Как поднимется такая завируха, они и станут в колокол звонить, чтобы не заплутался кто на озере...

— Святой обычай! — прошептал Сидорыч, крестясь окоченевшей рукой.

— Вот вы говорили — до ночи бы добратся! Еще засветло приедем! — сказал с самодовольством возчик, спускаясь к озеру. — Тут вдоль по бережку нам и всего-то версты три осталось...

— Знаем мы ваши поморские версты! — ворчал Сидорыч. — Мерила их баба клюкой да махнула рукой! Погоняй, погоняй, где можно!

Гудит, ревет, завывает дикими голосами метелица, прорываясь с озера между избами в ограде монастырской, свистит в проломы и щели плохой монастырской городьбы, стонет жалобно в печных трубах и под стропилами, валит сугроб на сугроб, словно помелом охлестывая стены, заноса белым снежным саваном двери и окна келий и храма. Тьма и стужа, вихрь и снег облаками налетают словно из какой-то огромной пропасти... Ни зги не видно в двух шагах... Спит обитель под завывание вьюги, даже и сторож монастырский не стучит в свое било, — должно быть, запрятался куда-нибудь в теплый угол, чтобы не замерзнуть.

Только в одном окошечке в крайней избе к озеру чуть-чуть светит огонек, мерцая звездочкой сквозь мрак и метель. Там, в тесной келье, за дощатой переборкой на маленьком столике теплится лампада перед большим потемневшим складнем. Рядом с лампадой на

столике две книги в темных кожаных переплетах с серебряными черненными застежками. Далее около стола узкая лавка, прикрытая оленьей шкурой, изголовье из пестрого киндяка и нагольная овчинная шуба. Высокий и плечистый инок средних лет в скуфье и потасканной рваной ряске, подтянутой кожаным поясом, сидит на лавке, опираясь большими, мощными руками на колени и свесив голову так, что длинная, седеющая борода его падает ниже пояса и густые темно-русые волосы с сильной проседью, выбиваясь из-под скуфьи, закрывают всю верхнюю часть лица. Чернец сидит так неподвижно, смотрит в одну точку так упорно и сосредоточенно, что, глядя со стороны, можно подумать, он спит... Но нет! Сон бежит от его очей... Чернец устремил очи в полумрак смежной комнаты, из которой долетает до его слуха мерное дыхание спящего служки, и перед его отуманенным взором одна за другой проходят яркие, блестящие картины прошлого. Смиренный старец Филарет, забыв о келье, вспоминает о том времени, когда он жил в мире и был боярином Федором Никитичем Романовым.

Перед ним в пестрой, живой картине проносятся боевые тревоги военных походов и удалых схваток с врагом. В завывании и реве метели ему явственно слышатся и топот коней, и звяканье мечей о крепкие шеломы, и крики воинов, и стоны раненых... Нет! Он ослышался... Это звучат, ударяясь край с краем, заздравные ковши и кубки, это раздаются радостные крики пиршества — и он видит себя среди ярко освещенной палаты, среди друзей и родных, среди кровных и братьев. А кругом стола снуют и суетятся все добрые, давно знакомые лица старых слуг и домашних... И он вдруг вскакивает со своего убогого ложа и озирается кругом себя со страхом и тревогой, он не верит себе, оглядывает, осязает свою грубую, потасканную ряску и снова с горькой улыбкой разочарования опускается на свою скамью.

— Минули, прошли земная слава и роскошь!.. Минули! — шепчет Филарет, опуская голову на грудь.

Но он не в силах отогнать от себя воспоминаний и образов минувшего...

Плачет и стонет метель за окном, и среди

ее нестройных звуков и порывов Филарету слышится шум речей и громких споров... Он видит себя в полном блеске своего боярского сана, видит себя первым из первых вельмож в думе царской. Он держит речь, и все ему вторят, все дивятся его разуму, все льстят ему и хвалят его прямо, его бескорыстие... Все славят его опытность в делах государственных, и он невольно шепчет про себя:

— Никого-то у них теперь там в думе не осталось разумного! Один только Богдан Вельский был и к посольским, и ко всяким делам добре досуж... И того Борис сослал и насгубил без вины!

Новый порыв бури налетает на келью, рвет и воет в закоулке около нее, перебирает драницами на крыше, и перед Филаретом с поразительной отчетливостью всплывают страшные сцены опалы, допросов, унижения, разлуки с дорогими и милыми... И в сердце вновь на мгновение закипает чувство ненависти и злобы к Борису и к недругам, к злодеям:

— Они давно искали голов наших! Мы у них бельмом на глазу были... Мы им мешали

нашей прямотою... Ходу не давали их лукавству... Будь они прокл... О Господи, Господи! Прости мне ропот мой, и ненависть, и гнев неправый! Смири во мне дух гордости и любоначалаия... Дух смиренномудрия даруй рабу Твоему! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати... Не осуждати брата моего!

И он опустилсЯ в горячей молитве на колени перед иконой... И долго молился, и совладал с собой настолько, что мрак в душе его опять рассеялся, и помыслы о мире уступили место иному, более возвышенному настроению.

Он поднялся с молитвы и вдруг услышал стон в соседней комнате, где на лежанке спал его служка. Филарет приблизился к спящему юноше, ощупал его лоб, заботливо прикрыл его тулупом и едва успел отойти от лежанки, как юноша стал говорить во сне:

— Тятенька! Матушка! Где вы?.. Сиротой вы меня покинули!..

Филарет затрясся всем телом и отскочил от лежанки, как ужаленный, потом схватился за голову и сам для себя заговорил:

— Так, так же точно теперь и мои малютки

ищут отца с матерью, так же тоскуют и жалу-ются на сиротство свое!.. И где они, где?! Где и жена моя, страдальца горькая, по них сокру-шается? Чай, туда ее, изверги, замчали, что до меня и слух о ней не дойдет!.. И зачем о них я вспомнил! Губят они мою душу, не дают спа-стись мне! Как вспомню о них, так в серд-це-то словно рогатиной ткнет... Господи! Ми-лосердный! Что делать мне с горячим серд-цем моим? Сжался, смилуйся Ты надо мною, прибери их скорее в обитель Свою светлую под кров Свой, где бы им люди злые лиха ни-какого не чинили... Тогда я стал бы промыш-лять одной своей душой... Одну свою душу смирать, истязуя плоть свою!

И с жгучей болью в сердце, в страшных терзаниях нравственных, он хотел снова мо-литься, снова обратиться к Богу — и не смог. Его мысли путались и блуждали, в воображе-нии его носились знакомые образы милых де-тей, оторванных от его сердца, молодой же-ны, насильно вырванной из его объятий... И опять та же буря, страшная буря поднималась в его душе, и он метался по келье из угла в угол, как зверь в клетке, он не находил себе

места, он был близок к отчаянию...

«Но что это? Стучат?.. Кто-то стучится?.. В двери стучится? Нет, это так — почудилось».

И Филарет перекрестился, стараясь отогнать от себя бесовское мечтание.

Но стук в двери повторился... И чей-то голос что-то проговорил невнятно, глухо.

— Кто бы это мог быть? В такую пору, в такую вьюгу... Кто там? — окликнул Филарет, подступая к двери.

И явственно услышал, как кто-то произнес дрожащим голосом:

— Боярин! Отвори, Христа ради!

Филарет вздрогнул от этих слов и от этого голоса, который почему-то показался ему знакомым. Он рванул дверь сильной рукой и тотчас отшатнулся от порога, сам не постигая, что перед ним происходит.

Из сеней, тяжело и медленно переступая через порог, вошел в келью кто-то, закутанный в оленью шубу и до того запорошенный снегом, что его скорее можно было принять за привидение, чем за живого человека.

— Кто ты? Кто ты? С нами крестная сила! — воскликнул Филарет, осеняя себя крест-

НЫМ знамением.

Вошедший рухнул на колени и заговорил дрожащим, старческим голосом:

— Батюшка, боярин! Аль не признал меня, старого слугу?

— Сидорыч!..

— Он самый!

И старик обнимал ноги своего боярина и с жаром целовал его колени, полы одежды...

Филарет поднял его с пола и крепко обнял, и несколько мгновений ни тот, ни другой не могли произнести ни слова от волнения.

— Как ты сюда попал?.. Не видели ль тебя? Ведь если узнают, тебя замучат, затомят в тюрьме...

— Что мне тюрьма! Пускай сажают, коли любо... Мне нужно весточку-то, весточку тебе, боярин, передать... Все живы! И боярыня твоя, и боярчонок, и боярышня... Живехоньки!

Филарет не выдержал, он опустился на лавку, трепеща всем телом, грудь его высоко вздымалась, он хотел говорить, спросить, узнать, но язык ему не повиновался.

— Сам видел всех! — продолжал старик, широко и радостно улыбаясь. — Сам у них и

на Белоозере побывал, и сестриц твоих видел, и детки там твои, и зять — бедненько и тесненько живут, а мирно, хорошо таково. Михайло-то Федорович уж во какой вырос, а Татьяна Михайловна на эстолько повыше. Все тебе поклоны шлют... А от боярыни тебе вот и гостинец я привез... Погоди-ко... Ох, руки-то окоченели... Не владаю перстами, почитай!..

И он полез за пазуху, и долго-долго рылся, и вытащил оттуда наконец какой-то сверток. Подавая его боярину, сказал:

— Как я с Белоозера пришел к ней в Заонежье, в Егорьевский погост Толвуйской волости (ведь во куда сослали!..), да как сказал, мол, что еду к тебе и с весточкой о детках и об ней... Боярыня-то и вынесла мне это и говорит: «Скажи моему соколику ясному, что это я ему, здесь живя, рубашку сшила и, вспоминая о нем, над той рубашкой все слезы выплакала! Пусть и он над ней поплачет, меня вспомянет!»

Как он это сказал, как развернул перед своим боярином эту простую холщовую рубаху, шитую по вороту и рукавам простым крестьянским швом, Филарет выхватил рубаху

из рук Сидорыча, прижал ее к груди, стал целовать и заплакал... И плакал над нею, как ребенок, плакал теми чудными, сладкими, разрешающими слезами радости и счастья, которые так редко посылаются нам Богом.

А Сидорыч стоял перед ним и налюбоваться не мог на него, и ему казалось, что он переживает счастливейшую минуту жизни.

Но в дверь раздался условный стук, извещавший, что пора расстаться.

— Ну, прощай, батюшка боярин! Благодарение Богу, привел с тобой еще свидеться!

И он, отступая на шаг, в землю поклонился Филарету.

Стук повторился спешный, порывистый. Филарет крепко обнял старого слугу и мог только проговорить:

— Всем... Всем! Расскажи, что видел...

И Сидорыч исчез за дверью, как виденье...

А Филарет все еще не мог выпустить из рук привезенного гостинца, все любовался им, все целовал его, все прижимал к сердцу, все плакал... И дух его, окрыленный доброй вестью о милых, с теплой признательностью возвышался к Богу в немой, но чудной молит-

IX

Суд Божий

Ранние октябрьские сумерки уже опускались над Москвой, когда поезд царя, спешно возвращавшегося с богомолья от Троицы, вступал в Кремль Фроловскими воротами и въезжал с Ивановской площади на Дворцовый двор.

— Что он так скоро с богомолья обернул? — толковали среди дворцовой служни, толпившейся у ворот и выжидавшей поезда царицы. — Знать, не к добру?

— Вестимо, не к добру... Вечорась к нему второго гонца послали из Посольского приказа... Королевич, мол, недужен...

— Вот что!

— Да, чай, не это только?.. Что ж королевич! Человек он молодой, велико ль дело! Объелся либо простудился в отъезде поле, ну, поваляется и отлежится! Чего другого нет ли?

— А что же? Что же бы такое? Разве слыш-

но что?

— Э-э! Слухов всех не переслушаешь! Такие-то вон страсти бают... Того сулят, что и не приведи Господь!

— Чего мудреного? — вступился в беседу служни старый жилец. — Теперь недавним голодом да мором напуганы, всякой напасти ждут!

— Да и мудреные же, братец, времена! — сказал один из царицыных дьяков. — Ведь вот уже седьмой десяток на свете доживаю, а не слышал такого дива, как нынче деется... Хоть бы на прошлой-то неделе лисицу черную под самым Кремлем на площади, около рядов убили!

— Слыхали, как же! Как же! Да, говорят, еще какую, немчин один давал сейчас за шкуру не девяносто ли рублей!

— А про волков слыхали?.. Говорят, вон по Смоленской-то дороге их такие стаи бродят, что и посмотреть-то страшно... И все промеж себя грызутся да воют, воют жалобно таково!

— Вот, говорят, волк волка-то не съест? А как уж такое-то пошло — не к добру это! К раздору, к смуте какой-нибудь?

— Вон! Вон и царицын поезд! Очищай дорогу! Бегите, дайте знать там на сенях да на Постельном крыльце!

И точно, царицын поезд показался в Фроловских воротах. Сорок человек конных ехали впереди и вели в поводу богато украшенных лошадей. За ними сама царица ехала в громадной и широчайшей расписной колымаге, запряженной десятью сытыми и красивыми белыми конями, которых под уздцы вели царские конюхи. За этой колымагой в коляске, запряженной восьмью конями и завешанной коврами, ехала царевна. Кругом коляски бойко гарцевали на белых конях боярыни и сенные девушки царицы и царевны, все они сидели на конях верхами, по-мужски, на головах у них были белые войлочные шляпы с широкими полями, цветными лентами, подвязанные к подбородку. Белыми фатами были окутаны лица, а длинные темные одежды широкими и мягкими складками покрывали их от плеч и до желтых сафьяновых сапог. Шествие замыкалось царскими стольниками, которые ехали верхами по трое в ряд, а триста человек вооруженных стрельцов со-

проводжали поезд с боков, освещая путь его фонарями, привешенными к копьям. Этот длинный и нескончаемый ряд фонарей придавал поезду что-то странное, таинственное. Люди и лошади мешались во мраке, и свет мерцавших в тумане фонарей отбрасывал по сторонам длинные причудливые тени, которые рядом с поездом двигались по стенам домов и соборов, колеблясь и медленно выступая огромными широкими шагами.

Но вот передовой конный отряд и все стрельцы остановились у ворот Дворцового двора на площади, а колымаги царицы и царевны, стуча и гроыхая по мостовой, въехали в ворота в сопровождении стольников и боярын и скрылись во мраке за углом зданий.

— Уж, видно, что-нибудь недаром! — говорил своим товарищам старый жилец у ворот. — В вечеровую пору в путь царица пустилась и с царевной! И на последнем стану до утра не обождали... Что-нибудь недаром!

И точно, недаром поспешила вернуться с богомолья в Москву вся царская семья. Царь Борис получил у Троицы известие о том, что

его будущий нареченный зять заболел горячей, и доктор Каспар Фидлер писал государю, что не может ручаться за исход болезни. Встревоженный Борис захотел собственными очами убедиться, точно ли его семье угрожает новый и тяжелый удар, и немедленно собрался в обратный путь... За ним последовали и царица Мария с царевной Ксенией, от которой тщательно старались скрыть страшную новость.

Но это неожиданное быстрое возвращение в Москву, вследствие каких-то вестей, полученных у Троицы, уже встревожило Ксению... Она почуяла что-то недоброе в том сдержанном молчании, которым царица отвечала на все ее вопросы, и страшно волновалась во время всего обратного пути в Москву. Этот путь, знакомый ей с детства, памятный по многим радостным воспоминаниям ранней юности, теперь показался тоскливым, невыносимо скучным и бесконечным.

Затем, по приезде в Москву, потекли дни тяжелой неизвестности. Царевна не могла не знать о болезни королевича, хотя все слухи и разговоры о нем как-то вдруг замолкли. Быва-

ло, прежде каждый день ей доносили, что королевич делал в тот день на съезде двора, куда изволил кататься, чем тешился ввечеру. Поутру заглядывала к ней царица Мария с разговорами о женихе или призывала ее к себе на свою половину примерять наряды да обновы, а после обеда или под вечер заходил к ней брат, царевич Федор, и сообщал ей все, что успевал прознать про Данию и датчан от толмачей, которые вели переговоры с вельможами королевича.

И вдруг все точно забыли о царевне, все как будто стали сторониться ее и даже избегать с ней всяких разговоров. В самой служне своей она заметила какую-то мудреную, диковинную перемену, все больше прежнего старались услужить ей, окружали ее заботливостью и холили, все были к ней внимательны и ласковы, как к малому больному ребенку, и все старались, видимо, не проронить ни слова о чем-то таком, что, очевидно, у всех просилось на уста. Даже веселая болтливая боярыня-казначейка как-то нахмурилась и прикусила язычок и на все вопросы царевны: «Что, мол, с нею случилось?» — отвечала только ско-

роговорочкой сквозь зубы:

— Неожиданно, царевна! Старость, как видно, стала приходить... — и спешила удалиться под первым предлогом.

Царевна вспомнила, что точно так же относились к ней все окружающие в ту пору, как и за первым женихом ее «объявились всякие неправды» и брачный союз с ним стал невозможен. И вот в душе ее рядом с опасениями за здоровье королевича возникли новые и более страшные опасения за то, что и теперь ей не придется дожить до столь желанной перемены в жизни, что и теперь ей придется влачить по-прежнему нескончаемо скучные дни в одиночестве и все в тех же четырех стенах терема. Эта мысль так напугала Ксению, что она решила добиться правды во что бы то ни стало... Она послала звать к себе брата-царевича и приказала сказать ему, чтобы он шел к ней в терем взглянуть на новую диковинку, которую поднес ей в дар приезжий иноземец Ганс Клупфер, и царевич Федор, охочий до всяких иноземных диковинок, тотчас явился в терем к сестре-царевне.

Царевна Ксения пошла к нему навстречу с

улыбкой и сказала очень спокойно и ласково:

— Что, братец, давно не жаловал ко мне? Совсем забыл свою сестричку Аксиньюшку, диковинкой заморской заманивать пришлось! А еще недавно захаживал ко мне по часту...

— Да недосуг все было, право...

— Недосуг? — переспросила Ксения, смотря в очи брату пристальным, испытующим взглядом. — Варенька, дай мне из скрыни, что в опочивальне, ту книгу, которой бил челом мне иноземец...

Боярышня Варенька быстро вышла в опочивальню, явилась через минуту с толстой золотообрезной книгой, переплетенной в белый пергамент с золотым тиснением и золочеными застежками, и подала ее царевне с низким поклоном. Царевна приняла эту книгу и сказала боярышне:

— А теперь ступай, скажи, чтоб казначея... Нет! Побудь здесь близко в сенях за дверью...

Боярышня вышла, а Ксения развернула перед братом немецкую Библию с прекрасными гравюрами, изображавшими библейские типы и притчи.

— Ах! Какая книга славная! — говорил, просматривая Библию, царевич Федор. — Какие действия и лики изображены и под каждым подписано... Погоди-ка, я разберу тебе все подписи, Аксиньюшка, ведь я теперь в немецком крепок...

И точно, царевич стал прочитывать немецкие подписи под картинами и переводить их сестре.

Ксения не смотрела в книгу, она положила руку на плечо брату и сказала ему тихо:

— Ты точно крепок стал в немецком... лукавстве! Научился у них лукавить! Впрок пошла тебе посольская наука.

— Что ты, Бог с тобой! Что говоришь, сама не ведаешь! — сказал царевич, отрываясь от книги и тревожно взглядывая на Ксению.

— И теперь лукавишь! — вспыхнула Ксения. — Скрываешь вести о королевиче, о миллом нареченном женихе моем!.. О, если можешь, скажи мне все, что знаешь!

И она обвила шею брата руками, и целовала, и ласкала его, и глядела ему в очи... Царевич не выдержал и, печально понутив голову, прошептал:

— Вести недобрые! Вести нерадостные...

— Пусть нерадостные! Говори, не жалей меня, они все же лучше моих сомнений!

— Не хорош твой суженый... Четырех дочуров послал к нему отец наш — и те сказали вчера, что с огневицей им не справиться, и если нынче ночью не даст Бог лучше...

— О-ох, Господи! — застонала Ксения, закрывая лицо руками. — Видно, нет нам счастья!.. Отвратил Господь от нас лицо Свое... И наказует за тяжкие грехи...

И слезы обильным ручьем полились из ее прекрасных очей.

— Что я наделал! — спохватился царевич, поднимаясь спешно и стараясь утешить царевну. — Да что ты, Аксиньюшка! Ведь дочура-то это так сказали. А Бог-то даст — и королевич твой опять поправится... Ведь молодой он да крепкий, недут его не сразу сломит!

Но Ксения его не слушала и все плакала, плакала горько, неутешно, сердце подсказывало ей, что королевич не устоит в борьбе с недугом, что не сбудутся ее мечты о счастье и замужестве.

Когда царевич ушел от Ксении, она пошла

к себе в моленную и бросилась там на колени перед образом. Она молилась, молилась долго, но молитва ее не облегчала, не наполняла ее души той благодатью, какую она так часто испытывала прежде. Она молилась устами, а сердце ее было полно мирских забот и дум... Она молила Бога о пощаде и милости, об исцелении страждущего жениха своего и не могла отогнать от души тяжелых, мрачных сомнений.

То ей казалось, что не услышит Бог ее молитвы, то представлялось, что Он не смилуется над иноверцем, то вспоминались ей последние слова боярыни Романовой, и она говорила себе среди молитвы:

— Да! Родители мои расстроили их теплое гнездо... Мужа разлучили с женою, детей осиротили! Грех великий! И не на мне ли Господь оплатит им! О, горе, горе мне, бедной!..

И Бог представал Ксении во всем грозном величии силы и могущества, не Всеблагим и Всепрощающим, а карающим, мстительным, наказующим «в роды род...» Она молилась, но малодушный и маловерный страх не покидал ее, и тревожил мрачными образами грядущ-

щих бедствий, и проливал уныние ей в душу, отнимая надежду на неисчерпаемое милосердие Божие...

Ксения слышала, как к ней в моленную два или три раза стучались, окликали ее по имени и снова отходили от дверей, не получив ответа. Она очнулась от тяжких дум когда уж наступили сумерки... Поднявшись с колен, она хотела выйти в комнату, как вдруг раздался на соборной колокольне удар колокола.

— Что это за звон? — тревожно встрепенулась Ксения.

Новый удар колокола прогудел над Кремлем, печальный, унылый, протяжный... Ксения не вытерпела и бросилась к себе в комнату.

— Что это за звон?! Зачем звонят? — спросила она, быстро подступая к боярыне-матери, которая стояла в углу у печи и о чем-то перешептывалась с боярыней-казначеей и боярыней-кравчей.

Мама ничего не отвечала и только беспомощно переглянулась со своими товарками.

— Зачем звонят? — крикнула Ксения, по-

рывисто хватая маму за рукав. — Или ты оглохла? Бегите все, узнайте!

Но в это время дверь из сеней отворилась, и на пороге показался царь Борис в смирном платье. Позади него в сенях виднелись в полумраке фигуры бояр из годуновской родни и царевич Федор.

Ксения взглянула в лицо отцу, взглянула на его смирное платье и отшатнулась от Бориса, который торжественно и медленно вступил в ее покой, опираясь на черный посох.

— Аксиньюшка! — произнес он тихо и печально. — Лишились мы с тобою радости... Погибла сердечная моя утеха! Королевич, жених твой, приказал долго жить...

— Суд Божий, праведный суд Божий! — воскликнула Ксения и без чувств упала на руки своих боярынь.

Х

Недобрые вести

Неожиданная кончина королевича Ягана, разбившая мечты Ксении о замужестве, была жестоким ударом для чадолюбивого Бориса. Придворные давно уже не видели его таким унылым, печальным и мрачным, как в тот день, когда он ездил «воздать последнее целование» бранным останкам несчастного юноши, которому судьба сулила в Москве такую завидную долю и присудила могилу. Всем показалось, что Борис постарел и похудел за последние дни, когда он, возвратясь с подворья королевича, поднимался по дворцовому крыльцу, поддерживаемый под руки боярами. Придя на свою половину, Борис скинул выходное платье, ушел в свою опочивальню и заперся там на ключ. Никто не смел его тревожить... Весь дворец затих и словно замер...

Под вечер того же дня приехали в Москву два гонца с двух противоположных концов Руси, один приехал с Дона, другой — из-под

Смоленска. Приехали они, должно быть, с вестями важными, потому что дьяк Посольского приказа чуть только заглянул в те грамоты, что привезли гонцы, тотчас же бросился к Семену Годунову, а тот пошел к царю. Всех выслав из комнаты смежной с опочивальней, Семен стал потихоньку стучаться в дверь.

— Кто там? — окликнул царь.

— Я, государь! Гонцы к тебе с вестями тайными приехали...

— С тайными? Входи сюда!

Ключ звякнул в замке, дверь отворилась, и Семен Годунов вошел в опочивальню.

— Великий государь! — сказал он вполголоса. — Грамоты присланы из-под Смоленска и с Дона с вестями недобрыми.

— Ну уж вестимо, когда же беда одна приходит! Пришла, так отворяй ворота пошире! — с горькой усмешкой сказал Борис. — Какие же вести?

— Пишут из Смоленска, что появился в Польше вор, который величает себя князем Дмитрием Угличским...

— Ну, дальше что? — нетерпеливо крикнул Борис, видя, что Семен Годунов запинаят-

ся.

— И пишет тот вор в Смоленск прелестные письма, и объявилось их многое число, и он в тех письмах просит смолян, чтобы они готовы были, и хвалится, что: «Я-де буду к Москве, как станет лист на дереве разметываться...»

— Что же воевода? Переловил ли тех людей, что с письмами из-за рубежа приходят? Пытал ли их?

— Пытал и письма отобрал и все сюда прислал с гонцом. Один только там дьякон остался не пытан, затем что с него некому было скуфью снять... Да пишет еще воевода, что чает шатость великую во всех смолянах и стережется прихода и разорения от литовских людей...

— Вот все-то они, изменники, таковы! — гневно заговорил Борис, сжимая кулаки. — За рубежом явился вор, заведомый обманщик... А воевода уж и перетрудил, уж видит шатость во всех кругом себя! Уж побоялся и скуфью содрать с дьякона!.. В самом-то шатость — в воеводе!.. А с Дона какие вести?

— Казаки на Дону бунтуют. Твой государский караван ограбили, стрельцов побрали в

плен, а потом, как отпустили их, хвалились: «Скажите, мол, на Москве, что мы, казаки, скоро туда придем с законным царем Дмитрием Ивановичем...»

— С законным! — вскричал Борис, вскакивая со своего места. — Так, значит, и туда прошла из Польши весть о воре... Значит, и на Дону измена! Да нет! Меня пустым мечтанием не испугают! Я — избранный государь и царь Московский, а Дмитрий Угличский в сырой земле зарыт... Пусть идут к Москве, я приготовлю встречу и казакам, и литовским воровским людям. Лист не успеет развернуться на деревьях, как я вместо листов обвешаю эти деревья по всем дорогам к Москве телами воров и изменников... Я им напомню царя Ивана Грозного, блаженной памяти! Завтра чем свет зови ко мне сюда князя Василия Шуйского, он должен знать, кого похоронил он на Угличе! Я его заставлю на площади, да всенародно, во всеуслышанье всем рассказать, что случилось с князем Дмитрием Угличским!

Два-три дня спустя на площади около Лобного места стояли большие толпы народа. Вся площадь сплошь была ими занята, так что яб-

локу негде было упасть. На Лобном месте стояли духовенство и стольники царские, а стрельцы, поставленные в два ряда от Лобного места к Фроловским воротам, охраняли путь, по которому должны были следовать из Кремля бояре и сам патриарх Иов. Густая толпа народа стояла молча в ожидании того, что скажут бояре и патриарх, но подальше в народе шли оживленные толки и споры.

— Что они говорить-то станут? — спрашивал один посадский у другого.

— Да что? Войну с Литвой затевают, что ли?..

— Давно не воевали!.. Али кони у них на конюшне застоялись?

— Какая там война! Не о войне говорить будут, а о новом уложении. По крестьянству, бают, тяготы большие...

— Все врут, что ни бают! Объявлять будут о воре, что в Польше появился...

— Что ж это за вор такой? Из каких же он будет?

— А такой-то вор, что величается Дмитрием — царевичем.

— Ах он злодей! Да как же он смеет?

— Чего смеет!.. А ты почему знаешь, что он злодей?

— Как же не злодей!.. Потому обманщик!

— А тебе это кто сказал?.. Может, он точно царевич!

— Эх, вывез! Чай, люди добрые видели, как царевича на Угличе убили и в гроб положили!..

— То-то в гроб! У нас на селе боярин с большого ума чучелу с огорода в гробу хоронил.

— Тс-с... Тише вы там!.. Идут, идут!

Вся масса народа смолкла и заколыхалась, сближаясь к Лобному месту, на которое всходили бояре, а за ними и сам патриарх со своим причтом.

Все разом сняли шапки.

— Слушайте, слушайте! — пронеслось в передних рядах толпы.

— Православные! — так начал патриарх. — Вам и всему миру христианскому ведомо, что князя Дмитрия Ивановича не стало тому теперь четырнадцать лет, и что лежит он на Угличе в соборной церкви, и отпевал его Геласий-митрополит со всем собором. На погребении его была и мать царевича, и дяди, и

князь Василий Иванович Шуйский со товарищи, от великого государя в Углич посланные... И вот теперь слышим, что страдник и вор, беглый чернец Гришка Отрепьев в Польше появился и называется там князем Дмитрием Угличским. Был тот Гришка в чернецах в Чудовом монастыре да и у меня, Иова-патриарха, во дворе для книжного письма был взят, а после того сбежал в Литву, отвергся христианской веры, иноческий образ попрадал, чернецкое платье отринул, уклонился в латинскую ересь, впал в чернокнижие и волшебство и по призыванию бесовскому, и по вероломству короля Жигимонта и литовских людей стал Дмитрием-царевичем ложно называться. И то не явное ли воровство и бесовские мечты? Статочное ли дело, чтобы князю Дмитрию воскреснут из мертвых прежде общего воскресения? И вот все сие уразумев, мы того расстригу Гришку и всех, кто станет на него прельщаться и ему верить, ныне здесь, в царствующем граде Москве, соборно и всенародно прокляли и вперед проклинать велели. Да будут они все прокляты в сем веке и в будущем!

Окончание речи патриарх произнес как можно громче, изо всех сил напрягая свой голос и отчетливо выговаривая каждое слово. Вслед за патриархом высокий и дородный патриарший протодьякон возгласил громовым голосом на всю площадь:

— Гришке Отрепьеву и всем пособником его... анафема!

— Ана-фе-ма! — загудел патриарший хор среди мертвого молчания толпы.

И только смолкли последние звуки страшного церковного проклятия, из толпы бояр вышел князь Василий Иванович Шуйский. Толстая, неуклюжая и небольшая фигура его была по грудь закрыта каменной оградой Лобного места, из-за которой виднелись только плечи и голова в высокой боярской шапке; видимо взволнованный, князь беспрестанно поглаживал и перебирал свою жиденькую бородку, высоко поднимал брови и усиленно моргал красными веками подслеповатых глаз. Поклонившись народу на все четыре стороны и осенив себя крестом, князь начал так:

— Православные! При блаженной памяти

великом государе Федоре Ивановиче постигло царскую семью горе тяжкое: скончался в Угличе брат царский, царевич Дмитрий Иванович. Черной немочью страдал младенец издавна, и когда на него та немочь находила, то он в ней и падал, и о землю в корчах бился... От того ему и смерть приключилась: играл с жилецкими ребятами на дворе в тычку ножом и нашел на него, Божьим попущением, его недуг... Да мама с кормилицей недосмотрели... А матери и дядьев не было... И не уберегли — на нож наткнулся младенец и Богу душу отдал...

Шуйский замялся, усиленно заморгал глазами и добавил набожно:

— Упокой, Господи, его душу!

В толпе также многие стали креститься.

— В ту пору, православные, — продолжал Шуйский после некоторого молчания, — я был послан великим государем в Углич разыскать доподлинно о смерти царевича Дмитрия. Со мной поехали: митрополит Геласий и дьяк Андрей Клешнин. Заклинаюсь Богом Всемогущим и Всеведущим и Троицей Пресвятою в том, что мы царевича Дмитрия

нашли в гробу... В соборе... Отпели честно... В могилу, около столба соборного, гроб опустили... И накрыли плитой с именовсловием... Там он и покоится поныне. И все то я видел сам своими очами и совершил вот этими руками, ей-же-ей! И да накажет Бог меня, да разразит, если я в чем солгал пред вами...

И князь Шуйский опять перекрестился трижды.

— И вы не верьте прелестям и всяким злоумышлениям польских и литовских людей, — продолжал Шуйский. — Они умыслили, преступив крестное целование, Северной земли города к Литве оттягать да хотят притом бесовскими умышлениями в Российском государстве церкви Божии разорить, а на место их коштелы латинские и кирки люторские поставить, веру христианскую пошатнуть, а вас, православные, в латынскую и люторскую ересь привести и погубить. И задумал король Жигимонт беглого инока, заведомого вора, по сатанинскому наущению называть князем Дмитрием. Вот его-то за ту измену, и воровство, и ложное величанье именем блаженной памяти царевича Дмитрия здесь

всенародно и проклял святейший отец наш Иов-патриарх. Блюдитесь же и вы козней вражеских, да не впадете и вы в клятву церковную... А я еще раз свидетельствуюсь Богом и Пречистой Богородицей в том, что истинный царевич Дмитрий, великий князь Угличский, почит в Угличе, в соборном храме, и что я сам, при матери его и при родных, опустил в могилу... И в том целую перед вами Животворящий Крест.

И он снял свою высокую боярскую шапку и приложился ко кресту, который подал ему сам патриарх.

Народ в глубочайшем молчании прослушал всю речь Шуйского, прослушал с напряженным, но безучастным вниманием. Шуйского знали, помнили его суровый и страстный розыск в Угличе и плохо верили его клятвам. Когда патриарх с духовенством и боярами сошли с Лобного места и направились торжественным шествием обратно к Фроловским воротам Кремля, народ стал расходиться с площади в разные стороны, и в отдельных толпах судили на разные лады о том, что слышали с Лобного места.

— Обманщик да вор, так чего ж они переполошились! Лихое дело не всхоже, нечего было и тревогу подымать. А тут церковной анафеме предали... Был бы простой вор, проклинать бы не стали!

— Да и кто их знает! — говорили в другой группе. — Этот клянется, божится, что он царевича Дмитрия в гроб клал, а другой говорит, будто он и убит не был...

— Как же не убит! Весь город видел!

— То-то вот и оно! Весь город видел, а заместо царевича будто другой убит... А царевича-то мать будто укрыла...

— О-ох, грехи! Грехи тяжкие! — покачивая головой, говорил старик. — Идут на нас беды великие! Надвигается гроза грозная!

— А коли он, дедушка, точно царевич Дмитрий, коли он точно законный государь? — допытывался у старика его внук, парнишка лет двенадцати.

— Нишкни ты, постреленок, что выдумал! Упекут ужо тебя и с законным туда, куда ворон костей не заносил!

— Пусть себе Гришку Отрепьева проклинают! — говорили между собой, сворачивая с

площади на Ильинку, двое каких-то посадских. — Царевичу от этого лиха не станется.

Надо писать ему, чтобы присылал сюда скорее своих людей, да грамот побольше о нем разбрасывать в народ. Мудрено им будет против прирожденного-то государя идти. Бог не попустит!

XI

Кто он?

Темно и тихо в царской опочивальне. Чуть теплятся лампы у икон, блистающих в углу в богатых киотах. В соседней комнате из-за полуоткрытой двери слышно мерное дыхание и легкий храп царских спальников. Сам царь Борис лежит на своем широком резном и раззолоченном ложе, на мягких перинах и пуховых изголовьях, но сон не смыкает его очей, не успокаивает его от тревог, не проливает еля на его сердечные раны. Он тревожно ворочается с боку на бок, пытается уснуть и убеждается в том, что заснуть не может, потому что не может отогнать от себя одной и той же неотвязной мысли, которая уже давно,

уж целый год грызет его и мучит и не дает ему покоя.

«Кто он?.. Кто он?.. Откуда вышел?.. Кем научен?.. Кем выставлен супротив меня? — вот что постоянно шевелится в душе царя Бориса, вот что ему мешает жить, мешает думать, вот что подрывает его здоровье, подкашивает его силы. — Кто он? Обманщик, самозванец?.. Чего он ищет? На что надеется? Как дерзает мыслить, что может бороться со мной? Он с горстью сволочи к рубежу идет, а я ему навстречу шлю восемьдесят тысяч войска! Я — царь на Москве, а он — презренный раб, холоп боярский, расстригаинок!..»

И на минуту сознание своей мощи и силы, сознание ничтожества врага успокаивает Бориса, но червь сомнения гложет и гложет его и наводит постепенно на новые черные думы.

«Я — царь, да нет кругом меня ни одного-то верного слуги! Да, я ни на кого положиться не могу... Некому довериться... Я выслал войско к рубежу и трепещу теперь за вывод, как бы они не изменили. А у него, у вора, у обманщика-расстриги, и горсть людей,

да верных, да надежных! Ох, если бы мне выискать да верного слугу, который бы не выдал... А у того все слуги верны, все преданы! Два раза я подсылал к нему убийц, и убийц надежных... Ни разу не удалось им и близко подойти! Вот как его хранят... А я, куда ни оглянусь, везде только и вижу предательство, измену, подкуп, корысть. Ах, если бы я мог, как царь Иван, всех их да под один обух! Да окружить себя опричниной, да отыскать такую собачку верную, как тестюшка-то мой, Малюта!..»

И мрачные думы, как черные вороны, вьются все чаще и чаще, все больше и больше над смутной и темной душой Бориса, и он ни в чем не видит себе ни опоры, ни утешения.

«Ну вот и прокляли его! Всенародно прокляли, а что в том проку? Народ волнуется везде, а завтра перейди он рубеж, да кликни клич, да назовись царем законным... Все мои труды пропали! Да и кого мы прокляли, какого-то Отрепьева? А точно ли он Гришка Отрепьев, кому то ведомо? Что, если точно... Дмитрий спасся от ножа? Что тогда?..»

И Борис мечется по постели, и напрасно

пытается уснуть, забыться хоть на мгновение... И злобно прислушивается он к ровному дыханию и мирному храпу своих спальников в соседней комнате.

...Измученный бессонницей, бледный, изнемогающий под тяжестью все той же неотвязной думы, все тех же опасений за будущее, царь Борис поднялся с постели полубольной, слабый, раздраженный и с трудом влачил на себе тяжкие обязанности своего царственного сана. Он почти не слушал тех докладов, которые по утрам принимал от ближних бояр в комнате, он почти не молился, присутствуя у заутрени и обедни в Благовещенском соборе, он не принял своих приказчиков и дворецких, которые приехали в Москву с отчетом из разных царских сел и подмосковных усадеб. Только с доктором-немцем он долго говорил и совещался у себя в опочивальне. За обедом царь Борис едва коснулся двух-трех блюд из тех тридцати, которые были поданы ему на стол, и беспрестанно требовал от кравчего холодных заморских вин, и пил их много, жадно, стараясь утолить какую-то невыносимую жажду, которая его снедала.

Под конец стола Борис почувствовал дремоту и только хотел направиться в опочивальню, как ему пришли сказать, что окольный Семен Никитич Годунов вернулся в Москву и просит дозволения явиться немедленно. Царь приказал его позвать и заперся с ним в комнате.

— Ну что? Привез ее? — тревожно спросил он Семена.

— Привез.

— И никто не знает, кого ты вез? Никто не проболтался на пути?

— Никто. Я сам в пути ни разу не засыпал, пока ее не засажу в четыре стенки под замок.

— А говорил ли с ней? Допытывался ли на пути?

— Пытался я разговаривать с нею, да ничего не допытался... Молчит. И слова не проронила за всю дорогу.

— Где же она теперь?

— Как я теперь ее привез, так сдал игуменье в Новодевичьем, в башне угловой у них есть келья крепкая... Туда она черниц сажает для смирения. Окна высоко, и дверь с железными засовами...

— Как стемнеет, вели к Постельному крыльцу подать капитану крытую да посади на коня надежных людей десятка три, мы съездим к ней с царицей и с патриархом Иовом... Оповести его... Я сам с царицей допрошу ее!.. И... и дознаюсь правды!..

...Часов пять спустя в ворота Новодевичьего монастыря въезжали сани-розвальни, обитые коврами, и две крытые капитаны, сопровождаемые полсотней вершников.

Из саней вышел патриарх в сопровождении своего ризничего, из капитан — царь Борис и царица Мария. Двое старых монастырских слуг и сама игуменья встретили поздних гостей на крыльце и, освещая путь их фонарями, повели переходами прямо к той келье, в которую утром того же дня была привезена и заключена какая-то таинственная узница. За патриархом шел его ризничий, за царем и царицей, как тень, следовал Семен Годунов. Все остановились у двери с железным засовом и тяжелым висячим замком. Игуменья отперла замок, отодвинула засовы и впустила в келью царя Бориса, царицу Марию и патриарха. Все остальные остались за дверью.

Келья была довольно обширна, и лишь небольшое пространство ее освещалось двумя восковыми свечами в медных шандалах, поставленных на столе. Везде по углам и под каменными сводами гнезился мрак. Около стола стояли простые лавки, а около стены убогая кровать, на которой полулежала какая-то женская фигура в темном иноческом одеянии. Когда застучали засовы и тяжелая дверь заскрипела, поворачиваясь на ржавых петлях, узница быстро поднялась со своего ложа и выпрямилась во весь рост, внимательно вглядываясь в вошедших. Она не сразу признала их и разглядела лица только тогда, когда царь Борис с царицей Марией опустились на лавку по одну сторону стола, а патриарх сел по другую сторону.

Молча и не кланяясь вошедшим, узница долго и упорно смотрела им в лицо, и взор ее из-под низко опущенной скуфьи горел страшной ненавистью.

Сурово и в глубоком молчании смотрели на узницу и три незваных гостя. Тяжелое молчание продолжалось несколько минут, пока патриарх не прервал его словами:

— Ты ли инока Марфа, в мире бывшая царицей Марьей?

— Ныне я инока Марфа, а в мире я была несчастной царицей Марьей, — твердо и с достоинством проговорила узница.

— Ты ли мать царевича Дмитрия? — продолжал допрашивать патриарх.

— Да! У меня был сын Дмитрий. Но зачем ты вспомнил о нем?.. Зачем меня пытаешь? Ведь тебе же ведомо, что я мать Дмитрия и что он мой сын...

— Инока Марфа! Не мудрствуй и не вопрошай... Я стану вопрошать, а ты отвечать должна по послушанию церковному.

Узница не отвечала ничего.

— Инока Марфа! Ответствуй мне как перед Богом, как на Страшном судбище Христове, где ныне твой сын?

— Мой сын!

— Да, твой сын Дмитрий!

Царь Борис и царица Марфа так и впились глазами в инокиню Марфу. Но та опустила голову и ничего не отвечала.

— Да говори же! — нетерпеливо крикнул царь Борис, ударяя посохом в каменный пол.

— Нечего мне говорить о том, что всему миру ведомо, — мрачно отвечала инокиня.

Царь Борис вскочил с места и сказал, трепеща от волнения:

— Именем Божьим заклинаю тебя, скажи мне, где твой сын Дмитрий?

Инокиня бросила в сторону царя взгляд, полный ненависти и презрения, и громко воскликнула:

— Ты ли не знаешь, где он? Ты ли еще дерзаешь заклинать меня Божьим именем?..

— Я знаю только от других, что сын твой... умер и что он похоронен... в соборе в Угличе... Но не знаю, он ли точно?

— Мой сын не умер — это ложь! — вскричала инокиня Марфа. — В этом я свидетельствуюсь Богом и всеми его святыми!

— Как?! Не умер?! — почти одновременно воскликнули и царь, и царица, и патриарх.

— Ты это знаешь, царь Борис! — язвительно сказала инокиня Марфа. — Ведь ты же сам и подослал убийц! Сам выбрал злодеев, сам направил их ножи!.. Пойди же спроси у них, умер ли мой сын или зарезан? Пусть они тебе ответят, а не я!

— Да что ты с ней попусту слова теряешь! — крикнула царица Марья. — В розыск ее, пытать ее вели! Небошь заговорит, как станут жечь калеными щипцами.

Инокиня Марфа затряслась всем телом и растерянно проговорила:

— В розыск!.. После всех мучений... в розыск? Да за что же? Чего вы от меня хотите?

Царь Борис тотчас сообразил, что царица Марья может испортить все дело своей излишней горячностью, и поспешно вступился:

— Инока Марфа! Не хочу я зла тебе и не за тем сюда призвал, чтобы тебя терзать и мучить! Я здесь готов тебя и поселить, и будешь жить в довольстве, и достатке, и в почете. Но я хочу, чтобы ты всенародно на площади, как князь Василий Шуйский с святейшим патриархом, всем объявила, что твой сын умер!

— Нет! Никогда! — воскликнула инокиня Марфа. — Если и выйду я на площадь, я расскажу им о твоих злодействах, о твоих убийствах, о бедствиях моих, о заточении безвинном, о терзаниях и муках души моей... Вот о чем я расскажу!

— Слушай! — перебил ее Борис, сдерживая

свое волнение. — В Польше появился обманщик и вор и смеет величаться именем царевича Дмитрия. Он шлет к нам воровские грамоты, он грозит нам смутой и к рубежу идет с литовскими и польскими людьми. Этот обманщик, этот злодей — ведь он не сын твой?

Инокиня Марфа, видимо не понимая вопроса, сурово вперила взор в лицо Бориса и не знала, что сказать.

— Молчит, змея! — вскрикнула царица Марья в бешенстве. — Говори же, не то я глаза тебе выжгу!

И, схватив со стола свечу, она бросилась к инокине Марфе. Царь Борис и патриарх поспешно ухватили царицу за руки и едва могли уговорить ее и усадить на место.

— Инока Марфа! — заговорил патриарх. — Не гневи ни царя, ни царицу. Скажи им, что этот польский смутник, это бесово исчадие не сын тебе!

— У меня нет сына! — проговорила Марфа, ломая руки. — Нет сына! Вы отняли его, вы вырвали из объятий моих, вы меня осиротили и загубили все мое счастье!.. Проклятие на вас, злодеев! И пусть невинный младенец

МСТИТ ВАМ ИЗ-ЗА МОГИЛЫ, ПУСТЬ ИМЯ ЕГО НЕСЕТ ВАМ СМУТУ, РАЗОРЕНИЕ, РАЗДОР И ГИБЕЛЬ, ГИБЕЛЬ... ГИБЕЛЬ!

И она, судорожно рыдая, упала на постель и закрыла лицо руками.

Царь и царица быстро поднялись с лавок и направились к двери. За ними последовал и патриарх... А проклятия и рыдания несчастной матери неслись им вслед и грозно гудели над ними, оглашая мрачные своды обители.

XII

Победа

В знакомой нам светелке филатьевского дома в красном углу под образами поставлен стол, накрытый белой скатертью и заставленный жбанами с медом, оловянниками с пивом и сулеями с вином. За столом сидят Федор Калашник да Нил Прокофьич с Захаром Евлампычем, которые в последние годы дружили с Федором Ивановичем, а на первом месте гость дорогой — Петр Михайлович Тургенев. Его-то и чествует Федор Иванович, за него-то и поднимает он чару заздравную.

— Выпьем за здоровье нашего гостя дорогого да кстати и за те вести, которые он нам привез.

— Выпьем, выпьем! — поддакивал Федору Ивановичу Нил Прокофьич. — По вестям и гонцу встреча.

— Спасибо вам на вашем привете! — отвечал Петр Михайлович, отхлебывая из своего кубка.

— Шутка ли, — продолжал Калашник, — воеводам царским под Добрыничами Бог послал какое одоление над богомерзким расстригой-самозванцем! Чай, теперь не скоро оправится?

— Да. Литовских и польских людей не одна тысяча побита, — сказал Тургенев. — И казаки воровские тоже от него отхлынули, а все же он не унывает. В Путивле теперь отсиживается, ждет у моря погоды... А Северщина вся в огне!

— Он не силой, а именем страшен! — заметил Нил Прокофьич.

— Царь Борис теперь, чай, светел да радостен! — плутовато улыбаясь, заметил Захар Евлампыч. — Сказывают, завтра повелел по

городу возить и полонянных, и знамена отбитые, и копьё расстригино в народе показывать.

— Как же, как же! Петру Михайловичу да Шейну, Михаилу Борисовичу, поручено с теми знаменами и с полонянными ездить! — сказал Федор Иванович, с гордостью поглядывая на своего друга.

— Да. Вот поди ж ты! Из одного города, но не одни вести, — начал издалека Захар Евлампич. — Царь Борис победу славит да молебны благодарственные поет, а из войска сюда пишут, что кабы теперь самозванцу такая же удача была, как под Новгородом-Северским, несдобровать бы воеводам царским!

— Да! Много в людях московских шатости видно, — подтвердил и Нил Прокофьич. — Подойди и теперь расстрига со своим сбродом к Белокаменной — не многие бы за Бориса стоять стали.

— Да и немудрено! — заговорил Захар Евлампич. — С тех пор как о царевиче Дмитрие к нам стали вести доходить из Польши, житья в Москве не стало! По изветам да по доносам что ни день людей хватают, мучат, уве-

чат на пытках, батошьем насмерть забивают. Царь Борис все измены в народе ищет, а она кругом да около него рыщет! Уж один бы какой ни на есть конец Бог дал! Вот авось на радостях-то от победы царь-то помилостивее станет, даст отдохнуть застенкам!..

Тургенев покачал головой.

— Недоверчив он... Он каждого теперь боится... В каждом врага себе видит. Мы с Шейным как увидели его у Троицы — не сразу и признать могли! Ходит, как тень, глаза ввалились, смотрит исподлобья. И точно, с тех пор как отогнал он от себя Романовых и всю родню их, всех друзей, нет около него ни честных, ни правых, в глаза и все друзья, а за глаза...

— Вот то же и сюда из войска пишут, — перебил Захар Евламыш, — будто шатости и в войске много. Дерутся неохотно, ропщут, говорят, что и рука не поднимается на прирожденного-то государя!

— Да какой же он прирожденный! — воскликнул Калашник. — Прирожденного-то мы в Угличе похоронили... А это обманщик, лукавец, вор!

— Да вот пойдй уверь их! — сказал Тургенев. — Одни твердят: «Царю Борису и патриарху неведомо, что Дмитрий Иванович жив». А другие: «Царь Борис и поневоле должен его со свету гнать и проклинать, а то и самому пришлось бы от царства отступиться...»

— Грехи тяжкие, дела страшные — одно слово! — заговорил Захар Евлампыч. — Не знаешь, на чью сторону перекачнуться? Тут, говорят тебе, идет обманщик, расстрига проклятый, а за собой ведет на Русь исконных врагов наших, которым смута у нас на руку. А тут, сами знаем, сидит на троне мучитель напрасный, убийца ведомый, которому только свое чрево мило, а Русь хоть пропадом пропади... Ни дать ни взять как в сказке: сюда пойдешь сам пропадешь, туда поедешь коня загубишь!

— Одно и утешение, что у царя Бориса есть дети, — заметил Тургенев. — Царь Борис не вечен, а царевич Федор будет добрым царем...

— Царевич?! — воскликнул Захар Евлампыч. — Да где же ему управиться! Где же устоять против такой волны... Помяни мое слово, он и недели не процарствует! Пойди послу-

шай, что говорят в народе?

— Да ты скажи мне, Петр Михайлович, — вступился Федор Калашник, — ты одним хоть словом утешь меня. Ведь войско царское разбило самозванца, ведь он теперь сбежал, ведь он пропасть должен?!

— И рад бы я тебя утешить, друг сердечный, — сказал Тургенев, — да говорю тебе: шатость-то в войске велика! Кабы ударить на врага после победы, да натиском идти, да гнать его, не дать вздохнуть ему, сам самозванец не ушел бы, а нам достался бы в руки! А мы как победили, так и стали отдыхать, и когда подвинулись, вор был уж за сто верст! Сами воеводы ему мирволят! С ним одним только Басманов и мог бы управиться, да, вишь, не родовит! Невместно ему с боярами... А бояре все хитрят, лукавят и ждут, куда подует ветер?..

— Да что он сам-то здесь сидит? — сказал Нил Прокофьич. — Самому бы ему облечься в доспех воинский, сесть на коня да к войску ехать, коли дело его правое! Тогда бы и бояре не кривили душой...

— Так-то и в войске все у нас толкуют, —

подтвердил Тургенев. — Видят, что тот — все на коне да впереди, в самую сечу лезет... В последней битве под ним ведь двух коней убили, а на третьем едва он ускакал. Вот и говорят: «Пускай бы царь Борис свою удасть выказал, пускай бы выехал на суд-то Божий, коли точно это обманщик, а не царский сын!..»

— В том-то и дело, други любезные, — перебил Захар Евлампыч, — что дело-то его совсем не правое! Он и сам это знает, и трусит, и прячется за стену кремлевскую, за спину патриаршую, застенками пугает... А Бог-то и шлет на него беды за бедами, шлет на него силу неведомую!

Федор Калашник взялся обеими руками за свою курчавую голову и с горечью проговорил:

— Русь-матушка! Где же нам правды искать! Всех нас кривда одолела, заполонила! За кого стоять нам, к кому приклониться? Как душу свою от гибели соблюсти? Научите, наставьте, добрые люди!..

Но добрые люди молчали, печально повесив головы над полными, нетронутыми кубками.

.. На другой день, 8 февраля 1605 года, с самого раннего утра громко и торжественно зазвонили все колокола кремлевские, и радостно стали вторить им колокола всех сороков московских церквей.

Народ толпами валил в Кремль, посмотреть, как царь Борис с царевичем Федором пойдут по всем соборам и как станут раздавать нищим щедрую хмилостыню, славя Бога за победу и за одоление «богомерзкого расстриги». Шумные волны народа залили всю Ивановскую площадь, все переулки между зданиями Большой казны и соборами, а тесная стена нищих и калек, собравшихся со всей Москвы, сбилась около мостков, крытых цветными сукнами, по которым государь и бояре должны были шествовать через дворцовый двор к соборам. День был солнечный и теплый, на ясном небе ни облачка. Даже и погода благоприятствовала общему праздничному настроению.

Как только отошла обедня в Благовещенском соборе, с крытой паперти его стали сходить патриаршие дьяки в нарядных стихарях, за ними духовенство с патриархом во главе,

за ними весь придворный мелкий чин сплошь в золотых кафтанах. А вот сходят с крылечка паперти два здоровенных стольника и еле тащат два тяжелых кожаных кошель с мелкой монетой, которую бояре берут из кошель пригоршнями и раздают направо и налево в руки нищей братии. За стольниками мерно выступает царевич Федор — молодой, прекрасный, цветущий здоровьем и силами юноша, а за ними, опираясь на бесценный посох, идет и сам царь Борис, бледный, худой, на десять лет постаревший за последние два года. Сильная проседь серебрится в его густой черной бороде, черные глаза его смотрят тревожно из-под нависших бровей, хотя он и старается придать лицу своему спокойное и радостное выражение. И едва только успел он ступить на цветное сукно мостков, спустившись с паперти собора, как из толпы нищих и калек выдвинулся высокий седой старик и бросился в ноги ему, громко взывая:

— Царь-государь! Красное солнышко! Просияй на нас милостью! Помилуй рабов твоих, прими от меня челобитную!

И старик, лежа ничком на подмостках,

поднимал над головой свиток с челобитной. Борис невольно отступил шаг назад и попятился на бояр, которые несли за ним золотой скипетр.

— Кто ты? За кого ты просишь? — громко произнес Борис, недоверчиво оглядывая старика.

— Не за себя прошу, великий государь! За бояр своих прошу милости, не дай ты им до конца погибнуть!

— Встань! Говори, за каких бояр ты просишь? — сказал царь Борис, стараясь придать своему голосу мягкое и милостивое выражение.

— Не встану, государь, пока ты несчастных не смилуешь! Помилуй на радостях, что Бог тебе одоление на врага послал и разразил его...

— Да говори же, старик, о каких боярах ты просишь? — нетерпеливо крикнул Борис.

— О боярах Романовых, великий государь! — громко произнес старик, поднимая голову и заглядывая в лицо Бориса.

— О Романовых?! — повторил Борис.

— О них самых, государь! Чай, не забыл ты

их, как все твои бояре их забыли!

— О чем же ты просишь в челобитной?

— Царь-государь! Вконец они погибают...

Из пятерых братьев двое только в живых остались... прочих-то твои приставы со свету сжили! Мишенька мой, дитя мое родное, которого я на своих руках вынянчил, и тот Богу душу отдал...

— Что ты лжешь, старик! Я ничего о том не ведаю!

— Как тебе ведать, царь-государь, когда до тебя и весть о том не дойдет? Меня дважды на цепь сажали да и батожем отваживали, чтобы я к тебе с челобитной не шел... А как мне не дойти, когда моих бояр в цепях томят, малые детки их и яйца-то с молоком только по праздникам видят, а жены да сестры холста на рубахи выпросить не могут... Смилуйся ты над ними, государь, для великой твоей нынешней радости. Повели, чтобы бояре нужды ни в чем не терпели, а невинных младенцев прикажи из ссылки в их вотчины воротить. Тебя Бог за это наградит!

И старик еще раз ударил земной поклон государю.

— Поддай сюда твою челобитную, старик! Я по ней прикажу разыскать строго-настрога, и если узнаю, что приставы точно были к опальным жестоки и заставляли их терпеть нужду, они у меня не порадуются. А малолетков романовских я пожалую, велю вернуть в те их вотчины, что на нас были отписаны.

— Дай тебе Боже за твои милости к бедным сиротам! — воскликнул Сидорыч и бросился целовать край полы царской одежды, между тем как царь передавал челобитную царевичу Федору и говорил:

— Смотри, не забудь мне завтра напомнить об опальных.

И затем он двинулся далее по мосткам, величаво опираясь на посох и милостиво кланяясь народу и нищей братии.

И когда шествие прошло мимо, к Сидорычу со всех сторон бросились с расспросами, с соболезнованиями, с добрыми пожеланиями. Но от старика ничего не могли добиться; сильно потрясенный, он все только крестился на соборы и шептал про себя:

— Благодарю моего Господа, что пришлось пострадать за бояр моих... Авось им теперь

полегче будет!.. Авось и на них просияет красное солнце...

И никто не мог разобрать его слов среди шума и говора тысячной толпы, заглушаемого громким и торжественным звоном всех кремлевских колоколов.

XIII

Измена растёт

Несколько дней спустя в передней государевой в обычный утренний час собрались бояре и окольные в ожидании выхода государя в церковь. Ближе всех к дверям комнаты стояли родственники царя: кравчий Иван Михайлович Годунов да брат его, боярин Матвей Михайлович, да конюший боярин Дмитрий Иванович Годунов и дворецкий боярин Степан Васильевич Годунов. Поближе к годуновцам стоял новопожалованный боярин Петр Федорович Басманов, недавно осыпанный милостями и взысканный великим государем за воинские подвиги. С ним рядом бояре: князь Мосальский, князь Хворостинин, князь Ноготков и другие менее родовитые.

Подальше около стен бояре старые и родовитые: Шереметевы, Буйносовы, Татищев, Хилков. И во всех трех группах, враждебно и сумрачно смотревших друг на друга, шли свои разговоры, свои оживленные толки то вполголоса, то шепотом.

— Ишь как величается! — говорил приятелям Хилков, кивая головой на Басманова. — Сейчас видно, что в старшие воеводы прыгнуть нарохтитя!

— И попадет, и старых бояр в товарищи заберет! К тому идет дело, — злобно подсмеивался князь Хворостинин.

— Ну уж нет! Кого другого возьми, а я бы с ним ни в правой, ни в левой руке не пошел! — ворчал старик Шереметев.

— Тут, брат Иван Петрович, нам, старикам, и соваться нечего! В которой руке ни идти — все не рука! — заметил князь Буйносов-Ростовский. — Чай, слышал вести-то из-под Путивля?

— Нет, не слыхал! А что же — недобрые?

— А так-то недобры, что хуже и быть не надо!

— А что, да что? Рассказывай, что знаешь!

И все пододвинулись к Буйносову.

— Вчерась по вечеру гонец пригнал и грамоты привез от Шуйского и от Милославского к царю и сам рассказывал дьякам, что воеводы оплошали, Рыльск осаждали, и под самым их носом туда вошла подмога от самозванца и запасы... А в войске ропот, и что ни день, туда, к нему, перебегают... А про Михайлу Салтыкова и прямо говорит, что тот завел с ним шашни и народ весь от Путивля отвел...

— Что ж? И умно, по-моему! — сказал, обращаясь к Морозову, князь Телятевский. — Приходит время такое, что каждому о своей шкуре подумать не мешает...

— Да кто там у царя так долго? Что он не выходит? — нетерпеливо спрашивал Басманов у Хворостинина.

— Кто, как не Семен же Годунов! С докладами, кого вчера пытал, кого засек кнутом для порядка... Измену, вишь, выводит!

— Да он там не один! — заметил князь Ноготков. — Там и постельничий Истома Безобразов, там и дохтур-немец. Говорят, что царь Борис недужен...

Как будто в подтверждение этих слов

дверь в комнату государеву отворилась, и старик постельничий вышел оттуда с толстым немцем, доктором Клугеном, который шел, важно переваливаясь и на ходу размахивая короткими и жирными руками.

Годуновцы тотчас окружили и доктора, и Безобразова и осыпали их расспросами. Слышно было только, как вполголоса им отвечал постельничий:

— Не спал всю ночь... Всю ночь и мы все на ногах... Измаялись насмерть... И теперь в опочивальне с Семеном.

Доктор был словоохотливее и на вопросы о здравии царя сказал, указывая на голову:

— Здэсь ошень больно...

— Что же, головою страждет?

— Н-нет! Когда голява, надо хрену немножко прилягать — здорова голява. А это нездорова нутри голява, ошень думает многа...

И, раскланиваясь с годуновцами, толстый немец, так же важно переваливаясь и размахивая руками, прошел через переднюю в сени вместе с постельничим.

И еще растворилась дверь в комнату, бояре смолкли и стали в ряд, выжидая выхода

Годунова. Но вышел Семен Годунов и заявил боярам, что царь недужен, что выхода не будет и все могут ехать по домам. Затем, обращаясь к Басманову, он добавил с усмешкой, которая как-то странно искривила его суровое и бледное лицо:

— А тебя, Петр Федорович, великий государь к себе просил пожаловать в опочивальню для беседы.

Басманов гордо поднял голову и, не обращая внимания на взгляды ненависти и зависти, которые были на него устремлены со всех сторон, последовал за Семеном Годуновым в комнату государя.

Борис, давно уже страдавший бессонницей, исхудалый, осунувшийся, прозрачно-желтый, видимо снедаемый каким-то тяжелым внутренним недугом, сидел в мягком кресле около кровати. Перед ним на столе были в беспорядке разбросаны какие-то свитки и грамоты, полученные им поутру из-под Путивля. Царь читал их, сурово насупив брови, и глаза его горели лихорадочным блеском.

Ответив на поклон Басманова, Борис сделал знак Семену Годунову, и тот поспешил

удалиться, оставив Басманова с глазу на глаз с царем.

Борис поднял глаза на Басманова, оглядел с ног до головы всю его здоровую, красивую и крепкую фигуру и проговорил как будто про себя:

— Любуюсь на тебя не даром... Какой красавец! И вид какой бодрый, смелый, открытый! Сразу можно угадать, что ты не выдашь государя, не покривишь душой, как эти все предатели... Шуйские, да Милославские, да Салтыковы...

Потом, устремив свой пламенный взор прямо в глаза Басманову, Борис сказал громко:

— Ведь если я тебя почту своим доверием, если превознесу тебя над всеми и вручу тебе начальство над всем войском, вручу мочь полную, ты станешь биться за меня с расстригой окаянным, с этим исчадием ада, ты меня ему не выдашь? Не выдашь ему семьи моей?

— Великий государь, я раб твой недостойный, но верный, и если ты почтишь меня доверием, я буду биться до последней капли крови...

— Клянись же мне вот... На моем Животворящем Кресте клянись, что ты за меня и за детей моих... будешь биться до последнего, что живота не пощадишь, что без всякой кривды служить мне будешь, как начал... Как в Новгороде-Северском служил!

И Борис снял с шеи золотую цепь с драгоценным крестом, в котором, как в ковчежце, хранились мощи святых угодников, и подал крест Басманову.

— Клянусь, и пусть разразит меня Господь, если я клятве изменю! — твердо произнес Басманов, крестясь и целуя крест.

— Так слушай же! — сказал Борис. — Я тебе верю! Одному тебе, понимаешь? Одному тебе! Сегодня же велю писать на твое имя грамоту и в ней для виду первым воеводой назначу старика Михаила Бахтеярова-Ростовского, а тебя вторым. На самом деле, по моему же тайному приказу, ты будешь первый воевода. Тех обоих, и Шуйского, и Милославского, долой!

Басманов низко поклонился.

— Слушай дальше! Не все еще! — горячо продолжал Борис. — Если ты мне будешь верен и храбро будешь биться с самозванцем и

победишь его... Тогда проси себе в награду чего душа желает! Истомился я изменой и обманом... Мучат меня предатели-бояре, жилы тянут из меня... Вот смотри! — он указал на грамоты. — И тут мне пишут, что они его в Путивле добить могли — и выпустили!.. Дали выскользнуть из рук!.. А ты, я знаю, ты бы не выпустил, ты бы заполонил его... Ты мне бы отдал на потеху окаянного! Ха! Ха! Ха!..

Борис смеялся зло, сухо, нервно, между тем как его свирепый взгляд, как нож, проникал до самого сердца Басманова.

— Великий государь! — проговорил тот в смущении. — Я уж поклялся в верной службе! Если Бог приведет добыть вора и обманщика, рука не дрогнет!..

— Да ты-то, Петр Федорович, веришь ли, что он точно вор и обманщик? Ты веришь ли, что он не царевич Дмитрий Иванович? Не «прирожденный государь», как его там в Северщине величают... Веришь? Веришь ли?

Басманов хотел говорить, но Борис вскочил со своего места, крепко схватил его за руку и, судорожно сжимая ее, стал шептать ему на ухо:

— Нас тут никто не услышит... Так чтобы тебя уверить... Я тебе откроюсь... Я тебе то скажу, что и духовнику не говорил... Царевич Дмитрий уж давно в земле... И не в черной немочи он закололся, а зарезан... Мои же люди... Не я их подсылал, а сами... Сами в угоду мне... Зарезали его!..

И царь отпустил руку Басманова, и стоял, как бы испуганный своим признанием. Потом он добавил вполголоса, как бы в подтверждение своих слов:

— А Битяговский с сыном и Качалов — это были слуги верные, надежные... Они не промахнулись бы... Никто бы не подсунул им на место царевича какого-то попова сына! Ха! Ха! Ха!

И он засмеялся тем же сухим и злобным смехом, от которого у Басманова в душе похолодело.

— Ты видишь, боярин, как я тебе верю! Видишь, как я с тобою говорю! — сказал царь Борис, несколько оправившись от волнения. — Так вот же тебе мое последнее царское слово: ступай и разрази врага! Добудь мне вора-самозванца, и я тогда тебе в награду ничего не

пожалую!.. Дочь свою, царевну Ксению, за тебя отдам и за ней в приданое Казань и Астрахань и все Поволожье... Теперь ступай и помни мой обет. Я от него не отступлюсь, пока я жив!

И он протянул руку Басманову, который поцеловал ее и, страшно взволнованный, вышел в переднюю. Он не знал, что думать о царе Борисе, не знал, радоваться ли своим счастьем и удаче или страшиться своей завидной доли.

XIV

У колдуньи

Поздно вечером в тот же день Семен Годунов явился по приказу Бориса в его опочивальню и доложил, что все готово.

— Когда ж ты был у этой ведьмы? — тревожно спросил Борис.

— Все эти дни ходил к ней... Так и слышать не хотела!.. Говорю ей: «Примешь ли боярина Бориса?» А она мне прямо так и отрежет: «Не приму, не знаю его судьбы!» Ну а сегодня утром говорит: «Приди во втором часу ночи

со своим боярином — сегодня буду ему гадать!»

— Ишь, ведьма проклятая!.. Тоже смеет с боярином считаться... Мало жгут их!..

— Ведьму тоже надо жечь умеючи! — глубокомысленно заметил Семен Годунов. — Так если ты желаешь, там в тайнике, под мыльной, все готово у меня.

— Пойдем, — сказал Борис, быстро поднимаясь с постели.

Вместе с Семеном он подошел к углу направо от образов, приподнял ковер, отпер ключом маленькую потайную дверь и спустился в мыльню. Там на столе горел фонарь и на лавке лежали темное ходильное платье, охабень, теплые сапоги и шапка. Семен помог царю Борису переодеться, сам накинул шубу, взял фонарь и другим потайным ходом вывел Бориса в длинный подземный проход, прорытый между рядом подземелий и тайных дворцовых подвалов.

Медленно и осторожно двигались они, спускаясь тайником к Тайницкой башне. Глухое эхо вторило шагам среди мрака, который охватывал их сплошной стеной со всех сто-

рон и по которому, едва мерцая, скользила узкая и бледная полоска света из фонаря, освещавшего их путь. Тайник закончился решеткой, из-за которой потянуло холодом морозной февральской ночи. Семен отпер решетку, спрятал фонарь под полу шубы и вывел Бориса на переходы через кремлевский ров. Здесь ждали их простые сани в одну лошадь и десяток вооруженных слуг Семена Годунова. Они давно привыкли к ночным причудам своего боярина и даже не обратили внимания на его закутанного и молчаливого спутника.

— К Алене юродливой! — крикнул Семен холопу, который сидел верхом на упряжном коне и правил им.

Сани быстро помчались по берегу Москвы-реки. Конные слуги поскакали около саней.

Проехав Москворецкие ворота и миновав живой мост через Москву-реку, сани завернули за мостом налево в тесный переулочек и остановились около ветхой покривившейся часовни, в которой чуть теплились лампы. В темном и сыром подвале под этой часовней жила не то пророчица, не то колдунья, всей

Москве известная под именем Аленки юродливой. К ней все москвичи ходили на поклон, как милостыни выпрашивая, чтоб Аленушка погадала, и доверялись безусловно всяким ее прорицаниям, придавали значение каждому ее слову.

Семен постучался у низенькой двери.

— Что ж, входи, что ли? — крикнул ему из-за двери чей-то грубый голос.

И Семен за руку ввел царя Бориса в низкое и смрадное подземелье, в котором пол был покрыт грязной рогожей.

Налево от входной двери около низенькой печурки грелась какая-то маленькая и кривая старушонка, закутанная в темное рубище, которое не везде прикрывало ее старое и сморщенное тело. Грязные босые ноги старухи были протянуты прямо к огню, седая косматая голова колдуньи была свешена на грудь. Сидя против огня, она покачивалась из стороны в сторону и что-то невнятно бормотала себе под нос.

Семен Годунов и царь Борис, зная обычай старой колдуньи, присели на лавку около печи, не говоря ни слова. Сердце Бориса сильно

билось, ему тяжело было дышать в смрадном и сыром подвале.

— Семенушка! А Семенушка! — вдруг обратилась колдунья к «правому уху государеву». — Много ли ты крови нонче пролил?

И она впилась в Семена своими большими, черными, как уголь, горящими глазами.

— Аленушка, не я к тебе гадать пришел, — почтительно отвечал Семен Годунов. — Я вон другого боярина привел...

— Ну, привел, так и сиди, боярин, жди очереди! Я тебе гадать хочу... Я тебе твою судьбу скажу: ты теперь кровь пьешь, людей пытаешь, невинных загубляешь, а конца не чаешь...

— Аленушка, — тревожно заговорил Семен, видимо не желая слышать ее приговора, — ты уж не мне, а вон ему гадай!

— Знать, боишься? Чаешь, далеко твоя смерть? А она вон у тебя за плечами стоит... За плечами... Глянь!

Семен затрясся всем телом и вскочил с лавки, не смея оглянуться...

Колдунья залилась громким хохотом.

— Пуглив же ты, Семенушка! — проговори-

ла она среди смеха. — Любишь жить, так должен и о конце думать!.. Ну да я тебе другой раз погадаю. Ты у меня давно намечен... А нонче не твой черед!

И вдруг она обратила свой острый сильный взгляд на царя Бориса.

— Борисом звать? — небрежно спросила она.

— Борисом! — глухо и нетвердо произнес царь.

Старушонка поднялась на ноги, вытащила из-за печки круглое полено, обернула его грязной тряпицей и положила на лавку, потом достала щипцами из печурки головешку и стала ею окуривать полено, что-то невнятно бормоча себе под нос.

Борис смотрел в недоумении и не решался понять... Он собирался даже спросить колдунью о значении ее гадания, но она сама проговорила быстрой скороговоркой, окуривая полено:

— Вот что будет боярину Борису! Вот что ему будет!

А потом обратилась к Семену и добавила:

— Семенушка! Вели боярину к моей печур-

ке прислушаться... Авось моя печурка ему без обмана скажет!

Борис встал с лавки, шагнул к печурке и приложил к ней ухо. Сначала он услышал только неопределенный шум, потом — свист и завывание ветра, и вдруг среди этих завываний он ясно различил погребальное пение...

«Со святыми упокой» — явственно долетало издали до его слуха...

Царь Борис отшатнулся от печки, схватил Семена Годунова за руку и рванул его с места: — Уйдем, уйдем скорее отсюда! Куда завел ты меня... Зачем я сюда приехал?

И они оба быстро вышли из подвала на свежий воздух, сели в сани и помчались во всю прыть к Кремлю, но долго еще звучали в ушах царя Бориса погребальная песня и тот громкий хохот, которым проводила своих гостей старая колдунья.

XV

Метла небесная

Царевна Ксения давно уже заметила какую-то резкую перемену в отце своем и никак не могла понять, отчего она происходит. Мельком, издалека, по отрывочным фразам матери, по немногим намекам окружающих, она была знакома в самых неопределенных и очень бледных чертах с общим ходом борьбы Бориса против окаянного расстриги.

В голове этой двадцатичетырехлетней красавицы, неопытной и наивной, как малый ребенок, сложилось свое особое представление об этой борьбе, как о чем-то вроде восточного верованья в борьбу света и тьмы, Ормузда и Аримана.

Отец, царь Борис, представлялся Ксении олицетворением светлого начала; олицетворением тьмы и мрака в воображении царевны явился злой расстрига, который не только дерзал поднимать руку на царя Бориса, но и порядок хотел ниспровергнуть, и Церковь Божию предать в руки лютеров и латынян. И

вот Ксения всеми силами души желала успеха царю Борису и даже к своей молитве утром и вечером стала прибавлять еще одно прошение: «Господи, даруй победу отцу моему над злым врагом всего христианства православного, над окаянным расстригой».

Борьба длилась долго, несколько месяцев кряду, и Ксения видела, как разрушительно она действовала на царя Бориса.

Ксения не могла сознательно вникнуть в то, что должен был ощущать ее отец, она не могла понять его тревог и опасений... Но она видела, как его тревога отражалась на всех окружающих, она должна была заметить что-то новое, странное, небывалое, закравшееся и в самые стены Кремлевского дворца... Что-то такое, о чем прежде и помину не бывало! Все словно ждали чего-то... Все жадно прислушивались к вестям о борьбе, кипевшей в Северном крае... Все тревожно следили и за теми знаменами, которые около этого времени появились на небе...

Однажды в начале апреля ее боярышни пришли к ней в терем перепуганные и рассказали, что вот уж три ночи сряду они и на

часок заснуть не могут...

— Как наступит третий час ночи, так и явится на небе звезда новая, такая-то страшная! — говорили царевне боярышни.

— Да чем же она страшная? — спросила раз царевна Ксения.

— Да тем и страшная, царевна, что невиданная! Да вот еще говорят, будто такие звезды перед преставлением света будут... Так мы и боимся, не то ли это?

— Сегодня разбудите меня ночью — я сама хочу ту звезду видеть! — велела Ксения.

— Что ты, что ты, государыня! Как это можно! Да ты напугаешься, мы в ответе будем!

— Коли вы не разбудите, так я спать не лягу, пока не дождусь той звезды.

Боярышни пообещали разбудить царевну, и Ксения, ложась в постель, все думала об этой звезде, напугавшей боярышень.

Не удивительно, что и во сне ей пришла на память та сказка, которую она когда-то слыхала от бахаря. Он сам, этот неистощимый рассказчик, явился перед царевною во сне и говорил ей:

— Царевна! Это на небе та самая звезда объявилась, которая Ротригу Тальянскому знамением являлась. Так и знай: эта метла небесная — твоему отцу знамение! Сметет она с лица земли и его, и царицу, и тебя, и весь ваш род-племя!

Царевна в испуге отшатнулась от бахаря и вдруг услышала, что кто-то ее будит и окликает. Открыв глаза, Ксения при свете лампы увидела перед собой боярышню Вареньку, которая наклонилась над ее изголовьем и шептала:

— Государыня царевна! Встань, взгляни... Мы все обмираем от страха...

Царевна поспешно поднялась с постели, подошла к окошку, быстро отдернула занавес и увидела дивное зрелище: над Москвой горела огромная, яркая звезда, а ее красноватый, прозрачный хвост, изгибаясь, раскидывался на полнеба.

— С нами крестная сила! Помилуй нас, Господи! — шептали около царевны ее боярышники.

«Метла! Метла небесная!» — думала царевна, со страхом и сомнением вглядываясь в

необычайное явление и невольно припоминая тягостные впечатления сновидения.

XVI

Конец Бориса

Царевна плохо спала ночь и целое утро думала о той хвостатой звезде, которая так напутала все население теремного дворца.

Все ее видели, все о ней говорили, все толковали ее явление по-своему. И Ксения, прислушиваясь к толкам, шептала про себя:

— Господи! Избави нас от всякие напасти!

Незадолго до обеда пришла боярыня-казначей и объявила царевне, что царица Марья собирается после обеда на богомолье в Симонов монастырь и приказала передать об этом царевне, чтобы та готовилась.

— Матушка царица едет в Симонов служить молебны о победах, — сообщила всеведущая казначей, — да кстати хочет о твоей судьбе у тамошнего схимника спросить. Сказывают, что муж прозорливый и постник великий!.. Многим предсказал, и ведь как верно!..

И казначея тотчас привела несколько примеров, и возбудила в царевне столь сильное желание услышать от схимника о своем будущем, что все неприятные впечатления ночи, все мрачные думы, передуманные поутру, отошли на второй план. Ксения пригласила боярыню-казначею с собой откусать и тотчас после обеда принялась вместе с ней выбирать себе ферязь для поездки на богомолье и подбирать к ней застежки понаряднее.

— Что это за беготня по лестнице? Ишь как развозились на сенях!.. Уж нет ли беды какой? — вдруг всполошилась боярыня-казначея, прислушиваясь к шуму, и тотчас же горошком выкатилась из терема в сени.

Царевна прислушалась. Шум продолжался и даже возрастал. Казалось, что шумят не только на лестнице и на переходах, со двора тоже долетал какой-то неопределенный гул голосов и шагов. Слышались восклицания... А там как будто даже и плач...

— Что это? Уж не пожар ли во дворце? — заговорили около царевны ее мама и боярышни.

— Ступайте узнайте, что там случилось! —

сказала Ксения тревожно, обращаясь к боярышням, которые опрометью бросились в сени и еще скорее вернулись оттуда, бледные, растерянные.

— Царевна! — едва могла проговорить боярышня Варвара. — Царь тяжело занемог!.. Сама великая государыня бежит сюда — к тебе...

И следом за этой вестницей несчастья сама царица Марья явилась в дверях. Бледная, растерянная, она вбежала в терем, бросилась к царевне и схватила ее за руку.

— Пойдем, — проговорила она слабым, упавшим голосом, — пойдем! Твой отец, царь Борис... Умирает! Он зовет детей... Пускай благословит вас!.. Умирает!..

И мать повлекла за собой царевну, которая была так поражена страшной вестью, что и сама не понимала, куда, зачем ее ведут, о чем говорят... И совершенно машинально, не отдавая себе отчета в своих действиях, она поспешила за матерью, которая, не выпуская ее руки из своей, бежала через весь дворец на половину царя Бориса.

Но страшная действительность во всей ужасающей правде своей предстала очам ца-

ревны, когда она переступила порог царской передней. Помещение было битком набито боярами и ближними людьми, которые о чем-то оживленно между собой разговаривали то шепотом, то вполголоса. Все были так заняты своими разговорами, что почти не заметили прихода царевны и царицы, последняя из которых вынуждена была крикнуть громко:

— Дайте же дорогу, пустите нас!

Говор смолк на мгновение, все расступились молча. В комнате были только старшие бояре и ближняя родня царя. Духовник государя и весь причт Благовещенского собора стояли в углу у окна, ожидая призыва в опочивальню. Здесь царило глубокое молчание, среди которого явственно доносились из опочивальни стоны царя Бориса и чьи-то сдержанные рыдания.

Царица и царевна быстро перешли в опочивальню и увидели страшную картину. Кровать была выдвинута на середину комнаты, оборванные парчовые занавеси лежали кучей в углу. У изголовья в креслах сидел патриарх Иов глубоко опечаленный. Рядом с ним

на коленях, припав лицом к руке Бориса, стоял царевич Федор и рыдал неутешно; его затылок, голова и плечи содрогались и поднимались от тяжелых судорожных всхлипываний. Два доктора-немца, засучив рукава, прикладывали лед к груди и к голове царя, около них суетились старый постельничий и двое спальников, исполняя тихие приказы докторов.

Первое, что бросилось в глаза Ксении, были большие кровавые пятна на подушках, на постельном белье; серебряные тазы, полные кровью, стояли около стены... Но когда она опустилась на колени у кровати рядом с царевичем Федором и взглянула в лицо царя Бориса, она была так поражена его выражением, что не могла оторвать от него глаз. На нее нашел тот столбняк горя, который бывает страшнее всяких бешеных порывов отчаяния и всяких сокрушений.

Царь Борис, бледный как полотно, осунувшийся, высоко лежал на подушках. Голова его была бессильно запрокинута назад. Глубоко ввалившиеся глаза были закрыты, полуоткрытые губы бессвязно лепетали какие-то

невнятные слова... И только по этим несвязным звукам можно было заключить, что жизнь еще держалась в этом мертвеющем теле. Ксения явственно слышала, как отец ее шептал:

— Отгоните... Семена Годунова... Он меня душит... Прочь! Прочь!.. Детей зовите... Детей...

— Батюшка! На кого ты нас покидаешь?.. — вдруг завопил царевич Федор. — Кому поручаешь нас, бедных сирот!

Борис очнулся от тяжелого дремотного состояния и заметался на подушках. Глаза его широко открылись и блуждали в пространстве: он уже ничего кругом не видел...

— Где жена?.. Жена?.. Дочь?.. — спрашивал он, тревожно ощупывая окровавленную простыню.

— Мы здесь... Здесь! — с плачем отозвалась царица Мария, хватая его за руку.

— Федор! — прошептал Борис еле слышно. — Тебе мать и сестру... вручаю... Заботься! Слушай только патриарха и Шуйского...

И он смолк на мгновение, тяжело дыша и страшно поводя глазами.

Потом опять стал метаться и вдруг громко крикнул:

— Бояр! Бояр зовите!..

Спальник стремглав бросился к двери, махнул рукой — родственники царя и все боярство разом двинулись в комнату и тесной толпой столпились у дверей опочивальни.

— Великий государь! Пришли бояре! — громко произнес патриарх, поднимаясь со своего места. — Что изволишь им приказать?

Борис сделал над собой страшное усилие, стараясь приподняться, но голова его бесильно склонилась набок, глаза застыли...

— Отходит! — тревожно проговорил патриарх к окружающим. — Посхимить надобно скорее... Схиму сюда!

В глазах Бориса вдруг блеснул последний луч жизни. Он приподнял голову и сказал:

— Бояре! Служите... царю... Федору... Блюдите его...

Но силы изменили. Он опрокинулся на подушку...

Кровь хлынула горлом, полилась из носа, из ушей. Царя Бориса не стало.

Часть третья

I

Царственные сироты

Не стало царя Бориса — и не стало царя на Москве, хотя все москвичи, а за ними и все города поспешили присягнуть: «Царице Марье Григорьевне всея Руси и ее детям, государю царю Федору Борисовичу и государыне царевне Ксении Борисовне».

Не стало царя на Москве, опустел царский дворец, опустела дума царская... Целые девять дней не было никаких приемов и выходов — вся жизнь придворная как будто замерла на время. Царь Федор Борисович и царица Марья Григорьевна явились впервые боярам в торжественном заседании думы в средней подписной золотой палате. Они сидели на своих царских местах в смирных гладких бархатных шубах и в черных шапках. И бояре сидели кругом стен также в смирных опашнях и в однорядках вишневого и темно-багрового цвета и в черных шапках. Даже рынды при

государе не блистали своим обычным нарядом, на них были черные шапки, а тяжелые золотые цепи были надеты поверх бархатных темно-вишневых приволок. И далее, в проходной палате, в сенях и на паперти Благовещенского собора, вся дворня, и приказные люди, и дьяки, и боярские дети, и подьячие толпились в темных одеждах. Нигде не видно было обычного блеска и роскоши красок, не видно было ни золота, ни жемчуга, ни дорогих мехов, ни камней самоцветных. Все собрались как будто бы не на заседание, а на поминки — все стеснялись новостью положения и не знали, как приступить к делам. Говорили только патриарх да Шуйский, затем дьяк Посольского приказа стал докладывать о том, что гонцы отправлены к соседним государствам с извещением о смерти царя Бориса... Юный Федор не выдержал и заплакал, за ним зарыдала и царица и удалилась на свою половину. Печальное заседание печально и закончилось.

— Ну, так-то мы в делах не далеко уедем! — шепнул князь Хворостинин на ухо князю Василию Шуйскому. — Это, пожалуй,

вору на руку.

— Что ты! Что ты, князь! — перебил его Шуйский. — Как можно! Мы недаром присягнули царю Федору и будем верой и правдой служить ему!.. Его теперь печаль гнетет, а вот смотри, как обойдется, так он не хуже отца управит и нами, и землей.

— Твоими бы устами да мед пить! — со смехом заметил Хворостинин. — Ну а вор-то разве станет ждать, пока царь Федор с печалью управится?

— Да что нам вор! — с уверенностью произнес Шуйский. — Мы, старые-то воеводы, с ним не умели успешно биться, ну а теперь, как послан туда Басманов, о воре скоро и слух упадет.

— Да! Слухов и то вовсе нет из войска, да только к добру ли это?

Шуйский пожал плечами и обратился к другому боярину, видимо, не желая продолжать разговор.

...Царь Федор как вышел из думы, так и прошел на половину матери, у которой он проводил теперь большую часть дня. И там во всех покоях царили те же скорбь и пусто-

та, и так же неприятно били в глаза темные смиренные платья и черные каптуры царицыных боярынь и служни. Но на женской половине дворца было все же менее заметно отсутствие главной, руководящей силы, менее были осязательны те непорядок и неустройство, которые вдруг проявлялись и в частности, и в общем течении придворной жизни. Царь Федор чувствовал себя уютнее и спокойнее в комнате царицы Марьи, нежели на своей царской половине, где все напоминало ему отца и его собственное беспомощное и безвыходное положение.

Медленно прошел красавец юноша через царицыны сени и переднюю, битком набитые женщинами, которые, расступаясь перед ним и низко кланяясь, не упускали случая полюбоваться на юного царя и перешепнуться о нем между собой:

— Эко солнышко красное! Жаль, что тучкой затуманилось... А по виду богатырь будет и всему царству утеха!

Но будущий богатырь проходил через это женское царство не поворачивая головы, не удостоив взглядом красавиц боярынь... Он во-

шел в комнату царицы и сел на лавку около того стола, за которым сидела царица Марья, опустив голову на руки и печально вперив взор в пространство. По столу и по лавкам были рядом разложены узелки с шитьем и вышиваньем, связки красного бархата, образцы тканья, кружева и низанья, коробки с жемчугом и канителью. Видно было, что все это давно уже лежит здесь, нетронутое, забытое, заброшенное деятельной и хозяйственной царицей.

— Что скажешь, царь Федор? — проговорила царица, не изменяя своего положения и не оборачиваясь к сыну.

Царь Федор молча положил руку на плечо матери...

— Осиротели мы с тобой, Федя! — почти вполголоса произнесла царица и еще ниже склонилась над столом.

— Матушка, не сидится мне, не живется в моих царских палатах. Без батюшки пуст высокий терем, — сказал царь Федор упавшим голосом. — Куда ни оглянусь, везде отец мне мерещится... Все голос его слышу... И страх, такой страх берет, как подумаю, что мы те-

перь без него заведем делать!

— Осиротели мы, руки от дела отпадают! Моченьки моей прежней нет! — шептала царица, беспомощно покачивая головой.

— А я-то шел к тебе помощи просить!.. Утеху у тебя найти думал! — горестно воскликнул несчастный юноша, закрывая лицо руками.

Но дверь скрипнула, царица Марья и царь Федор поспешно оправились и приняли обычную царскую осанку, хотя красные, распухшие от слез глаза царицы выдавали ее тяжкое горе.

Вошел старый стольник царицын с низким поклоном и возвестил о приходе князя Василия Шуйского.

Через минуту вошел и сам князь, истово и чинно перекрестился на иконы и, отвесив земной поклон царю и царице, стал у стола, поглаживая свою жиденькую бородку и помаргивая своими маленькими хитрыми глазками.

— Что скажешь доброго, князь Василий Иванович? — обратилась царица к Шуйскому.

— Благодарение Богу! Дурных вестей не приношу, великая государыня. Надеюсь, что с Его святой помощью мы одолеем дерзкого врага и посрамим, и после великой нашей скорби возрадуемся и возвеселимся!.. Вся Москва теперь уж присягнула вам, великим государям, всюду целовали крест по церквам с великой радостью, и во всем городе спокойно. От патриарха также повсюду разосланы крестоцеловальные грамоты, и, думается мне, великий государь, что надо бы...

Шуйский, как и всегда, с трудом выражал свои мысли. Царица нетерпеливо обратилась к нему:

— Да говори скорее, князь, что надо бы теперь царю Федору?

— А надо бы, государыня, чтобы великий государь почаще в город показывался, по монастырям московским послал бы вклады богатые, а на время скорби по тюрьмам походил бы и щедрую бы милостыню пораздавал... Оно бы и для самого царя утешно было... А то ведь так-то скорбеть, пожалуй, и все дела упустишь, а дела не терпят...

— Да... да! — подтвердил царь Федор, рассе-

янно слушавший Шуйского. — Да, это, точно, нужно бы!..

— Наставь, наставь его, князь Василий! — вступилась царица Марья, любовно поглядывая на сына-царя. — Не покинь его в напасти, в сиротстве великом! А мы твоей верной службы не забудем!

— Что службишка моя, великая государыня? Я же ведь недаром крест целовал и тебе, и царю Федору, и царевне Ксении... Бог свидетель — душу готов положить за государя... И вот как сорочины блаженной памяти царя Бориса государь отбудет здесь, я бы советовал ему сесть на коня да ехать к войску и перевестись с врагом. Ведь при царе и войско, и воеводы не так-то бьются, как без царя. Сама изволишь знать, заглазное-то дело...

— Да, да! Я тоже об этом думал, матушка! — сказал, несколько оживляясь, царь Федор.

— А я-то с Аксиньей как же здесь останусь? — с некоторым испугом обратилась царица к сыну и к Шуйскому. — По этим смутным временам ведь можно всего ждать недоброго!..

— И точно! Как я их здесь... На кого оставлю? — тревожно и растерянно промолвил царь Федор, как бы рассуждая сам с собою.

— Кругом тебя, государыня, здесь все верные слуги. Блаженной памяти великий государь царь Борис Федорович на смертном одре мне с патриархом завещал блюсти вас и о вас радеть, так уж мы и соблюдаем, и порадеем. А для береженья да для спокойя я бы думал, великий государь, что город можно и поукрепить, и по стенам наряд поставить и в Белом городе, и в Китае, да и войска сюда собрать побольше... Вот тогда и поезжай себе спокойно, бей окаянного расстригу и приведи с собой у стремени.

Царь Федор вскочил с лавки и бросился обнимать Шуйского.

— Спасибо, князь Василий! Ты мне душу отвел... Вот, матушка, слуга-то верный что значит! Послушай, князь, повечеру зайди ко мне, сегодня я буду слушать твои доклады: и о делах поговорим, и посоветуем еще...

Князь Шуйский поклонился царю и царице и вышел из комнаты. Но на пороге опять появился старый стольник и доложил царице

о разных лицах, ожидавших в передней выхода или приема.

Царица сумрачно и медленно повернулась и сказала резко, отрывисто:

— Всех прочь гони!.. Невмоготу мне! Не до дел мне, не до тряпья!.. Скажи всем: завтра!..

И она опять опустила голову на руки и погружилась в глубокую скорбную думу. Царь Федор захотел ее утешить, подошел к ней, стал ее ласкать, стал говорить, как он поедет в войско, как будет биться и победит проклятого изменника и вора, как вернется победителем в Москву. Царица Марья поглядела на сына мрачно и недоверчиво.

— Дитяtko бедное! — сказала она наконец после долгого молчания. — Хорошо бы людям верить... Да не верится! Чует сердце, что не видать нам счастья, закатилось наше солнце красное!

Тут подошла к царице царица Ксения, тихо вышедшая из внутренних покоев. Побледневшая и похудевшая за последнее время, Ксения казалась еще прекраснее, и темная, простая ферязь как будто еще более придавала блеска ее дивной красоте. Царица опусти-

лась у ног царицы и молча положила голову на колени матери.

Но что это?.. В передней слышатся чьи-то голоса... Шаги... Суетня! Дверь распахнулась настежь, и Семен Годунов врывается в комнату царицы без доклада, растрепанный, бледный, позеленевший от страха. Глаза его бегают тревожно, руки трясутся, когда он большими спешными шагами подходит к царице, не обращая внимания ни на царя, ни на царевну.

— Гонец из войска... От воевод! — произносит он дрожащим голосом. — Сейчас примчал!.. Тут, у крыльца дворцового, конь так и грохнулся! Вестей не говорит, требует, чтобы вели его к царю!

Царь Федор обомлел от страха перед наступающей минутой, но царица Марья поднялась с места и, быстро подступив к Семену Годунову, крикнула грозно:

— Где же он?! Где же тот гонец? Где?! Введи его сюда!.. Как смеешь ты его держать в сенях!

Семен бросился вон из комнаты. А царица Марья, трясась, как в лихорадке, от ожидания

и волнения, оперлась на стол. Глаза ее блуждали, лицо было бледно. Уста шептали: «Гонец... с вестями?.. Гонец...»

— Матушка, успокойся! Может, и с добрыми вестями он приехал! — утешала царицу Ксения, хватая ее за руку.

Но царица была так взволнована, что даже позабыла о присутствии царевны, позабыла выслать ее из комнаты, когда Семен переступил порог, ведя за собою гонца.

Царь Федор тотчас узнал в гонце Тургенева и выступил ему навстречу на середину комнаты. Но первый взгляд на лицо Тургенева объяснил ему весь ужас вести, которую тот привез из стана. Платье на Тургеневе было грязно, запылено, изорвано... Страшное утомление, тревога и напряжение выражались на бледном лице, изнуренном бессонными ночами и дальним, тяжким путем.

Едва переступив порог, Тургенев пал на колени и воскликнул громко:

— Великий государь! Не вели казнить... За вести злые!.. Измена! Измена! Все войско, все воеводы, и Басманов тоже, вслед за предателями Михайлой Салтыковым да за Василием

Голицыным передались на сторону расстриги!..

II

Послы царя Дмитрия Ивановича

Весть об измене воевод и переходе войска на сторону прирожденного государя быстро разнеслась по дворцу и по городу. Дня три спустя после приезда Тургенева стали приезжать в Москву беглецы из войска, перешедшего на сторону расстриги, не захотевшие тому служить. Все они были избиты, ограблены, страшно истомлены дальним путем, все несли с собой подтверждение роковой вести и грозные слухи о неодолимом могуществе расстригиной рати. Загудела Москва толками и рассказами, зашумел народ по базарам и на крестцах... Но власти не унывали: нескольких крикунов засадили в тюрьму, двух посланных из войска с возмутительными грамотами схватили и отправили в застенок. И вся Москва вдруг затихла, замерла в трепетном ожидании, как затихает сама природа, когда темно-багровое грозное облако крадетя с го-

ризонта, охватывает полнеба и несет в себе гром и молнии, вихрь и град. Страшна эта зловещая тишина — предвестница и близкая предшественница бури и разрушения!

Среди наступившего затишья особенно резко бросалась в глаза та лихорадочная поспешность, с которой годуновцы готовились к отпору наступавшим врагам и к обороне города. На кремлевских стенах и башнях целый день, с утра до ночи, кипела работа: тут углубляли и чистили рвы, там поправляли земляные насыпи, там крыли новым тесом бойницы, там пели «Дубинушку», вкатывая на башни тяжелый наряд. Гонцы скакали из Кремля и в Кремль, развозя по окрестным городам грамоты, в которых все служилые люди созывались на Москву для защиты царского семейства от «злокозненного врага и богоотступника Гришки Отрепьева».

Так наступило 1 июня 1605 года. Чудный солнечный день с утра разгорелся над Москвой, которую давно уже не спрыскивало дождем. Жар стал ощутителен спозаранок, и можно было ожидать, что к полудню солнце будет печь невыносимо. Пыль густыми клубами

ми поднималась на улицах от движения пешеходов и повозок и при безветрии непроницаемым облаком висела в воздухе над городом.

— Ишь ты ведь какую жарищу Бог послал! — говорил, обращаясь к соседям-торговцам, наш старый знакомый, Нил Прокофьевич. — Тут и под навесом, и в тени-то, не продохнуть! Каково же там-то, на стенах да на башнях, работать да наряд втаскивать?

— Укрепляются! — мрачно заметил старый суконщик. — Позабыли, что в Писании сказано: «Аще не Господь хранит град, всеу труждаются стрегущие».

— Уж это истинно!.. Коли он придет, не удержать им, не устеречь им города от него! — сказал один из соседей-торговцев.

Но юркий Захар Евлампыч уж не слушал приятелей; прикрыв глаза рукой, он пристально всматривался в даль своими зоркими маленькими глазками и вдруг молча указал пальцем вверх по Ильинке. Все соседи старого бубличника обратились в ту же сторону да так и замерли...

Большой столб пыли клубился вдали, и яв-

ственно слышались шум и крики толпы народа, двигавшейся от ворот Белого города. Вот шум и крики ближе и ближе, вот явственно доносятся они издали... Вот бегут по улице какие-то оборванцы, мальчишки, нищие и машут руками и кричат:

— Эй, господа торговцы! Лавки запирай! На площадь! На Лобную!

Суматоха поднимается страшная. Все мечутся в разные стороны, все кричат, никто ничего не понимает... Купцы и приказчики запирают лавки, тащат тюки с товарами внутрь своих балаганов, а мимо них по улице бегут передовые вестовщики надвигающейся толпы и режут благим матом:

— Все на площадь! Православные, на площадь!.. Красносельцы послов великого государя ведут!.. Прирожденный государь грамотку москвичам прислал... На Лобном месте читать будут!

В рядах поднимается чистый содом: кто запирает лавку, кто бросает товары, кто кричит без всякого толку, перенося товар с места на место. Все потеряли голову, и все бросаются на площадь, перегоняя и давя друг друга... А

тем временем по Ильинке чинно и медленно двигается громадная толпа, и в середине ее, окруженные красносельскими слобожанами, шествуют на конях присланные с грамотами из-под Тулы дворяне Наум Плещеев да Таврило Пушкин: один — высокий, сухощавый и суровый воин, в помятом шеломе и смуром кафтане, накинутом поверх кольчужной рубахи, другой — румяный и веселый толстяк, в щегольском немецком шишаке и рваном куяке, усаженном медными бляхами. Крутом них, теснясь и волнуясь, валит пестрая толпа народа и безоружного, и вооруженного, и нарядного, и оборванного, рядом с простой сермягой виден нарядный терлик, рядом с пестрым бабьим сарафаном — черная монашеская ряса, рядом с лохмотьями — суконный цветной кафтан. Толпа двигалась непрерывно темной рекой среди громадного облака поднятой пыли... Толпе не видно ни конца, ни края, она словно сказочный зверь — чем более движется, тем более растет, растет и наконец шумным потоком изливается на площадь, уже залитую тревожными толпами московских горожан.

— Дорогу! Дорогу! Очищай дорогу послам прирожденного царя Дмитрия Ивановича!

— Веди послов на Лобное место! Веди! Дорогу!.. Сторонись, православные!

И сторонится народ, открывая широкую дорогу Плещееву и Пушкину, которые торжественно шествуют на конях к Лобному месту, посвечивая на солнце своими шеломами.

— Вона! Вона! Гляди, послы государевы на Лобное место взошли!.. Грамоту читать будут!.. Ах, Господи, спаси нас, грешных!.. Шапки долой!.. Грамота царская!

И шапки летят долой, толпа смолкает как один человек, и только вдали по окраинам площади слышны еще неясный гул и говор.

Плещеев и Пушкин снимают шелома, крестятся на соборы кремлевские и на церковь Троицы, что на рву. Затем Плещеев произносит громко:

— Всем вам, московским людям, прирожденный государь наш, царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, поклон шлет и грамоту.

— Буди здрав царь Дмитрий Иванович! — заревели несколько сот голосов около самого

Лобного места.

— Какой там царь!.. Окаянец он! Долой по слов его! — раздалось с другой стороны.

— Молчать! Сунься только!

— Тс-с! Тише... Тише! Читайте грамоту. Читайте! Читайте! — кричат с разных сторон площади тысячи голосов.

Пушкин вынул грамоту из-за пазухи и сильным, громким голосом, резким и звонким, как воинская труба, прокричал на всю площадь:

— «Московские всяких чинов люди!.. Помня православную, христианскую, истинную веру и крестное целование, на чем есте крест целовали отцу нашему, блаженной памяти государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, и нам, чадам его, на том и мне, прирожденному государю, крест целуйте!..»

Но гул и громкий говор и ропот толпы около Фроловских ворот прерывают начатое чтение грамоты. На мосту у ворот показались бояре, духовенство, думные дьяки, окруженные стрельцами. Пищали, бердыши и копья ярко засверкали на солнце над пестрой толпой бо-

яр, начальных людей и войска, высыпавшего из Кремля. Но толпа, расступившаяся перед духовенством и боярами, сомкнулась перед стрельцами, которые сбились в кучу на мосту.

— Чего вы тут собрались! — громко закричал князь Телятевский. — Что вам нужно?.. Ведите воровских послов в Кремль, мы там прочтем их грамоту.

— Да вон поди-ка сам возьми их! — гудела толпа, напирая на бояр.

— Небось руки коротки! — смеялись в толпе.

— И близок локоть, да не укусишь!

— Православные! — попробовал крикнуть Шуйский. — Зачем собрались? Коли есть нужда иль челобитье какое, Ступайте прямо к царю Федору, чем здесь шуметь!

Но крики толпы покрыли его голос:

— Читать!.. Читать грамоту законного царя Дмитрия Ивановича!

И над стихнувшим всенародным множеством вновь раздался громкий и резкий голос Пушкина:

— «Божьим произволением и Его крепкой

десницей покровенный, спасен я был от изменника Бориски Годунова, хотящего нас злой смерти предати. Бог милосердый, невидимой силой нас, законного государя вашего, укрыл и через много лет в судьбах своих сохранил. И ныне мы, царь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси, с Божию помощю идем сесть на престол прародителей своих, на Московское и на все иные государства Российского царства...»

Шумные, радостные крики громовым перекатом пронеслись по площади и, долго не умолкая, заглушали чтение грамоты.

— «Не гневаемся на вас, — продолжал читать Пушкин, — что вы против нас, великого государя, выступили, служба изменникам нашим, Федьке Борисову сыну Годунову и его матери, и их родственникам и советникам. Ведаем, что ваши умы и слухи, и сердца омрачены неведением...»

— Так, так!.. Правда, правда!.. — закричали в толпе. — Не ведали мы, что жив законный государь!

— Буди здрав, царь Дмитрий Иванович! Помилуй нас, темных людей! — слышались

возгласы в толпе.

— «И ныне во всех городах, — продолжал на всю площадь выкрикивать Пушкин, — бояре и дворяне и всяких чинов люди нам, прирожденному государю, крест целовали, и мы их пожаловали, их вины им отдали... И когда вы, люди московские, нам крест поцелуете по правде, мы и вас пожалуем всяким своим царским жалованьем, чего у вас и на разуме нет!»

Тут поднялись такие шум и крик, такой неистовый рев, что несколько минут посланцы «прирожденного государя» посматривали кругом в совершенном недоумении. Одни кричали «во здравие царю Дмитрию Ивановичу», другие ругали и поносили Годуновых, третьи плакали от радости и кричали без всякого толка.

— Просияло над нами солнышко красное! Дождались царя законного! — вопил, размахивая руками, Нил Прокофьич, протеснившийся к самому Лобному месту.

— Где нам против него идти, Бог не попустит! — кричали крутом.

— Недаром и Басманов, и воеводы, и все

войско на его сторону перекачнулись!.. Он прямой, законный царь!

— А почему ты знаешь, что законный? — галдели какие-то посадские, толпившиеся около Захара Евлампыча и старого суконщика.

— Братцы! — вдруг закричал старый бубличник. — Да ведь тут на площади сам князь Василий Шуйский. Пусть он нам скажет, законный ли царь Дмитрий Иванович.

Слова упали в толпу, как искра в порох.

— Шуйского! Шуйского на Лобное! — раздалось со всех сторон из тысячи глоток.

— Шуйского сюда! — закричали и Пушкин с Плещеевым.

— Шуйского! Шуйского! — радостно откликнулись голоса во всех концах площади.

И Шуйский, подхваченный сотней рук, перепутанный, бледный, трепетный, явился на Лобном месте рядом с Плещеевым и Пушкиным.

И опять смолкло все народное множество, и с напряженным вниманием тысячи глаз устремились на князя Василия, тысячи ушей приклонились жадно к тем словам, которые

готовы были слететь с его широких, трепетных уст.

Стараясь оправиться, собраться с мыслями и совладать с собой, князь Василий, сняв шапку, долго крестился и кланялся народу на все стороны.

— Православные! — произнес он наконец, с усилием выговаривая каждое слово. — Виноват я, грешный, неверный раб... Перед Богом и перед законным государем. Из страха перед земным владыкой я покривил душою...

— Слушайте, слушайте! — пронеслось, как шелест, в толпе.

— Я покривил душой... Еще как был я на углищком розыске, я и тогда уж знал, что в Угличе убит злодеями не царевич Дмитрий, а поповский сын!

— У-у-у! — заревела толпа. — Жив буди царь Дмитрий Иванович! В Кремль!.. В Кремль!.. Долой Борисово отродье!

— Прочь Годуновых!.. Долой вражьих детей!.. И годуновцев всех долой! В одну яму!.. В Кремль... Во дворец!

И ничем не удерживаемая, многотысячная толпа бурным потоком хлынула во Фролов-

ские и Ильинские ворота, крича, вопя и ругаясь, и громкими, неумолкающими кликами в честь прирожденного, законного государя Дмитрия огласила ту самую площадь, над которой еще так недавно раздавалась торжественная и грозная анафема окаянному расстриге.

III

«Смерть Годуновым!»

Прошло около полутора недель с тех пор, как грозная буря народной мести разразилась над несчастной семьей Бориса, над его родней и близкими к нему людьми, над всеми, кто был с ним связан или предан ему при жизни. Буря пронеслась, но следы ее были еще очень заметны всюду, и бояре спешили их скрыть, затереть, загладить в ожидании того торжественного дня, когда новый, законный царь должен был въехать в Москву и вступить на прародительский престол.

Все московские плотники, столяры и маляры работали над обновлением царских палат, в которых чернь успела многое переломать,

разбить, ограбить, ободрать. Всюду были слышны стук топоров, поколачиванье молотов, покрикивание десятников и громкие песни рабочих. Бояре не ограничивались поправкой и подновлением теремного дворца, они заботились также и о том, чтобы во всем Кремле, тесно застроенном, привести все здания и улицы в порядок, очистить их от сора и хлама и уничтожить всякие следы того разгрома, который чернь произвела в домах Борисовой родни, его приверженцев и служни. Только один обширный и некогда богатый дом, бывшие хоромы конюшего боярина Бориса Годунова, стоял мрачной нетронутой развалиной. Выбитые окна и двери его, поломанные крыльца, порушенные перильные переходы, поваленный забор и пошатнувшиеся набок ворота — все свидетельствовало о том, что на этот дом с особенной силой обрушилась ярость народная. Бояре, по-видимому, не без намерения оставили этот дом в небрежении. Им, видно, хотелось, чтобы новый царь воочию мог убедиться в том усердии, с которым верные его подданные разорили «старое годуновское гнездо».

Около этого годуновского гнезда весь день толпился народ. Уличные мальчишки и всякие оборванцы еще рылись в кучах сора, обломков и всякого хлама, наваленных вдоль хоромных стен, они вытаскивали оттуда кусочки слюды, свинцовые переплеты окон, куски разбитой стеклянной посуды, клочки одежд и шатерного наряда. Какой-то счастливец, говорят, откопал даже порядочную жемчужину. Но внутрь дома и двора никого не пускали: все ходы и выходы тщательно охранялись стражей.

— Вот оно, величие-то земное, каково переходчиво! — говорил какой-то почтенный старик посадский, поглядывая на годуновский дом. — Давно ли царством Годуновы правили, а теперь вон и сами в узах, в тесноте сидят в своем же доме...

— Так им и надо! — злобно огрызается в толпе толстяк купец. — Сколько крови пролил! Против законного царя бились!

— Да ты послушай, милый! — продолжал так же мягко старик посадский. — Ведь тот, кто бился... Кто всему злу причина, того уж давно в живых нет! А платят за него те, что

ни в чем не повинны...

— Яблочко от яблоньки недалеко падает... Опять же и в Писании сказано: «Отмстится в роды род, даже до пятого колена».

— А все-таки, по душе говоря, жалко их... Авось царь Дмитрий Иванович их помилует и им вины отпустит...

— Как не отпустит! — вступился какой-то сумрачный высокий детина. — Велит их, как собак бешеных, на первой осине вздернуть — вот те и вся милость!

Старик гневно глянул на говорившего и отошел в сторону к другой группе зевак, стоявших перед домом Годуновых.

— Вот, братцы, потеха-то была! — говорил в этой группе какой-то кривоглазый оборванец. — Как ономясь Годуновых-то мы на двор вывели, видим — водовоз бочку с водой с реки на Житный двор везет... Нашлись молодцы догадливы: бочку с телеги долой, а Годуновых-то на телегу. Бабы-то заартачились было, так мы их в охапку да в ту же колымагу, и повезли. А кругом народ-то смеется: кто поет, кто пляшет, кто в сковороду бьет... Так их и довели сюда.

— Тут и сидят?

— Вестимо сидят, до приказа.

В задних рядах толпы стоит и всеведущий Захар Евлампыч с несколькими рядскими торговцами и рассказывает им вполголоса:

— Вчера от государя приехали сюда бояре: князь Василий Голицын да Рубец-Мосальский... Сказывают, будто царь велел всех Годуновых по дальним обителям разослать, по тем самым, в которые они Романовых-то разослали... А этот дом велел сломать, чтобы о нем и память сгинула!

Между тем как эти разнообразные толки происходили перед домом, внутри него в одной из комнат обширного пустого дома, на лавке под образами, лежала бывшая царица Марья Григорьевна в старой и рваной ферязи, прикрытая темной телогреей. Около нее на низенькой скамеечке сидела Ксения и отгоняла мух от изголовья матери, которая не спала всю ночь и только под утро забылась крепким сном изнеможения. Федор Борисович сидел на лавке около сестры, опустив голову и скрестив на груди свои могучие руки. Он сидел неподвижно и безмолвно. С тех пор,

как он был сведен с престола и привезен сюда с сестрой и матерью, он целые дни проводил в таком состоянии полного безучастия ко всему окружающему. И напрасно ласкала его сестра, напрасно старалась мать рассеять его мрачные мысли: несчастный юноша, потрясенный жестоким ударом судьбы, ни на минуту не выходил из своего тяжелого оцепенения.

— Скорее бы кончали! — отвечал он на все, что сестра и мать говорили ему в утешение.

— Что ты! Что ты, Федя! Не гневи ты Бога! — восклицала Ксения.

— Ну да! Тюрьма — так тюрьма, коли ссылка — так ссылка, а то уж очень надоело ждать... Наболело сердце!..

В тот день царь Федор проснулся утром такой же пасмурный и безучастный, как и во все предшествующие дни, однако же, услышав благовест к ранней обедне, он встал со своего места, опустился на колени перед иконой и долго-долго молился... Рядом с ним стала на молитву и Ксения. Стала и не могла молиться... Силы ей изменяли, мысли путались, слова молитвы бессвязно мешались в голове

с горьким ропотом на неумолимую, злую судьбу-мачеху.

Брат и сестра поднялись с молитвы и снова заняли свои места около матери, которая все еще спала, и спала так спокойно, так сладко, и дышала так ровно, так мирно.

Когда она проснулась, когда приподнялась с жесткой лавки, она в первый раз за эти десять дней улыбнулась, взглянув на детей своих:

— Вот сладко-то спалось мне, детушки! — сказала она, оправляя свой головной убор. — Вот сладко-то! Ах Господи!.. Да я, кажется, и на пуховиках так не сыпала!.. И какой я сон чудесный видела, Аксиньюшка! Видно, нам не долго здесь уж быть, видно, смилуется над нами Творец Милосердный! Вижу я, что мы в тюрьме сидим, в сырой, в темной, в смрадной, кругом и сырость, и гады ползают, и крысы по углам скребутся, а мы к стене железными прикованы, прижались друг к дружке и сидим не шелохнемся. Вдруг двери настезь — и входит некто в светлых ризах, и меч в руке. Прямо к нам подошел, мечом ударил по железам, меня освободил и Федю тоже и на дверь

нам показал. А я ему и говорю: «А как же мы Аксиньюшку-то покинем?..» Да на этом слове и проснулась.

— Нет, нет! — вскричала Ксения в каком-то странном порыве. — Нет! Вместе с вами: хоть в гроб, хоть на край света! Лишь бы нас не разлучали!

Мать притянула ее к себе на грудь и крепко обняла и долго-долго не выпускала из своих объятий...

Вдруг дверь хлопнула вниз, слышались тяжелые шаги и голоса, потом слышно стало, как несколько человек поднимались по лестнице, не спеша, перекидываясь отдельными словами. Царица Марья посмотрела на Ксению и на Федора.

— Детки! Ведь это к нам бояре идут! Неужто сон мой сбудется?

И она с волнением стала прислушиваться к голосам и шагам в сенях. Вот эти шаги приблизились к дверям, ключ щелкнул в замке, дверь отворилась, и в комнату вступил высокий, дюжий боярин. Красное, угреватое лицо его лоснилось от пота, толстый красный нос с широкими, раздутыми ноздрями противно

опускался на толстые губы, едва прикрытые жиденькой бородой и усами, а маленькие, заплывшие жиром, свиные глазки насмешливо и дерзко сверкали из-под высоко поднятых бровей. Переступив порог, боярин снял с головы колпак и, обнажив широкую красную плешь, отвесил низкий поклон Годуновым.

— Что скажешь, князь Рубец-Масальский? — обратилась к нему Марья Григорьевна. — С какими вестями прислан?

— Принес я вам такие вести, что не быть вам вместе... Великий государь вас в разные горницы рассадить повелел. Хе-хе! Так-то!

Ксения бросилась к матери и обвила ее шею руками.

— Я не расстанусь с тобой! Ни за что не расстанусь!

Мать ничего не отвечала и только растерянно глядела на боярина.

— Ну что ж? Пообнимайтесь, на это запрета нет. А ты, Федор Борисович, изволь за мной пожаловать.

Федор Годунов поднялся со своего места и, обратясь к боярину, сказал:

— Князь, свижусь ли еще я с матушкой и с

сестрой?.. Или ты на смерть меня ведешь?

— Хе-хе! Вестимо, свидитесь... Раненько тебе о смерти думать... А как приказано вас рассадить, так ты уж не ломайся, под ответ меня не подводи.

Федор поцеловал мать и сестру и подошел к боярину...

— Пойдем, — сказал он твердо и спокойно и вышел из комнаты вслед за боярином.

Между тем Ксения и Марья Григорьевна в каком-то оцепенении стояли, все еще обнявшись в углу под образами. Слышно было, как Федора ввели в одну из смежных комнат и заперли на ключ.

Через минуту Рубец-Масальский вновь появился на пороге.

— Ну, матушка царица! — молвил он, насмешливо прищуривая глазки. — Теперь уж твой черед. Пожалуй в свой покой!

— Я не пойду отсюда! — громко крикнула царица Марья. — Я не расстанусь с дочерью!

— Ишь ты какая прыткая! Небось как ты нашу братию бояр ссылала, так и детей с родителями, и мужей с женами разлучала, а тебя и тронуть не смей!.. Эй! Шерефединов!

Молчанов!..

Дверь распахнулась, и на пороге явились два человека в темных кафтанах и темных шапках. Один — высокий, рябой, смуглый, как цыган, с черной, как смоль, бородою, другой — приземистый, широкоплечий, рыжий, веснушчатый. Из-за их спины выглядывали четверо дюжих стрельцов.

Рубец-Масальский указал им пальцем на царицу.

— Делайте, что приказано, — добавил он вполголоса.

Шерефединов, Молчанов и четверо стрельцов разом бросились на несчастных женщин, и прежде чем те успели вскрикнуть, они вырвали царицу из объятий Ксении и на руках вынесли ее из комнаты.

В порыве злобы и отчаяния Ксения вскрикнула и стремглав бросилась вслед за матерью, но дюжий боярин, криво и скверно улыбаясь, загородил ей дорогу к двери.

— Куда? Куда, лебедка? — проговорил он, смеиваясь и отталкивая Ксению. — Сиди, коли приказано...

— Зверь! Разбойник! Предатель! Пусти ме-

ня, или я голову об стену разобью.

— Что ж? Разбивай, коли так любо! А отсюда все же не выпущу...

Лицо Ксении покрылось смертной бледностью, глаза зажглись пламенем бешенства... Как тигрица, она бросилась на боярина, вцепилась в его одежду, страшным усилием сорвала его с места, но он ухватил ее за руки, сжал их, как в железных тисках, и грубо отбросил Ксению в сторону.

— Ишь... Годуновская-то кровь разымчива!.. Да ты смотри — не очень дури, а то...

И он по-прежнему стал к дверям спиной, насмешливо и злобно поглядывая на царевну, которая в изнеможении опустилась на лавку.

Вдруг где-то вдали раздался глухой стон... Легкий крик... И все затихло снова.

Ксения поднялась с лавки, глаза ее блуждали дико, страшно...

— Боярин! — проговорила она. — Ты слышал?.. Что же это? Душат?.. Кого душат?

— Пустое! Никого не душат, — сказал Рубец-Масальский с некоторым смущением. — Ты здесь побудь, а я пойду взгляну...

И он скрылся за дверью, щелкнув ключом в замке. Шаги его затихли в отдалении.

Ксения осталась одна и стала прислушиваться... И вся обратилась в слух... И вот опять шаги и голоса в сенях, и хлопанье дверьми, и голос брата... И чьи-то крики, ругань... Удары, борьба... Вот кто-то рухнул на пол, так что стены затряслись... Еще падение... И опять возня, борьба насмерть... И вдруг ужасный, раздирающий, неслыханный вопль, вырвавшийся из молодой и сильной груди... А за ним стоны, стоны, все тише, все глуше. Ничего не сознавая, не чувствуя под собой ног, не отдавая себе отчета в своих действиях, Ксения сорвалась с лавки, метнулась к двери, схватилась руками за скобу, оторвала ее страшным усилием и рухнула замертво на пол.

IV

Въезд царя Дмитрия Ивановича

Да полно тебе сокрушаться-то, друг ты мой, Петр Михайлович! — говорил Федор Калашник Тургеневу. — Ведь тут уж никаким сокрушением ничего не возьмешь, не поправишь!

— Да не в том и дело! Не о том я и сокрушаюсь, Федя! — печально отвечал Тургенев другу. — Сокрушаюсь я о невинных жертвах людской злобы: о царе Федоре, о царевне Ксении... За что он погиб?.. За что она теперь муку лютую терпит?.. Да и что с ней будет!

— Говорят, что в дальний монастырь сошлют да там и постригут.

— Ох Федя! Пускай бы келья! Ведь келья, что могила! Постригли бы ее, что погребли... А то страшно, страшно мне за нее: чуется мое сердце, что ей недаром жизнь сохранили и что недаром стережет ее в своем доме старый бражник Рубец-Масальский.

— Не пойму я тебя, Петр Михайлович, в толк не возьму. Что же тебе страшно-то?

— А то, что царевну Ксению на посмеянье хотят отдать врагу-то Годуновых, царю-то новому на потеху, на...

Федор Калашник схватил его за руку.

— Что ты, в уме ли ты, Петр Михайлович! Да ведь Бог же есть над нами...

— Бог? Есть Бог!.. Да Богово-то дорого, а бегово-то дешево нынче стало. Теперь всего ждать можно! Вон видишь, прирожденный-то ихний государь только мигнул — и сразу Годуновых с лица земли стерли... Костей царя Бориса и тех не пожалели, из Архангельского собора да в убогий Варсонофьевский монастырь перетащили... Так разве же эти люди сжалются над бедной сиротой, над бедною беззащитной девушкой?

— Так как же быть?

— А вот постой... Еще расспросим, разузнаем... Я там в доме завел знакомство, подкупил кое-кого из слуг... И если будет нужно, я надеюсь на тебя, Федор! Помнишь, как в Кадашах-то мы боярышню избавили от гнева царицы Марьи?

— С тобой хоть в прорубь! Нигде не выдам...

— Спасибо, друг. Я знаю, что ты, коли скажешь слово, так на нем хоть терем строй!.. Авось нам и придется еще помочь царевне и от беды ее спасти!

— Э, Петр Михайлович! Смотри-ка, кто к нам идет! — сказал Калашник, указывая пальцем в окно.

— Батюшки! Никак, Алешенька Шестов! — радостно воскликнул Тургенев.

И точно — Алешенька Шестов, веселый и радостный, переступил через порог светелки Калашника и бросился в объятия друзей, которые его засыпали вопросами:

— Откуда ты?.. Давно ли здесь? Зачем сюда приехал? Уж не женат ли?..

— Где же мне вам разом на все ответить! — весело отозвался Шестов. — Дайте сроку, братцы. Приехал я вчера и прямо из Смоленска... И на великих радостях!

— А что такое?.. В чем тебе удача? — спросили разом Калашник и Тургенев.

— Как в чем?.. Да вы-то разве не слышали? — с удивлением обратился к ним Шестов. — Ведь государь велел Романовых вернуть из ссылки!

— Слава Богу! Настрадались бедные... Насилу-то дождались избавления! — сказал Тургенев.

— Спасибо государю Дмитрию Ивановичу! Обо всех родных он вспомнил. Всех велел собрать в Москву и матушку свою, инокиню Марфу Ивановну, сюда же привезти...

— Честь и слава ему, что он о них не позабыл и в счастье, и в величии, — сказал Федор Калашник.

— А почему? Сидорыч напомним. Ведь вот он каков, этот старик! Пробрался в Тулу, с челобитьем к государю Дмитрию Ивановичу — все за своих бояр. И тот не только их велел вернуть, но и все имения им отдать по-прежнему, и животы, какие сохранились в царской казне...

— Дай Бог ему здоровья! — сказал Калашник.

— Так вот и я приехал сюда... Все здесь для бояр моих готовить. Для Ивана Никитича да для деток Федора Никитича, что ныне Филаретом наречен в иноческом чине. А как все здесь закончу, тогда назад в Смоленск и там женюсь...

— На ком же?.. На боярышне Луньевой?

— Вестимо!.. Она живет там в доме дяди, и мы с ней положили, как воцарится законный, прирожденный государь, так мы и за свадьбу.

— Исполать тебе, Алешенька! — сказал Тургенев. — Глядя на тебя, и я развеселился, и я готов поверить, что идет к нам законный царь, идет на радость, а не на горе!..

— Эх ты, выдумал что! Да погоди, постой! Что же вы это дома-то сидите?.. Ведь вся Москва на улице да на ногах. Пойдемте и мы ему навстречу.

— Пойдем, пожалуй, — отвечали в одно слово и Тургенев, и Федор Калашник и стали собираться.

...Толпы народа, разряженного в лучшее праздничное платье, с радостным шумом спешили со всех концов города на Лобную площадь, к Троице на Рву и к тому спуску, который вел к Москворецким воротам. За этими воротами перекинут был через Москву-реку живой мост, по которому ездили в город из Замоскворечья. По этому мосту царский поезд должен был вступить в город и, поравнявшись с Лобным местом, свернуть к Фролов-

ским воротам в Кремль. Но Федору Калашнику с двумя его приятелями не удалось пробраться далее Лобного места: здесь их так заперло в толпе, что они и шагу не могли ступить. Народ сплошной стеной стоял так устойчиво и твердо, что ни пробить, ни сдвинуть ее с места не оказывалось ни малейшей возможности. В толпе, торжеством и радостью настроенной, шли оживленные толки о предстоящем въезде.

— По Серпуховской дороге вступить изволят...

— Ночевать изволил в Коломенском. На полпути оттуда первая встреча ему приготовлена, а вторая-то за мостом, а третья — у соборов...

— Народу-то, народу-то — и-и, Господи! Тут не одна Москва, а и таких-то много, что верст за двадцать и больше из-за Москвы пришли взглянуть на прирожденного государя.

— Еще бы!.. Дивны дела Твои, Господи!

— Из-под ножа годуновцев проклятых Бог спас, через все напасти провел, и вот вступает нынче...

С Ивановской колокольни в это время раз-

дался первый удар колокола. Оттуда завидели вдаль царский поезд, по Замоскворечью направлявшийся к мосту.

По этому первому удару начался продолжительный перезвон на всех кремлевских колокольнях, им стали вторить колокола Троицы и площадных храмов, а затем заговорили, загудели колокола всех сороков московских церквей, наполняя воздух громкими, радостными звуками.

Вскоре в Москворецких воротах показалась голова царского поезда. Впереди ехал отряд польских рейтар и литовских копейщиков в острых шишаках, в светлых латах, надевших поверх ярких цветных кафтанов. Трубачи и барабанщики играли на трубах и били в барабаны, но резкая музыка их заглушалась громким, величавым звоном всех колоколов в Москве, встречавших своего «прирожденного, законного государя». За поляками и литвой шли длинными рядами стрельцы в праздничных красных кафтанах, они окружали расписные царские кареты, которые, мерно раскачивая своими тяжелыми кузовами, катились в гору по изрытому колеями въезду.

Серые в яблоках кони, давно застоявшиеся на годуновских конюшнях, рвались из постро- мок и плясали на ходу, едва сдерживаемые дюжими конюхами в богатых кафтанах. За каретами следовала блестящая пестрая толпа конных дворян, детей боярских и всего млад- шего придворного чина в расшитых золотом опашнях и чугах. За этой толпой другая, также на конях, но в кольчугах, в шеломах, при оружии двигалась стройно, под звуки на- кров и бубен. За воинством царя земного шли служители Царя Небесного: духовенство в ри- зах, ярко блиставших на солнце, бесконеч- ный ряд хоругвей, фонарей, запрестольных крестов и икон, усаженных крупным жемчу- гом и драгоценными камнями. Вслед за ду- ховенством, верхом на коне, принаряженном в лучший из царских конских нарядов, ехал статный всадник в золотом платье с неболь- шим стоячим воротником, блиставшим каме- ньями, и в широком жемчужном оплечье. На нем была расшитая золотом шапка с широ- ким алмазным пером... Едва успел он подье- хать к воротам у моста, как все бесчисленные толпы народа огласились одним общим вос-

торженным криком:

— Буди здрав, царь-государь наш Дмитрий Иванович!

Но откуда ни возьмись вдруг поднялся вихрь, налетел на царский поезд внезапным порывом, нагнал облако густой московской пыли на нарядных всадников, сорвал с нескольких голов богатые шапки и пронесся мимо.

— Что это? Откуда вихрь поднялся? — слышались в толпе тревожные голоса. — К добру это аль к худу?

— Чего там к худу!.. Это московский ветер литве некрещеной шапки посшибал... А уж они и закаркали!

— Верно, верно! Пусть, мол, знают, что и в самой Польше нет нашего Бога больше!

Но эти смешки и речи были заглушены новыми нескончаемыми радостными криками толпы, которые перекатывались из конца в конец площади, не затихая, не прерываясь, не ослабевая. Народ, умиленный, потрясенный трагической судьбой юного царя, возвращенного царству после стольких бед и напастей, от всего сердца приветствовал его и был

в глубине души проникнут высоким настроением торжественной минуты.

Вон наконец царь Дмитрий Иванович поравнялся с церковью Троицы и, глянув на Кремль, сильной рукой сдержал коня, который нетерпеливо бил копытами в землю и перебирал удила, порываясь вперед, за другими конями. Сняв шапку, царь произнес громко, так что все окружающие могли явственно слышать его слова:

— Здравствуй, матушка-Москва, златоглавая, белокаменная! Сподобил меня Бог еще раз увидеть тебя, стольный город прародительский!

И он низко поклонился Кремлю белокаменному, наклонив голову к самой гриве коня, покрытой жемчужной сеткой, поклонился на все стороны и народу православному.

И новый оглушительный взрыв криков, рыданий и громких восторгов огласил все бесчисленные толпы народа, который, словно один человек, словно из одной общей громадной груди, гремел навстречу юному царю:

— Солнышко наше красное! Радость наша светлая, великая! Буди здрав! Сияй над Рус-

скою землю! Да хранит тебя Бог!

И слезы восторга, слезы радости одинаково блистали в глазах юного царя и в глазах всех, кто приветствовал его.

Алешенька Шестов плакал, как ребенок, и кричал неудержимо, махая шапкой и всем телом порываясь вперед, навстречу подъезжавшему царскому поезду Федор Калашник и Тургенев также невольно поддались общему настроению толпы. Но когда царь остановил коня в нескольких шагах от них, когда он снял шапку и стал отвешивать поклоны на три стороны, Федор Калашник вдруг схватил Тургенева за руку и, молча, указывая ему глазами на царя, как бы спрашивал:

— Помнишь? Узнаешь ли?

Тургенев понял его вопрос и стал внимательно вглядываться в лицо царя, которое, казалось, он уже видел когда-то давно, но не мог припомнить, где именно?.. И это обстоятельство так смутило его, что он уже не мог более сочувствовать общему настроению толпы и все рылся в своих воспоминаниях, даже и тогда, когда царь давно уже проехал далее, когда вслед за ним прогарцевала мимо огром-

ная толпа казаков донских, запорожских и волжских, когда вслед за казаками повалила пестрая толпа народа, сопровождавшая царский поезд от окраин города.

Затем оба друга направились домой, и ни один из них не решался высказывать того, что у него было на душе: им не хотелось разрушать того очарования, которое носилось около них в воздухе, которое звучало в торжественном колокольном звоне, в радостных криках народа, в общем восторге, выражавшемся на всех лицах... Но едва только они переступили порог своей светелки, Федор Калашник захлопнул дверь и быстро подошел к Тургеневу, который опустился на лавку в глубоком раздумье:

— Узнал ты его? Узнал?

— Знаю, что я его где-то видел, а где — припомнить не могу...

— А помнишь ли нашу первую встречу? Помнишь обедню в Чудовом?..

Тургенев вскочил с места.

— Да! Это он — это тот самый, который тогда читал Апостола!..

— Тот самый, — мрачно подтвердил Ка-

лашник.

V

В золотой клетке

Ксения очнулась от обморока в незнакомой опочивальне на роскошной и широкой резной кровати. Она лежала в одной сорочке под собольим одеялом, около нее суетились какие-то женщины и растирали ей виски и ладони, стараясь привести в чувство. Доктор Клугер прикладывал ей лед к голове и давал что-то нюхать из какой-то склянки. После долгого обморока Ксения чувствовала страшный упадок сил и такую слабость, что не могла шевельнуть рукой, не могла говорить... Ей хотелось обратиться с расспросами к доктору, к окружающим, но язык ей не повиновался. Даже веки ей трудно было поднять, ей было больно смотреть на свет, и она поспешила закрыть глаза и снова впала в забытие. Но это уже не был обморок, не было бессознательное состояние, а было полное изнеможение, телесное и душевное, вызванное страшными потрясениями нравственными.

Когда она вторично открыла глаза, то в опочивальне было темно, лампы горели перед богатыми образами в серебряных и золотых ризах, три женские фигуры, мирно похрапывая, лежали рядом на ковре в ногах кровати. Ксения сделала усилие, чтобы понять, где она находится и что с ней происходит, но мысль ее еще не работала и сознание отказывалось ей служить. Только уже дня два спустя после страшных событий 10 июня Ксения настолько окрепла, что обратилась к одной из девушек с вопросами:

— Где я? Где брат Федор? Где матушка?

Девушка испуганно посмотрела на Ксению и опрометью бросилась вон из опочивальни.

Ксения еще раз стала озираться кругом, все внимательно осматривая и ко всему приглядываясь, и тут только заметила она, что обе ее руки, в кистях, обмотаны тонкими тряпицами и что она не может шевельнуть ни одним пальцем. И вдруг при взгляде на руки ей припомнилось что-то ужасное, невероятное... Она увидела себя перед какой-то наглухо запертою дверью, в которую она напрасно рвалась и билась, которую напрасно пыта-

лась выломить. А за этою дверью слышались страшные стоны и крики... Да! Это был голос ее брата... Где он?.. Что с ним?.. Что с матерью?..

И страшный крик вырвался из груди несчастной царевны, и снова в изнеможении упала она на подушки, и снова впала в забытие, и словно сквозь сон видела потом, как суетились и бегали около нее какие-то женщины и как подходил к ее изголовью какой-то высокий, плотный мужчина, брал ее за плечо и за руку и что-то невнятно бормотал себе под нос. По счастью для Ксении, она не могла расслышать того, как этот мужчина говорил доктору-немцу:

— Ты мне ее непременно вылегчи, Богдан Богданыч! Никакой казны не пожалею, потому я ее молодому царю показать хочу.

— Первый красивый во вся Москва! — отвечал немец с улыбкой. — Ми его поправим, княз Руцца-Мазальский!..

— То-то, немец! И у тебя, видно, губа не дура!

— Первый красивый — такого другой нет хорошего!..

— Это я и сам знаю! Пусть уже сам царь о ней рассудит, как с ней быть.

Немец с удивлением посмотрел на старого злодея и продолжал перевязку пораненных рук Ксении.

Мало-помалу силы стали возвращаться к Ксении. Ее богатая, могучая натура взяла верх над недугом, и она стала видимо поправляться. Добродушный толстяк немец-доктор, являясь к ней утром, говорил про себя:

— Alles gut! Sehr gut!..[7] Хорошо идет! — прибавлял он громко, потирая руки и приветливо кланяясь царевне.

Но все та же таинственность, то же упорное молчание окружали богатое ложе Ксении. Женская служня, безмолвно исполнявшая все ее приказания, повиновалась чьему-то строгому приказу и не произносила при Ксении ни одного слова, не отвечала ни на один вопрос ее.

Царевна чувствовала, что она по-прежнему находится под стражей, что она только переменила клетку, что из-под одних затворов перешла под другие.

Наконец немец-доктор пообещал Ксении,

что назавтра она может встать с постели и «гуляйт в другой комната», и эта новость очень обрадовала несчастную царевну в ее тягостном заключении. Она целый день думала об этом завтрашнем выходе и заснула спокойнее, чем в предшествующие дни. Жизнь вступала в свои права, заявляла свои требования, пробуждала желанья...

Но каково же было удивление и радость царевны, когда на другой день, открыв глаза, она увидела перед собой свою боярыню-мату... Она глазам не поверила: думала, не во сне ли ей это грезится... Но боярыня-мама не выдержала, увидя, что Ксения пробудилась. Она упала на колени, схватила ее руку и стала целовать, прижимая к груди и обливаясь горячими слезами.

— Царевна моя... Радость ты моя... Голубушка! Привел-таки Бог свидеться!..

Ксения вскочила с постели, стала обнимать старую боярыню и от волнения не могла произнести ни одного слова.

Когда прошел этот первый порыв, Ксения почувствовала, что еще плохо держится на ногах, и опять вынуждена была прилечь на

некоторое время.

Тут мама присела на краешке ее постели, стала гладить ее по руке и смотреть ей в очи, приговаривая:

— Ну слава Богу! Слава Богу! Теперь ты выздоровела, и все такая же, как прежде, красавица писаная! Вот щечки побледнее стали, да волосики спутались... Так мы их расчешем, погоди! Теперь около тебя чужих не будет — все свои, прежние.

— Мама! Да где же я?.. В чьем доме?

— Ох, царевна-голубушка, не приказано мне тебе говорить — и не нудь ты меня! И так натерпелась я всякого страха! Станешь спрашивать — опять нас от тебя прогонят.

— Да кто же? Кто прогонит? Кто прислал тебя ко мне?

— Приехал в Москву прирожденный государь Дмитрий Иванович, приказал тебя царевной величать, всю твою служню тебе воротить и во дворце теремном тебе покои заново отделать... А как отделают, так туда и переедем!

Ксения слушала и ушам не верила — так дико звучали для ее слуха все эти речи бояры-

ни-мамы.

— О ком ты говоришь? — удивленно спросила Ксения. — Какой прирожденный государь мне приказал?.. Ты так зовешь проклятого рас...

Ужас выразился на лице боярыни-мамы. Она поспешила зажать рот Ксении руками.

— Тс-с! Ради Господа Бога! Побереги ты нас, коли себя не бережешь! Мы все из-за тебя пропадем!.. Вон Шуйский-то Василий Иванович — не нам чета, а сказал какое-то гнилое слово не в пору, на третий день приезда государева, так на смерть его осудили!..

— И казнили? — спросила Ксения.

— Нет. На плахе государь его помиловал да в ссылку и отправил...

— Помиловал? — задумчиво произнесла Ксения и прибавила про себя: «Он смеет миловать!».

Но, несмотря на это презрительное восклицание, в представлении Ксении все же возник образ царя, который волен казнить и миловать, карать и жаловать.

— Что же? Значит, он и надо мною тоже сжалился, меня тоже помиловал? — обрати-

лась Ксения к маме.

— Он добрый, дитяtko мое, добрый! Милостивый, говорят... Да зоркий такой — все видит, все знает сам! Всюду один ходит — все сам дозирует...

— Ты говоришь милостивый? Отчего же он только меня одну помиловал?

Боярыня-мама опять засуетилась.

— Не накличь ты беды на нашу голову, матушка царевна! Не приказано нам с тобой ни о чем говорить, а то таких страстей насулено!..

Ксения понурила голову... Она поняла, что она царевной только называется, а на самом деле горькая сирота и несчастная пленница.

VI

Первая встреча

Прошла еще неделя. Ксения среди своих прежних приближенных стала понемногу оживать. Молчание и таинственность, которыми ее окружали, перестали тяготить ее: она привыкла к тому, что о некоторых лицах, о некоторых предметах говорить было нельзя... Мало того, она была даже довольна этим запретом. Ей все казалось, что и брат Федор, и царица Мария разлучены с ней на время, только сосланы... Ей казалось, что рано или поздно она их увидит, что они снова будут жить вместе, и ей страшно было разрушить это очарование, страшно было рассеять тот туман, который покрывал в ее сознании невольную разлуку с матерью и братом.

Покои, отведенные Ксении в неизвестном ей боярском доме, расположены были в ряд, во втором жилье, и всеми окнами выходили в тенистый сад, который по косогору спускался к речке и отовсюду был окружен высоким здоровым тыном.

Из комнаты, смежной с опочивальней, дверь выходила на широкое крыльцо, которое спускалось в сад. Ксения любила сидеть в этой комнате со своими сенными девушками за обычным пяличным рукоделием, любила, прислушиваясь к тихому пению девушек, вдыхать свежий ароматный воздух, которым веяло из сада от душистых трав и цветов, от кустов бузины, жасмина и сирени. Но она долго не решалась выйти в этот незнакомый, чужой сад, по которому свободно бегали и резвились ее боярышни и сенные девушки. Наконец боярыня-мама и боярыня-казначей общими силами выманили царевну из терема на прохладу и приволье зеленой садовой чащи.

— Там, государыня, беседка есть в саду и с вышкой, и с крылечком. Так не дозволишь ли туда боярышням ягоды, да варенье, да воды со льдом снести, будут тебе там песни петь, пока ты будешь прохлаждаться. А нам, старухам, прикажи медку подать, так мы тебе такую сказку расскажем, что тебе в терем из сада идти не захочется.

— Ин будь по-вашему! — согласилась ца-

ревна. — Сегодня мне и самой что-то не сидится в комнате.

И царевна спустилась с крыльца в сад. Впереди по дорожке чинно шли ее три боярышники, которые держали над ней огромный солнешник. За боярышнями следовали сенные девушки и несли ягоды на серебряных блюдах, серебряные жбаны с холодной ключевой водой, горшки с вареньем и кувшины с ягодным квасом и медом.

В беседке, состоявшей из высокого навеса на столбах, разостлали ковры, поставили перед царевной столик, а на нем выставили угощения и прохладительные напитки, которыми царевна жаловала всех из своих рук.

— Ну-ка боярышники! Потешьте царевну, спойте ей песенку, да повеселее! Ты, Варенька, запевай, а вы, девушки, запевалу не выдавайте, подхватывайте.

— А что петь-то будем? — спросила Варенька.

— Пойте: «За морем синичка не пышно жила...»

Варенька выступила перед девушками, которые, весело хихикая и пересмеиваясь, сби-

лись в кучку. Тонким серебристым голоском вывела она:

— За морем синичка не пышно жила — Пиво варивала...

— «Пиво варивала!..» — подхватил хор боярышень и девушек, и сад огласился их свежими, молодыми голосами.

Царевна, слушая их, залюбовалась густой зеленью развесистых деревьев и синевой чистого, ясного, лазуревоего неба, по которому с веселым свистом носились ласточки. В душу ее мало-помалу проникало то спокойствие, которым все кругом дышало, ей захотелось пожить настоящим, не вспоминая о прошедшем, не думая о будущем.

Вдруг песня девушек оборвалась на полуслове... Царевна обернулась к ним и увидела, что все они в смущении и тревоге указывают на дорожку сада, на которой показались две мужские фигуры в богатых боярских платьях.

Царевна взгляделась с изумлением в подходящих бояр и вскочила в ужасе: в одном из них она узнала Рубец-Масальского. Другой, пониже и помоложе его, был ей неизвестен.

— Что ж вы, красные девицы, петь пере-

стали? — нахально обратился Рубец-Масальский, подходя к боярышням. — А мы только разлакомились было на ваши песни...

Царевна Ксения, бледная и взволнованная, обратилась к оторопелой боярыне-маме и сказала твердо:

— Скажи боярину, что девушки без моего приказа не смеют петь, и попроси его уйти отсюда той дорогой, какой он пришел.

Мама царевны, растерявшись, заметалась на месте, делая какие-то знаки глазами, а Рубец-Масальский обратился в ее сторону и, отвесив ей поясной поклон, сказал с особенным ударением:

— Поклон тебе правлю, государыня царевна, а приказа твоего исполнить не могу. Пришел я сюда не своей волей, а по велению нашего законного государя Дмитрия Ивановича. По его велению я и уйду отсюда.

И он почтительно обратился к своему спутнику и спросил его:

— Прикажешь, государь?

Ксения вздрогнула и невольно взглянула на того, к кому обратился Масальский с таким почтением. Она увидела перед собой

статного молодого человека в золотой парчовой чуте, которая ловко и щеголевато обхватывала его крепкую, мужественную фигуру, из-за пестрого польского пояса выглядывала рукоять кривого персидского кинжала, осыпанная рубинами. Некрасивое, но выразительное и смелое лицо его было обращено в сторону царевны, и большие, темные, пламенные очи жадно впивались в нее.

Их взоры встретились, и царевна невольно опустила глаза перед этим упорным и смелым взглядом.

— Государыня царевна, — произнес Дмитрий Иванович сильным и звучным голосом, — не изволь гневаться на боярина. Тут он не виновен: он точно мою волю правил. Я ехал мимо сада, услышал песню девушек и захотел сюда зайти, взглянуть... как ты живешь... И все ли исполнено, что приказал я... К твоему покою...

Ксения подняла на него свои чудные очи и проговорила только:

— Государь, тебе не место здесь, и мне, девице, говорить с тобой негоже... Удались или дозвожь мне удалиться...

И прежде чем Дмитрий собрался ей ответить, Ксения махнула рукой своим боярышням, спустилась с крылечка беседки и быстро скрылась под темным сводом зелени.

А Дмитрий, смущенный и гневный, долго стоял на месте, покручивая свой молодой ус и смотря в глубь садовой чащи.

— Вот она какова! — сказал ему Рубец-Масальский. — Да ты не очень с нею чинись, великий государь! Она — твоя раба...

— Молчи, собака! — гневно крикнул на него Дмитрий, сверкнув глазами. — Это вы с бабами привыкли плеткой управляться, а я недаром жил долго в Польше! Я сумею иначе проложить к сердцу красавицы дорогу. Сумею иначе заставить полюбить меня!

Странное впечатление произвело на Ксению первое свидание с царем Дмитрием. В первый раз в жизни ей пришлось быть так близко к молодому мужчине, пришлось обменяться с чужим, незнакомым ей человеком несколькими словами. Она смутилась этой близостью, она должна была по исконному обычаю терема поскорее удалиться, укрыться от постороннего любопытствующего взгляда.

да... Но она чувствовала, что если бы обычай не побуждал ее к тому, она бы не ушла, она бы поговорила с ним, с этим прирожденным государем Московским.

«Так вот он, этот страшный Дмитрий Иванович! — думала на другой день Ксения, сидя над своими пальцами. — Вот перед кем так трепетал покойный батюшка! Вот кого так ненавидела и боялась моя матушка! Вот кого так страшно проклинали на всех соборах, на всех площадях! Я думала в нем встретить злодея... Чудовище... Думала, что он идет ко мне со злом, что встретит меня укорами, что станет надо мной издеваться, над беззаступной, беззащитной. А он совсем не смотрит злодеем, он пришел с добром, пришел, как мы бывало с матушкой под праздник хаживали по тюрьмам посмотреть на тамошних сидельцев, снести им калач крупитчатый да словом ласковым их ободрить... Да нет же! Он — злодей, обманщик, он воровством прошел на царство!.. Он — нехристь и чернокнижием всем очи отвел! Вот и мне тоже... Ведь я должна бы ненавидеть его, я должна бы ему сказать: «Сгинь, проклятый, пропади, сын Сата-

ны! Прочь с глаз моих, ты — кровопийца!.. Губитель!.. А я? Я только удалилась...»

И в то время как Ксения передумывала эти думы, присматривалась к мудреному золотошвейному узору, кругом ее звучал несмолкаемый хор похвал, восторгов, удивления, обращенных к молодому государю.

— Вот так орел — настоящий орел! — разглагольствовала боярыня-казначей. — Осанка-то какая! А поступь чего стоит? Что там ни говори, сейчас уж видно, что не прост человек, а от царского корени!

— Само собою! — подтвердила мама.

— Где же так наметаться простецу-то! А породу-то настоящую хоть в семи водах перемой — все та же будет!

— А красавец какой! — шептали почти вслух боярышни. — Очи соколиные, брови соболиные! Экому молодцу мудрено ли города брать?

— Да говорят, и мужество-то у него настоящее царское! Львиное! — подзадоривала боярыня-казначей. — Вот в той битве-то, в которой казаки-то его предали, бежали, а царские воеводы верх над ним взяли, в той битве под

ним двух коней убили, а он все бился, все вперед рвался!..

— А тут опять, — вступилась боярыня-кравчая, — чуть только он в Москву приехал, всем льготы, всем награды, никого не забыл! Тотчас разыскал родню свою и всех, кто помогал ему подняться. Романовых вернул из ссылки, Куракиных, Шестовых, Богдана Вельского. А за мать свою послал посольство... Говорят, сам выедет к ней навстречу...

Ксения слышит все, но последние слова особенно глубоко врезаются ей в память. Прерванная беседой окружающих, вереница дум Ксении снова начинает развиваться перед ней и овладевает ее душой до такой степени, что она забывает обо всех, забывает о работе.

«Какой же он обманщик, — думает царица, — коли не боится послать за матерью своей! Ведь если бы он не был сыном ее, если бы он не был настоящим царевичем, он не дерзнул бы показаться ей на глаза... Она его обличила бы, в глаза бы обличила... Ах Боже праведный! Что это за тайна? Кто разгадает, кто разъяснит мне ее!»

VII

Змей-искуситель

Дня два спустя, в то время, когда Ксения сидела в комнате со своими боярышнями за обычным пяличным делом, к ней вошла боярыня-мама и заявила не без тревоги:

— Царевна, к тебе от государя стольник с поручением и с поклоном.

Ксения вздрогнула, очнувшись от своей думы, и поспешила ответить:

— Зовите его сюда скорее...

Почтенный старик, один из бывших стольников царицы Марьи, вступил в комнату с низким поклоном и, подавая корзину с вишнями, произнес:

— Великий государь и великий князь Дмитрий Иванович всея Руси шлет тебе, государыне царевне, поклон свой и кузовок новины — вишенки владимирской.

— Благодари великого государя Дмитрия Ивановича за память и за ласку и передай ему также мой поклон, — с некоторой тревогой отвечала Ксения, знаком приказывая бо-

рыне-кравчей принять вишни.

— А еще, — продолжал стольник, — великий государь приказал тебе сказать, что завтра перед обедом изволит пожаловать сюда для тайной беседы с тобою.

Ксения в величайшем смущении поднялась со своего места и не сразу ответила стольнику, так боролись в ней противоположные чувства! Но наконец она совладала с собой и сказала стольнику:

— Скажи великому государю, что я буду ждать его приезда...

Весь день и всю ночь Ксения так волновалась, что сон почти ни на минуту не смыкал ее очей. То она говорила себе, что ей не следовало вступать в беседу с этим богоотступником, обманщиком, с этим врагом всей ее семьи... То вдруг ей казалось, что царь Дмитрий Иванович втайне от других хочет сообщить ей великую радость: возвратить из ссылки ее мать и брата. То ей приходило в голову, что она должна его принять наперекор всем теремным обычаям, наперекор стыду девичьему и высказать ему все то, что на душе у нее накипело, высказать ему прямо, что она его

ненавидит, презирает, что если он погубил ее мать и брата, то она себе желает только смерти...

Но когда пришли к ней утром ее сенные боярышни и боярыня-мама и стали с озабоченным видом расспрашивать царевну о том, какой наряд угодно ей выбрать и какой убор надеть к наряду, царевна выбрала из всех своих нарядов тот самый, в котором когда-то из тайника смотрела на пиршество в Грановитой палате. Но в угоду строгому теремному обычаю она надела густую белую фату, которая прикрыла ее лицо и ее дивную косу.

Страшно взволнованная вышла Ксения в комнату, стараясь придать себе вид гордого спокойствия, и не могла скрыть своей тревоги от окружающих, которые старались истолковать по-своему предстоящее посещение государя. По их взглядам и суетливым движениям царевна могла догадаться, что все это бабье царство не менее ее взволновано ожиданием, сомнением и догадками.

Ровно за час до полудня царевну известили, что государь в сопровождении Басманова и еще двоих ближних бояр подъехал к крыль-

ду. Через несколько минут, проведенных Ксенией в самом тягостном ожидании, дверь в сени распахнулась настежь, и двое бояр вступили в комнату. Затем в комнату вошел царь Дмитрий в белом парчовом кафтане с золотыми разводами и в небольшой малиновой бархатной шапочке, усаженной по краю золотыми образцами. Все боярыни, боярышни и служня царевны встретили его общим земным поклоном, на который он отвечал приветливым кивком головы. Ксения, трепетная и охладевшая, привстала ему навстречу и снова поспешила опуститься в кресло.

Стряпчие внесли за государем складной золоченый стул, положили на него бархатную подушку и удалились из комнаты вместе с боярами и со всеми придворными царевны. Царь опустился на стул, уставился на Ксению и несколько мгновений сидел молча.

Тягостное молчание было прервано Ксенией.

— Великий государь, — сказала она дрожащим, нетвердым голосом, — я готова выслушать твою волю... Знаю, что моя судьба в твоей руке! Не терзай же меня, объяви свою во-

лю скорее.

— Вижу, царевна, — сказал царь, — что злые люди много тебе насажали обо мне. Вижу, что ты мне не веришь, что ты меня винишь во всех бедах Русской земли... Винишь меня и в смерти твоих близких... матери и брата...

— В смерти! — с ужасом повторила Ксения. — Так, значит, их уж нет в живых!

И закрыв лицо руками, она горько заплакала.

Царь Дмитрий вскочил со своего места.

— Клянусь Всемогущим Богом! — воскликнул он торжественно, поднимая правую руку и указывая на иконы. — Клянусь, что я в их смерти неповинен! Без моего приказа совершилась над ними воля Божья...

— Воля Божья!.. — воскликнула в свою очередь Ксения, откидывая фату от лица и устремляя на Дмитрия гневный, пламенный взор очей, еще мокрых от слез. — Воля Божья! Твоя была тут воля! Ты во всем виновен, ты их убийца и гнусное убийство дерзаешь называть волей Божьей!

— Царевна! — твердо и смело произнес

Дмитрий. — Ни от кого другого не потерпел бы я этих слов! Договорить бы не дал и уж покончил бы с дерзким! Но ты говоришь не знаячи, и Бог тебе судья. А если ты хочешь правду знать, так я тебе скажу, кто и в смерти, и в крови пролитой виновен...

Ксения обратила на него удивленный, трепетный взгляд.

— Виновен твой отец.

— Отец мой?! Ты лжешь!

— Нет, я не лгу и в том сошлюсь я на всю землю Русскую. Во всей земле, быть может, ты одна не знаешь, что он меня еще с пелен преследовал и гнал... Что он сослал меня с родными дядями и с матерью в дальний удел... Что он и тем не успокоился и подослал ко мне убийц... И если бы Бог не спас меня, и если б добрые люди не укрыли от убийц... Меня, невинного младенца...

— Быть не может! Все это ложь и клевета!

— Клевета? Пусть так! Но то не клевета, что люди, присланные из Москвы Борисом, зарезали младенца Дмитрия-царевича и что угличане всем миром их побили и подверглись страшной казни от Бориса. Верных слуг

царевича и всю родню его Борис сослал и разметал во все концы земли и после брата Федора спокойно сел на царство. Он позабыл, — торжественно добавил Дмитрий, — что есть над царями земными Царь Небесный, Сердцеводец и Мститель за невинно пролитую кровь!

Дмитрий смолк на мгновенье. Ксения его не прерывала.

— Спасенный от ножа убийц, я долго скитался и скрылся наконец под иноческой рясой... Те, кто спас меня, мне помогли еще раз избежать сыщиков Борисовых и указали путь мне за рубеж. Здесь, сбросив рясу, я нашел себе приют у вольницы казацкой, делил с ней походы, опасности, труды, закалялся мужеством и наконец решился искать себе защиты в соседней Польше, а оттуда кликнуть клич на всю землю Русскую. С ничтожной горстью сбродной рати явился я на Русь, и крови проливать я не хотел. Я написал Борису: «Опомнись... Отдай нам наше, и мы тебе, для Бога, отпустим твои вины». Он с презрением отвергнул, выслал рать огромную и думал раздавить меня одним ударом. Но я, наде-

ясь на Бога, как Давид, когда он выступал на Голиафа, я одолел Бориса. И одолел не черно-книжеством, не волшебством, как он в грамотах писал, а тем, что мое дело было правое, тем, что вся земля во мне признала законного царя!

Дмитрий смолк на мгновение, как бы собираясь с мыслями и затрудняясь в подборе слов, и продолжал:

— Видит Бог, что я не думал губить семью Бориса... Я только удалить хотел царя Федора и вдовую царицу Марью. Здешний бунт черни, и буйство ее над царской семьей, и заключение, которому ее подвергли, и насилие над нею — все это шло не от меня! Я узнал об этом в Туле и оплакал юного Федора... Он не был ни в чем виноват и пал несчастной жертвой за вину отца. За кровь, невинно пролитую в Угличе, здесь Бог воздал другой невинной кровью. Это ли не суд Божий?..

И Дмитрий, вопрошая взглядом, обратился к Ксении. Но Ксения отвечала только горькими, обильными слезами, которые ручьями текли по ее щекам и возбуждали в сердце юноши горячее сочувствие к несчастной ее

судьбе.

— Царевна, — сказал Дмитрий после некоторого молчания, — я пришел к тебе с добром, пришел сказать, что я забываю все вины твоих отца и матери передо мною, что я хочу тебе добра... Я вернул тебе твою казну, я приказал тебя и содержать, и почитать, как подобает царевне... Отложи ненависть... Былого нам не воротить и не исправить... Но зачем же дальше-то смотреть врагами друг на друга, когда я все готов исполнить, все сделать для твоего покоя и счастья.

— Нет больше счастья для меня! Я все счастье свое похоронила! — сказала Ксения, печально опуская голову.

— Но теперь, царевна, ты знаешь всю правду, ты видишь, что не я один виновен в пролитой крови? Не на мне одном лежит ответ... И неужели ты можешь по-прежнему считать меня обманщиком, злодеем, врагом своим? Скажи...

Но Ксения на все эти вопросы отвечала только слезами.

Царь Дмитрий поднялся с места и сказал:

— Я первый к тебе пришел... Я хотел загла-

дить... заставить позабыть тебя и зло, и кровь, и горькие обиды... Как я забыл их. Теперь твоя уж воля, царевна, отвернуться ли от меня, как от врага, или считать меня своим защитником и другом.

С этими словами царь Дмитрий, поднявшись с места, поклонился Ксении и вышел из комнаты, и долго-долго после его ухода еще лились слезы царевны, неутешные, горькие, никому не зримые, никому не постижимые.

VIII

Две исповеди

Федор Калашник за последнее время совсем измаялся, ухаживая за своим другом Петром Михайловичем Тургеневым, который казался ему полоумным: он то вскакивал по ночам и ходил взад и вперед по своей опочивальне, то вслух разговаривал сам с собою и размахивал руками, днем иногда по целым часам он сидел неподвижно где-нибудь в углу на лавке, и никто не мог от него добиться слова. Федор Иванович только о том тревожился, как бы Тургенев на себя рук не наложил, и

всюду ходил за ним по пятам.

— Голубчик Петр Михайлович! — говорил он не раз, подсаживаясь к своему другу и ласково глядя его по плечу. — Да что с тобой? Скажи ты мне! Обмолвись хоть словечком. Ведь ты знаешь, какой я друг тебе: с тобой в огонь и в воду... Что у тебя на душе?

— Тяжко мне!.. Горько мне! — простонет бывало Тургенев ему в ответ и опять замолкнет и повесит голову.

— Да что горько-то? Что тяжело-то?

— Что спрашиваешь? Аль не знаешь? — неохотно отзывался Тургенев и старался поскорее уйти от докучных вопросов.

Затем Тургенев стал пропадать по целым дням из дома, и как ни добивался, как ни пытался выспросить его Федор Иванович, где он проводит дни и что он затевает, Тургенев отмалчивался и все только становился мрачнее и мрачнее. Калашник ясно видел, что его друга точит какой-то тайный внутренний червь.

Однажды поздно вечером Тургенев вернулся домой и прямо прошел в светелку Федора Калашника.

— Федор, я давно хотел тебе душу открыть,

да не мог... Уж больно черно у меня на душе было, больно много зла накопилось в ней... Думал я, что мне и головы на плечах не сносить будет... Да Господь надо мною смиловался!

— Говори же, говори скорее! Что у тебя было на душе... Что ты затевал?

— Я нож точил на ворога лютого... На того, что змеем огненным повадился теперь в царевнин терем летать... Я его выслеживал, я над его душой стоял... Да, видно, не судьба ему от моей руки погибнуть.

— Что ты? Что ты, Петр Михайлович! Тебя и слушать-то страшно!

— А все же слушай, не перебивай меня! Дай мне, как у попа на духу, всю душу перед тобой очистить!.. Прослышал я, что скоро царевна из дома Рубец-Масальского переселится в прежние свои покои в теремном дворце, что этот змей-искуситель уговорил ее забыть все зло и всю вражду и примириться с ним... И царевна всей душой на это согласилась: он ее околдовал!.. Она теперь им только бредит. А понимаешь ли, чего он хочет от нее добиться? У него ведь в Польше припасена невеста:

Мнишковна, вельможи тамошнего дочь. Вот я и надумал его убить, и целые пять дней все поджидал его, все случая искал. Наконец вчера мы повстречались с ним лицом к лицу, глаз на глаз — и рука не поднялась на злое дело...

— Слава Богу! — с чувством произнес Калашник. — Другое дело в битве, в рукопашной свалке, в честном бою, а тайно из-за угла пырнуть ножом! Не наше это дело!..

— Да вижу, что не наше. Вот и решился я на иное. Завтра через боярышню Варвару я проберусь к царевне в сад, в тот час, когда она одна с боярышней гуляет, брошусь ей в ноги, открою, укажу, в какую пропасть она идет, и посмотрю, что скажет она. Если испугается она его сетей проклятых и козней вражеских, тогда мы ей предложим бежать, и умчим ее далеко от Москвы, и скроем до поры до времени. А коли нет... Коли она уж настолько сердцем предалась ему, тогда уж, значит, мне и жить не надо...

— Брат! Неужели ты душу свою из-за нее загубишь? Опомнись!

— Нет. Я тогда пойду и всенародно скажу

обманщику, что он обманщик, что он расстрига окаянный, а не царь, и пусть он делает со мной, что хочет. По крайности недаром жизнь отдам... Другим слепым, быть может, глаза открою!

Федор Калашник посмотрел прямо в глаза Тургеневу и сказал твердо:

— Тогда уж и меня бери с собою! Я не остану от тебя... Вместе мы жили, вместе дружили, вместе и на плаху пойдем, рука об руку! За правое дело и на плаху лечь не стыдно!

И друзья крепко-крепко обнялись и братским поцелуем запечатлели свой неразрывный союз на жизнь и на смерть.

...Царевна Ксения после тайного объяснения с царем Дмитрием решительно потеряла почву под ногами. Все то, что поддерживало в ней ненависть и злобу против Дмитрия, все — даже и смерть матери и брата — вдруг утратило в глазах ее прежнее значение. Она услышала в правдивом, убедительном рассказе Дмитрия о таких страшных деяниях отца своего, которые никогда ей и в голову не приходили, ей, знавшей Бориса только как нежного родителя и снисходительного мужа. Царь

ревне теперь представилась вся борьба царя Дмитрия против Бориса не дерзким посягательством какого-то проходимца, обманщика, какого-то расстриги на права царя, избранного народом, а вполне законной борьбой за обладание престолом отцов и дедов. Самая личность Дмитрия явилась перед царевной в ином, новом свете: она увидела в нем мужественного, неустрашимого юношу, который через тысячи препятствий, опасностей и неудач проложил себе дорогу к цели, указанной ему самим Богом. Все страдания, все унижения и преследования, испытанные в детстве Дмитрием, были зачтены ему в особую заслугу, и теперь в сердце царевны возбуждали к нему сочувствие и жалость, которые так часто и так близко совпадают с другим, более нежным чувством.

Отдав дань слезам и сокрушению своему горю, Ксения, еще ничего не выдавшая, кроме сытного и скучного прозябания в четырех стенах терема, стала невольно оглядываться кругом себя, стала искать какой-нибудь разумной цели, какого-нибудь осмысления жизни. Она в своем несносном положении не то

пленницы, не то заключенницы не смела мечтать о том семейном счастье, которое прежде составляло главную цель всех ее стремлений и желаний, она искала хоть какой-нибудь перемены, какой-нибудь временной утехи, какого-нибудь отвлечения от помыслов о той монастырской келье, которая начинала с полной ясностью представляться ей как неизбежный исход в ближайшем будущем. Этот исход пугал ее, раздражал, печалил до глубины души... А между тем только келья и могла приютить царевну-сироту, для которой уже не оставалось никакого теплого родного гнезда, никакого уголка во всей Русской земле... И когда через неделю после первой тайной беседы с Дмитрием царевна Ксения получила от него известие, что он думает завтра опять приехать к ней, она прежде всего со страхом подумала: «Царь Дмитрий придет ко мне напомнить о келье... Не стать ему терпеть меня, дочь врага своего, здесь на Москве... Он, верно, мне укажет отсюда путь в дальнюю обитель!..»

Но это мрачное настроение мысли не помешало Ксении позаботиться о своем наряде.

Она выбрала темно-вишневое, смиренное платье, не украшенное никакими драгоценностями, но которое до такой степени возвышало блеск ее красоты, придавало столько прелести матово-бледному лицу и ее большим прекрасным глазам, что на нее невозможно было смотреть без очарования...

Когда Дмитрий вошел в ее комнату и после обычных приветствий всем приказал удалиться и оставить его с царевной наедине, Ксения прежде всего сказала ему:

— Царь-государь, я знаю, что тебя ко мне приводит, и не дивлюсь...

— Как? — перебил Дмитрий с видимой тревогой. — Ты уже знаешь? Но как же могла ты угадать?..

— Не трудно было угадать, — грустно качая головой, сказала Ксения. — У меня, сироты, нет на белом свете приюта иного, кроме обители... Туда мне и путь лежит! И ты пришел мне об этом напомнить...

— Царевна!

— Не скрывайся! Я знаю, что я тебе здесь помеха... Приказывай, где должна я себе келью искать?

— Царевна, мне это и в мысль не вмещается... Я сам провел многие годы в тесном заключении, в келье, которая меня скрывала от ножей убийц. Я знаю, что такое келья! Знаю, сколько я в ней выстрадал, сколько слез выплакал, и никого, даже и врага своего, против воли не запру в четыре стены. Нет! Лучше прямо голову врагу снести с плеч, чем всю жизнь томить его за ненавистной оградой... Но разве же ты мне враг? Разве ты мне помеха?

— Я дочь родная твоего исконного врага, который погибели твоей искал, желал...

— Да разве ты ищешь ее? Разве ты желаешь? Разве ты не простила мне пролитой крови, после того как узнала все мои беды, все мои скитания по белу свету?..

Ксения потупила очи и перебирала своими тонкими пальцами кружево рукава, между тем как Дмитрий впивался в нее смелыми, горящими очами.

— Нет, — продолжал он, — ты не угадала, зачем я к тебе приехал! Не зло, а добро и ласка были у меня на уме...

— Ласка! — тревожно повторила Ксения и

тоскливо отодвинулась от Дмитрия на своем кресле.

— Да! Добро и ласка! Я ехал утешить тебя и душу свою открыть. То высказать тебе хочу, о чем я и дни и ночи думал и чего не хочу более скрывать от тебя, потому что уж и сил на это не хватает... Слушай же, царевна, и не перебивай меня.

Ксения, страшно взволнованная и бледная, вся обратилась в слух, боясь пропустить хотя бы единое слово царя Дмитрия. Она понимала, она чувствовала, что теперь вся судьба ее, все ее настоящее и будущее — в руках этого человека.

— В ту пору, когда я был иноком Чудова монастыря и ждал, нетерпеливо ждал избавления из моей тяжелой неволи, у меня была только одна отрада... Случалось, что ты, царевна, приезжала к нам в собор и становилась на молитву в нашем храме. Я ненавидел твоего отца и всю твою семью, я в ту пору клялся погубить его, клялся мстить ему за все мои несчастья, за сиротство и за неволю... Но когда я тебя видел, буря злобы и мести затихала во мне на мгновенье, я забывал обо всем,

и я только тебя одну видел...

Дмитрий был так взволнован, когда произносил эти последние слова, что голос его дрогнул, и он должен был приостановиться на минуту; переведя дыхание, он овладел собой настолько, что мог продолжать:

— В ту пору я не знал еще ни людей, ни жизни... Я не знал женской ласки. И ты, царица, ты казалась мне ярким, горячим солнцем, которое жгло меня своими лучами, и кровь во мне кипела так сильно, что я ни днем, ни ночью не мог найти покоя от твоих чудных глаз, от твоей девичьей красоты... Все тянуло меня к тебе, меня, ничтожного инока, к тебе, царице, и я плакал слезами злобы и отчаянья на моем жестком ложе, сознавая, как ты высоко стоишь надо мною, как далеко мне до тебя, до царственного солнца, ненароком заронившего лучи в нашу обитель!

Ксения хотела остановить царя Дмитрия, хотела подняться с места, хотела сказать ему, что девичий стыд не позволяет ей слушать такие речи, но сердце ее билось так сильно, грудь так усиленно дышала, что она не могла произнести ни одного слова, ни одного звука.

— Затем, — продолжал Дмитрий, — бурная судьбина унесла меня далеко от Москвы и повела иным путем на верх почестей и славы. Я много видел блеска, шума, красоты, много гордых красавиц искали моего взгляда, добились моей ласки, я слышал много лести, много похвал, которые мне кружили голову... Я много раз в кровавой сече видел перед собою смерть и страдание... Я видел народные толпы, видел целые города и области, которые падали к ногам моим и покорялись моей власти, видел Москву, которая плакала, как один человек, слезами радости и восторга, когда я въезжал в Кремль как законный прирожденный государь всея Руси... Но ничто не могло вырвать из моего сердца твой образ, я не забыл тебя... Я трепетал, чтобы ярость народная не обрушилась на тебя как на дочь Бориса...

— Царь Дмитрий, зачем ты это говоришь? — простионала наконец Ксения. — Зачем я это должна слышать?

— О, дослушай до конца, царевна!.. Как я тебя здесь увидел, так и сказал себе: «Довольно крови пролилось, искуплены вины Бориса»

гибелью его семьи и рода! Зачем же дочь его, ни в чем не повинная, зачем она будет страдать, зачем она загубит жизнь молодую и красу несказанную в мрачной обители? Зачем она прикроет темной рясой грудь и плечи, достойные платна и диадемы? Нет! Пусть она согласится быть моей супругой, пусть разделит со мною и жизнь, и власть, и радость, и счастье и любовью заплатит за ту ненависть, которую питал ко мне ее отец».

Ксения не выдержала: она чувствовала, что голова ее кружится, что кровь приливает горячей волной к ее сердцу, что еще одно слово, одно только слово — и она все позабудет для Дмитрия. Она быстро поднялась с места, с мольбою сложила на груди трепетные руки и сказала:

— Великий государь, пощади меня, бедную сироту, не говори мне более об этом... Я не смею и помыслить... Зачем ты издеваешься над горем моим?

— Я — издеваюсь! — громко воскликнул Дмитрий, вскакивая со своего места. — Я! Царевна, я тебе руку протягиваю... Опирайся на нее и ничего не бойся. Я тебя супругой введу в

мой дом!

— Царь-государь! О!.. Дай же мне подумать! Не торопи меня с ответом!..

— Будь так! Но не томи и ты меня, поторопись с ответом... Тебе отделаны и приготовлены покои в теремном дворце. Через неделю я пришлю к тебе спросить, согласна ли ты переехать на новоселье. Если согласишься, помни, что туда ты переедешь уже невестой царя Дмитрия.

И, поклонившись Ксении, царь быстро удалился, как бы страшась услышать от нее то слово, которое могло поднять в нем бурю неудержимой, жгучей страсти.

IX

Непрошенный друг

Частые приезды царя Дмитрия Ивановича в дом князя Рубец-Масальского, в котором временно жила царевна Ксения, возбудили толки во всем городе. В народе говорили, что Борисова дочь околдовала молодого царя и женить на себе хочет, в боярстве перешептывались о том, что у государя, мол, губа не дура, знает, где что взять, и добавляли к этому, что за Дмитрия Ивановича опасаться нечего: «Поиграет, мол, да и бросит». Того же взгляда держалась и вся царевнина служня, все ее боярыни и приближенные домашние лица. Никому из них не удалось подслушать тайных бесед царя с Ксенией, никому сама она не обмолвилась о тех беседах ни единым словом, но все по перемене, происшедшей в ней, заключали, что ее свидания с Дмитрием Ивановичем будут иметь важное значение для ее будущего. Это будущее царевны Ксении сделалось предметом оживленных споров среди женского мира, окружавшего царевну, и в

этом споре преобладающую роль играли боярыня-кравчая и боярыня-казначей, против которых боярыня-мама старалась всеми силами отстоять и защитить свою питомицу.

— Совсем твоя царевна голову потеряла! — не раз говорила боярыня-кравчая боярыне-маме. — Только дважды побывал ясный сокол, только перьями тряхнул, а уж она и загорелась пожаром!

— Уж и стыд-то девичий отложила: с глазу на глаз с мужчиной беседует! — подсказывала боярыня-казначей.

— Ну что пустое толковать! — говорила боярыня-мама. — Не сама она виновата! Ведь государю во всем своя воля! Как невест, бывало, для царя-батюшки соберут во дворец, так не то еще бывало...

— Так то, по крайности, невесты царские! А наша царевна нонешнему царю не невеста. Надо бы ей это знать! Ей одна дорога — в монастырь.

— Какая уж невеста? — добавила боярыня-кравчая. — У царя Дмитрия, говорят, княжна какая-то польская выискана! Он и то все в Польшу-то деньги шлет... Неужто же царь Дх-

митрий да на Годуновой женится?

— Тьфу! Пропasti на вас нету! — с досадой говорила мама. — Ничего еще нет, а они уж пророчат!

— Чего пророчить-то? И так ясно! Да ты сама, боярыня, рассуди! Кабы он и захотел на нашей царевне жениться, так его мать, Марфа Федоровна, не допустит. Она для Ксении не теща! Царь Борис ей сколько горя наделал, всю жизнь ее загубил... А она, вишь ты, Борисову дочь-царевну себе в невестки возьмет! Нет, мать моя, эта не из таковских!

— Говорят, как только привезли-то ее из обители, так тотчас после встречи с сыном она об Годуновых расспросила да и говорит будто: «А эту зачем в Москве оставили?».

— Ах вы сороки бесхвостые! — гневно крикнула боярыня-мама на своих достойных подруг и товарок. — Смеее вы этокое поносное слово про великих государей говорить! Небось как жива была Марья Григорьевна, так следочек ее целовали и то себе за честь ставили, а нынче дочке ее и служите — не служите!..

— Ну ты не очень пыли, Мавра Ивановна!

Мы ведь и сами с усами! А что тебе правда про царевну не нравится, так разве мы в том причинны?

— Какая там правда?! Посидела девка дважды с глазу на глаз с царем, да и то потому, что ему не скажешь: «Вот тебе Бог, а вот и порог», а уж вы и горло распустили... А коли на правду пошло, так вас только то и злит, что вас не спросили. Боитесь, что на свадьбе чаркой обнесут!

И боярыня-мама, сердито ворча и отмахиваясь руками, отходила от боярынь, которые заливались громким и недобрый смехом.

Но злые языки были отчасти правы в том, что говорили о царевне. Горячее признание царя Дмитрия Ивановича совсем вскружило голову Ксении и вновь пробудило в груди ее ту жажду счастья, ту жажду жизни, света и радости, которой она уже давно не ощущала среди постигших ее скорбей, утрат и бедствий. И чем сильнее, чем могущественнее отзывались в сердце Ксении эти призывы к жизни и счастью, тем менее была она способна противиться им и подчинять свою волю спокойным решениям разума. Она говорила

себе: «Теперь или никогда!.. Или к нему, или в могилу!»

И сердце ее переполнялось благодарностью к Дмитрию, который мог бы так страшно отомстить Борису позором его дочери и так великодушно протягивал ей руку, так честно предлагал ей разделить с ним и власть, и жизнь, и счастье. И вот мечты об этом счастье так охватили душу Ксении, что в ней не осталось места никаким иным помыслам, никаким иным ощущениям, никаким желанием... День и ночь Ксения думала только о Дмитрии, день и ночь стремилась душою к нему и начинала уж жалеть о том, что сама на целую неделю отдала от себя свое счастье. Она открылась Вареньке, рассказала ей о беседе с царем Дмитрием, о своих надеждах и ожиданиях, целыми часами сидела с нею в саду под развесистым кленом и все говорила с боярышней о Дмитрии, о его таинственной судьбе, о его скитаниях, о его царственном благородстве и великодушии, говорила ей о своем наступающем счастье, наслаждаясь чудным летним вечером, который распространял живительную прохладу под густыми

ветвями и обливал огненными лучами заката вершины старых деревьев.

— Он добрый, Варенька! Он только смотрит таким суровым... Уж очень он много бед на своем веку видел! — говорила царевна, заглядывая в очи своей подруги.

— Уж как же не добрый, государыня царевна, коли он князя Василья Шуйского на плахе помиловал, а теперь, на радостях, говорят, и из ссылки вернул, и по-прежнему ближним боярином сделал.

— Василья Шуйского, который на него злоумыслил... И нас всех загубил своим вероломством... Добрый, хороший он, Варенька, и когда я его царицей буду, он еще добрее будет! Варенька! — вдруг спохватилась царевна. — Посмотри-ка! Что это?..

И она указала Вареньке в чащу сада впереди себя, на ту дорожку, по которой им нужно было возвращаться к дому. Две мужские фигуры, одна повыше, другая пониже, вышли там из-за кустов и ясно выделялись на темном поле зелени.

Первым чувством царевны был испуг, она хотела крикнуть и бежать... Но Варенька

шепнула ей, что, может быть, эти люди посланы сюда с тайной вестью от царя Дмитрия.

— Полно путаться их, царевна, пойдем к ним прямо. Ты видишь, они нас ждут?

И она смело пошла навстречу незнакомцам. Когда царевна подошла к ним на расстояние нескольких шагов, так что можно было даже рассмотреть их лица, она убедилась в том, что эти люди не таят никакого злого умысла. Они оба сняли шапки и отвесили по низкому поклону. Один из них, тот, что был пониже ростом, показался даже знакомым царевне, она вспоминала, что где-то уж видела это красивое лицо с курчавой черной бородой и мягкими, добрыми, карими глазами.

— Что вы за люди? Как сюда зашли? — спросила царевна, подходя к чернявому молодцу.

Тот пал на колени перед царевной и сказал ей:

— Государыня царевна, мы люди честные, не воры, не обманщики, твоему отцу верные слуги! Зашли мы сюда доброй волей, чтобы тебя от зла оберечь. Не пугайся нас, прикажи слово молвить.

— Да кто же вы такие? Как тебя звать, добрый молодец? — спросила царица, всматриваясь в лицо говорившего.

— Зовут меня, государыня, Петром Тургеневым, а товарища моего Федором Калашником. Ты меня изволила уж не раз видеть: то был я воеводами после победы со знаменами к покойному царю Борису прислан, а то привез покойному братцу твоему весть об измене проклятого Петьки Басманова.

— А! Да! Помню, — рассеянно и поспешно проговорила Ксения, как бы стараясь поскорее отделаться от неприятных и тяжелых воспоминаний. — Но что же теперь тебе нужно? Говори, если ты точно добрый человек...

— Отошли боярышню, государыня, — сказал Тургенев, поднимаясь с колен. — Я с тобой говорить могу только с глазу на глаз.

Царица шепнула Вареньке на ухо:

— Отойди от меня недалечко и будь под рукою.

Калашник по знаку Тургенева исчез в кустах. Ксения опустилась на дерновую скамью и сказала:

— Говори скорее, я слушаю.

— Государыня царица, — начал Тургенев, — мы присягали на верность твоему батюшке, и не ему одному, а и царице Марье, и братцу твоему, царю Федору, и тебе, государыня. Их всех Господь прибрал, и злые люди над ними грех совершили, в крови их омыли руки свои, но тебя сохранил Господь... Сохранна и присяга наша тебе в верности, и помним мы, что должны тебе до гроба служить верой и правдой.

Царица подняла на Тургенева свои чудные очи, в которых ясно выражались сомнения и вопрос.

— И вот, помня ту присягу, государыня, — продолжал Тургенев, — и слыша, в каком ты живешь здесь утеснении от нового государя и от его пособников и злодеев, пришли мы тебя от них избавить. Готово у нас все для побега: и люди, и лошади — и только прикажи, государыня, сегодня ночью умчим тебя, куда сама велишь.

Царица не ожидала такого странного оборота и была не только удивлена, но почти разгневана излишней преданностью и усердием этого верного слуги. Она насупила бро-

ви и, спокойно обратясь к Тургеневу, сказала: — Ты ошибаешься, и тот, кто насказал тебе об утеснении моем и об обидах, чинимых мне, тот лжу взводит на государя Дмитрия Ивановича. Я его милостью довольна и ни на что не жалуюсь.

Не смею роптать на Божью волю... Притом я знаю, что царь Дмитрий не виновен в злодеяниях бояр и в гибели моих родных и близких... Я не смею и думать о том, чтобы бежать отсюда... Я из воли государя не выступлю ни шагу...

Тургенев вздрогнул при этих словах царевны и сказал:

— Ужели ты и тогда, государыня, не выступишь из воли царя Дмитрия, когда он поведет тебя на верную погибель?

— Как смеешь... ты это говорить? — гневно воскликнула Ксения, поднимаясь с лавки. — Какая гибель? В чем?

— Не гневайся, государыня царевна, не посетуй на меня за правду! Смею я говорить то, что вся Москва уж говорит, и не шепотом, а во весь голос трубит... Все говорят, что царь Дмитрий собирается тебя отсюда перевезть к

себе поближе в теремной дворец и что готовит себе на потеху...

— Замолчишь ли ты, дерзкий холоп! — крикнула царица. — Ты, верно, сюда боярами подослан сеять раздор и смуту! Прочь отсюда, или я криком соберу людей, и ты будешь...

— Не дерзкий я холоп, царица, а верный раб твой до гроба и знаю, что говорю... Недаром проклинали его на площади, недаром сверженный им патриарх писал повсюду в грамотах, что он глаза отводит колдовством да чернокнижничеством!.. Он и тебя околдовал, он и тебе глаза отвел! А нас он не обманет... Мы тогда еще видали его, как он здесь в Чудовой обители был иноком!.. Мы знаем, что он обманщик, а не прямой наш царь. Я это прямо говорю, я и креста ему не целовал и целовать не стану! И если я увижу, что он тебя не пощадит и замысел свой исполнит, вот разрази меня Господь (и тут Тургенев поднял вверх руку с крестным знаменем), если я не выйду на площадь и не объявлю его обмана перед всем народом!

Слова Тургенева как ножом полоснули ца-

ревну по сердцу, но правдивость и уверенность, с которыми он говорил, смирили ее гнев.

— Над царями истинными Бог блюдет и хранит их от крамольников! — сказала царевна, собираясь уходить. — Он блюдет и над царем Дмитрием и возвел его на прародительский престол через сколько бед и напастей... Смотри же, не играй напрасно головой своей!

— Дорога мне голова моя, государыня, как дорога девице честь девичья, — сказал Тургенев, меняясь в лице. — Но я голову спокойно понесу на плаху, коли придется помирать за правду! А тебе, великая государыня, одно скажу: не сумела ты оценить верного слугу, не сумела ты от него правды выслушать, повелела ты ему быть в смертной казни! Ин будь по твоему... Прости, государыня! Не поминай лихом верного слуги! Дай тебе Бог всякого счастья!

И он поклонился Ксении в землю, потом медленно, с видимым усилием, как бы подавляя в себе какое-то тяжелое чувство, свернул в кусты и скрылся из глаз царевны, которой

показалось, что она слышит в кустах чьи-то глухие рыдания.

— Варенька! Варенька! — крикнула царица на боярышне. — Домой, поскорее домой пойдем! Мне страшно, мне страшно здесь оставаться!

Х

В хоромах Царицы Марфы

С тех пор, как Ксения переселилась в отведенные ей покои теремного дворца, между боярами пошли споры.

— Что бы это значило? Как это понимать надо? — слышались всюду одни и те же вопросы, как только где-нибудь сходились двое-трое бояр.

— Да что понимать-то? Плохо, да и все тут! Говорят, на Годуновой жениться ладит.

— Как же так? И в Польше у него невеста, и здесь? Этого и в толк уж не возьмешь... На двух разом, что ли, он жениться собирается?

— Экое ты слово-то брякнул? Нешто так можно о государе говорить! Ну как прослышат?

— А по-твоему, как же?

— А по-моему, надо у Шуйского у Василья спросить. Тот все лучше нас знает.

И спорившие обращались по царском выходе к Шуйскому и просили его просветить их умом-разумом в мудренном вопросе о царской женитьбе.

— Ничего знать не знаю и ведать не ведаю! — отвечал, лукаво улыбаясь и моргая хитрыми глазками, князь Василий.

— Уж как же тебе не знать? — говорили ему бояре. — Ты теперь опять у царя в милости, в ближних боярах его состоишь, у царицы-инокини тоже небось ежедень бываешь.

— Так ведь, други вы мои, царь у меня не спрашивается, а царица мне не сказывает, откуда же мне знатье-то взять? — отшучивался Шуйский.

— Да полно тебе лукавить! — осадил его князь Хворостинин. — Ты напрямик скажи, что тебе ведомо? Ведь с Польшей переговаривается царь об невесте, о Мнишковне?

— Ну, переговаривается! А больше-то что? — отвечал Шуйский.

— Значит, он оттуда эту невесту сюда вы-

везет да на ней и женится.

— Может, женится, а может, и так время без женитьбы проведет, пока свои дела с Польшей не уладит.

— Значит, это пустое толкуют, будто на Ксению Борисовну жребий пал?

— А почему знать — пустое ли! — насупившись, отвечал Шуйский. — Говорят, на будущей неделе ее царской невестой объявят. И мудреного нет: она красавица писаная, ну и приколдовала его своими черными очами... А ведь царю над ней воля вольная.

Бояре решительно становились в тупик после подобной беседы с Шуйским, а тот, пользуясь минутой молчания и недоумений, быстро отходил от них и уклонялся от докучных вопросов.

— Он все знает, старый лукавец! — говорил товарищам боярин Михайло Салтыков. — Да ничего не скажет... Ни в чем себя не выдаст! После ссылки, как воротился сюда, такой лисой прикидывается, что и смотреть-то мерзко! И к царю в душу влез, и к инокине Марфе Федоровне — ежедень там на поклоне... На первых еще порах как жутко ему там

приходилось!.. Бывало, царица по два, по три часа его выдерживала на ногах, пока допустит свои очи ясные увидеть, а тут уж, говорят, он к ней и в милость втерся, и теперь уж жалуется к руке и с ним беседует.

— Да вот постой, недолго будет Шуйскому простор! — перебил Хворостинин. — Скоро вернется Федор Никитич Романов с Севера, опять власть в думе заберет и не даст хозяйничать князю Василью!

— Эх ты хватил! — заметил Салтыков. — Да ведь вернется-то уж не Федор Никитич, а инок Филарет. Ведь он уж рясы-то не скинет! Его и теперь уж прочат в ростовские митрополиты... Да говорят, что он и сам не хочет более путаться в мирские дела!

— Ну, тогда уж трудно от Шуйского нам защититься... Он как раз и царство, и царя — все в руки заберет, и не скоро мы на него найдем управу. Ведь он, как уж, из рук скользит!..

Покои, отведенные в Вознесенском монастыре для царицы-инокини Марфы Федоровны, скорее напоминали женскую половину теремного дворца, нежели скромную келью отшельницы. Царь Дмитрий приказал не жа-

леть денег на отделку этих покоев. Особенно роскошно убрана была царицына «комната». Своды в ней были расписаны цветами и травами, карнизы, стояки дверей и окон раззолочены, стены обвешаны цветными сукнами, лавки прикрыты пестрыми коврами и мягкими подушками. Богатая золотая и серебряная утварь украшала поставцы по углам комнаты, тяжелое паникадило свешивалось со сводов на узорных цепях, на особом столике стояли «часы звенящие» в виде бронзового верблюда, на котором ехал араб. Весь передний угол был занят иконами, крестами и складнями, которые блистали золотом, серебром, жемчугом и камнями, отражая огни лампад и свечей, теплившихся над высоким аналоем.

Сама царица Марфа, наряженная в богатую иноческую одежду из дорогих шелковых материй, сидела в кресле у столика. На нем навалены были грудой те дорогие подношения, которыми ежедневно били ей челом усердные поклонники и почитатели. А таких явилось у нее бесчисленное множество с тех пор, как по мановению сына-царя она бы-

ла вызвана из дальней и тягостной ссылки и с величайшими почестями привезена в Москву.

Во всем наряде царицы только темный головной иноческий убор да четки из крупных рубинов и изумрудов, намотанные на руку, напоминали, что царица Марфа еще имела иноческий облик.

Царица-инокиня была окружена своими постельницами и стряпчими, пересматривала и передавала им на хранение все дары, поднесенные ей накануне, когда ей доложили о приходе князя Василия Шуйского.

По знаку царицы-инокини все вышли из комнаты и оставили ее с Шуйским с глазу на глаз.

— Ну, князь Василий, — обратилась к нему царица с заметным нетерпением и любопытством, — какие вести под полою мне принес?

— Великая государыня царица, боюсь тебя тревожить... Боюсь прогневить... И то уж я, твой холоп и червь презренный, не знаю, как замолить мои грехи перед тобою...

Царица подняла на него недоверчивый, испытующий взгляд и проговорила:

— Про старое не вспоминай, давно оно быльем поросло. Я прегрешения твои тебе простила... Знаю, что ты мне отслужишь за них верной службой...

— Ох, государыня, поверь, и живота не пожалею! За тебя и за прирожденного законного государя нашего, Дмитрия Ивановича, хоть в пекло готов идти. Не забуду до смертного часа его великой ко мне милости, как он меня на плахе помиловать изволил... А я ли не заслужил той плахи! В своем законном прирожденном государе дерзнул усомниться, дерзнул крамолу сеять...

Царица Марфа Федоровна исподлобьяглянула на Шуйского, который говорил, прижимая руки к груди и закатывая глаза горе. Холодная улыбка презрения едва заметной змейкой скользнула по устам царицы, которая опять перебила речь Шуйского вопросом:

— Говори скорее, какие вести у тебя в запа-се?

— Недобрые, великая государыня! Совсем околдовала Годунова царя Дмитрия, он ею только дышит и мыслит. Переехала она тому дня три в Кремлевский теремной дворец, что-

бы к нему поближе быть.

— Бесстыжая! — гневно воскликнула царица. — Виданное ли это дело с тех пор, как строены наши царские палаты!

— Говорят, не нынче-завтра, — продолжал Шуйский, — царь-государь объявит Годунову своей невестой!..

— Как!.. Эту бесстыдницу — невестой! Дочь нашего лютейшего врага своей невестой!.. Разве уж без моего благословенья захочет жениться... Ну тогда другое дело! Но тогда уж пусть меня отпустит из Москвы подальше... Я с ней не стану жить в одних стенах!..

— Неужели же, государыня, для того тебе был Богом возвращен твой сын, чтобы ты снова его лишилась? Статочное ли это дело?

— К лишениям я привыкла, — произнесла царица с особенным ударением.

— Знаю, знаю, государыня, сколько ты вынесла от злых врагов! И Бога молю, чтобы они еще раз тебя не одолели, не надругались над властью матери... Юного царя сдержать потребно во что бы то ни стало...

— Но как же сдержать, когда он околдован, ты сам же говоришь!..

— Есть, матушка, и против колдовства заклятье, и против женских чар есть средство...

— Да! Понимаю! Надобно ее сейчас же удалить, прогнать отсюда, заточить!.. Тогда и он об ней небось забудет... И выкинет всю эту блажь из головы...

— Нет, государыня!.. Не приведи Бог! Не то я мыслю...

— Так что же, говори скорей! Не бойся!

— А то, великая государыня, — сказал Шуйский, медленно растягивая каждое слово и, видимо, высказывая свою затаенную мысль с большой осторожностью, — что отсылать ее отсюда теперь не время, а заточить всегда успеем после... Теперь, напротив, пусть она к нему поближе будет да и он тоже... Ведь девушку девичество и красит, пока внове — он и будет к ней льнуть, а потом, чай, надоест не хуже всякой другой! Так разлучать их и не надо, а вот насчет женитьбы — воспретить и думать!

— Да как же я воспрещу-то? Подумай сам, князь Василий, — тревожно заговорила царица Марфа. — Ведь он царь! Что любо ему, то он и творит!

— Царь Дмитрий Иванович захочет ли против тебя идти? Захочет ли перечить материнской власти?.. Да если бы и захотел, в твоей же власти, государыня, есть средство.

— Какое? В чем? Скажи...

Шуйский замялся, видимо, подыскивая слова, в которые ему хотелось облечь свою мысль, и наконец проговорил:

— Знаю, что ты ему родная... И что тебе его жалко, — продолжал Шуйский, пристально всматриваясь в лицо царицы, — а все пригрозить не мешает...

Царица опустила глаза в землю и не смотрела на Шуйского.

— Пригрозь ему, что если он на Ксении жениться вздумает, ты отречешься от него... За сына его считать не будешь...

Царица быстро подняла очи и глянула в глаза Шуйскому. Их взоры встретились, и они поняли друг друга. Мгновение прошло в молчании очень выразительном.

— Ведь должен же го сударь-батюшка знать, — мягко и лукаво добавил Шуйский, — что он тобою, матушка государыня, на Русском царстве держится...

— Довольно... Понимаю... Спасибо за совет... Ступай!.. — сказала царица-инокиня. — Я жду к себе сына-царя, он не бывал еще сегодня...

Шуйский поклонился низко-низко и вышел из кельи.

XI

Розы и тернии

Ксения так привыкла к ежедневным вечерним посещениям Дмитрия, что наконец не могла уж представить себе вечера без свидания и беседы с ним... А в этих беседах для Ксении было так много нового и привлекательного, так много поразительного и ошумивающего воображение совсем молодой девушки. Он говорил ей о своих скитаниях, писал живую картину жизни польских магнатов, описывал удалые набеги запорожского рыцарства, яркими красками передавал перенесенные им лишения, унижения и страдания — и Ксения слушала его жадно, боясь проронить хотя бы одно слово, боясь прервать нить его увлекательного рассказа. И

чем чаще, чем дольше она его слушала, тем более проникалось ее сердце горячей любовью и уважением к этому юноше, который уже успел так много испытать, так много увидеть и узнать. Случалось, что от рассказов о виденном и пережитом на чужбине Дмитрий переходил и к впечатлениям дня, переходил к рассуждениям о московской действительности и с горечью, с досадой говорил о том «мерзостном запустении», которое повсюду находил, о «волоките» в делах, об упорстве бояр и о закостенелой грубости нравов, которая мешала принятию многого хорошего от иностранцев. И Ксения, дитя душою, с восторгом внимала его мечтам о будущем лучшем устройстве русской жизни, о новых порядках в государственном управлении, в войске, даже в домашнем быту... Она вместе с Дмитрием верила в то, что это совершить легко, одним «хотением и властью» великого государя, и целые дни с восторгом передумывала слышанное накануне и с понятным нетерпением ожидала нового свидания.

Два дня тому назад Дмитрий сказал ей наконец:

— Завтра, царевна, я попрошу у матушки благословения на наш брак... И как только получу его, тотчас же объявить велю тебя моей невестой...

Ксения опустила глаза и ничего не отвечала Дмитрию, но ее сердце сильно билось, переполненное признательностью и любовью к юному царю.

Расставшись вечером с Дмитрием, царевна почти не сомкнула глаз во всю ночь, а на другое утро исстрадалась, дожидаясь вечера. Когда же наступил урочный час обычного прихода царя Дмитрия, а он и не являлся сам и даже не присылал спросить о здоровье царевны, нетерпение Ксении достигло высшей степени и дальнейшее ожидание стало для нее невозможным. Она тайком от других боярынь попросила боярыню-маму через одного из стольников узнать, где царь Дмитрий, здоров ли и что с ним случилось.

Стольник принес ответ, который удивил и озадачил царевну: царь Дмитрий утром заседал с боярами, а потом пошел к царице-инокине Марфе Федоровне, а от нее вернувшись, приказал подать аргамаков себе и Басманову

и с десятком конных детей боярских за город умчал неведомо куда. Ксения протосковала целый вечер и проплакала всю ночь. На следующий день, измученная неизвестностью, она едва могла дожидаться вечера и чуть не бросилась на шею Дмитрия, когда он к ней явился после вечерен и опустился напротив в кресло.

С первого взгляда на царя Ксения убедилась в том, что он чем-то очень сильно взволнован и расстроен. Обменявшись с Ксенией обычными вопросами, Дмитрий замолк и грустно понурил голову.

— Что не весел, царь Дмитрий Иванович! — нежно и тихо спросила Ксения.

— Не весел я потому, что не был у тебя вчера, царевна, и не мог отвести души с тобою... Не мог принести тебе желанной вести!

— Я слышала, что уезжал ты за город с Басмановым после того, как побывал у матушки царицы...

— Да! Уезжал, чтобы рассеять думы черные...

— Черные? — повторила вполголоса Ксения. — Значит, матушка-царица не дала те-

бе благословения на ненавистный брак со мною?

— Она и слышать не хочет... И говорить о нем мне запретила, и думать...

— Бедная, бедная я! — прошептала Ксения, опуская руки и поникая головою. — Нет мне ни в чем ни удачи, ни счастья.

— О, не опускай головы, моя дорогая, моя желанная царица! — горячо сказал Дмитрий. — Я уговорю, я умолю мою матушку, я сумею размягчить ее сердце и заставлю полюбить, как я тебя люблю.

— Мудрено! — печально сказала царица.

— О нет! Не мудрено... Доверься мне!.. Не век продлится злоба людская против царя Бориса... А я, я ни на ком ином и не подумаю жениться... И волей иль неволей вынужу согласие матушки... Она мне не откажет, когда увидит, что мне без Ксении и жизнь не в жизнь.

— Государь, — сказала Ксения, — ты помнишь, что не своей волей я переехала сюда в теремный дворец... Ты вынудил меня к согласию, заговорив о браке... Если брак не может состояться, мне одна дорога... В обитель! А жить здесь долее и ждать, когда получится со-

гласие матушки царицы... я не могу! Не могу! Дозволь же мне уехать немедленно... Завтра же! — царица поднялась со своего места, поникла головой и с тихим плачем вышла из комнаты.

XII

Прямые

Несколько дней спустя все боярство, собравшееся рано утром к царскому выходу, было занято важной новостью, о которой говорили и толковали на все лады не только в передней государевой, но и в проходных сенях, и на крылечной площадке.

— Слышал ли? Романовы приехали в Москву? Романовы из ссылки вернулись...

— Как же! Как же, знаю! Слышал, что вчера уж и государю являлись и милостями осыпаны...

— Да, да! И это слышал! Федор-то Никитич, что ныне Филарет, в митрополиты возведен, в ростовские... А Иван Никитич из стольников в бояре сказан!

— Уж это точно что по-царски! Из стольни-

ков в бояре! Другой лет пятнадцать еще в окольных тянет до боярства, а тут через окольного прямо в бояре!..

— И все имения, все земли, все животы повелено им возвратить и из казны вознаграждать...

— А им и этого, вишь, мало! Говорят, что ныне будут на выходе и челобитную хотят подать о новых милостях...

Несмотря на все эти толки и зависть, возбужденную милостями Дмитрия Ивановича к Романовым, весь двор государев заволновался, когда братья Романовы подъехали в колымаге к решетке дворца и пошли папертью Благовещенского собора и переходами к государевой передней. Впереди шел Филарет, облаченный в иноческое одеяние, с посохом в руке, он сохранил все ту же спокойную, величавую осанку, которая так хорошо согласовалась с его высокой и могучей фигурой, в волосах его и в окладистой бороде обильно серебрилась седина, горькие испытания последних лет много провели глубоких морщин на челе его, но он был свеж и бодр, лицо его было также прекрасно, и тот же обширный, глубокий

ум светился в его очах.

Позади него, волоча левую ногу и подкорчив левую руку, с трудом выступал младший брат его, Иван Никитич, еще молодой, но уже разбитый параличом. Двое молодых дворян поддерживали его под руки.

Все спешили навстречу Романовым, все забегали вперед, чтобы им поклониться и заявить о своем расположении, все шумно приветствовали и поздравляли их с благополучным возвращением, но братья Романовы отвечали всем только легким наклоном головы и молча проходили далее... Они знали цену этим дворцовым любезностям и хорошо понимали значение шумных, радостных приветствий.

Так прошли они и государеву переднюю, битком набитую боярством, и в качестве близких родственников царя, без доклада вступили в государеву комнату, где царь Дмитрий уже сидел за столом и говорил о делах с несколькими боярами, стоявшими по бокам его кресла и стола. Тут были и Шуйский, и Вельский, и Басманов, и еще пять-шесть представителей старейших боярских

родов.

Царь Дмитрий держал в руках какую-то грамоту и, указывая на нее, говорил боярам с некоторой досадой:

— Я, право, не возьму в толк, о чем тут рассуждать? О чем тут думать? Дело все так ясно, что в двух словах решить можно, а ваши дьяки уж гору бумаги о нем исписать успели!..

И затем, увидав входящих Романовых, вдруг просиял лицом, и встал с кресла навстречу им, и сам пошел под благословение Филарета.

— Рад вас видеть, гости дорогие, Филарет Никитич и Иван Никитич! Сам хотел сегодня заехать на подворье к вам и послал к вам стольника звать вас на завтра к моему царскому столу...

— Прости, великий государь, — отвечал Филарет Никитич, — мы можем только благодарить тебя за все для нас содеянное, но мы не можем быть за столом твоим... Мы едем сегодня же в Ростов... Пришли откланяться...

— Как? Уже сегодня?.. Два дня всего, как вы сюда приехали, — и уж опять в дорогу, и в Белокаменной со мною и дня провести не хоти-

те!..

— Государь, — продолжал Филарет, — на нас ты не взыщи... Ведь сколько лет мы не видались ни с ближними, ни с кровными (голос его дрогнул). Да и Москва для нас так опустела, что к ней сердце не лежит. Не прогневишься на это, государь, и в мир меня не тянет больше, и все мирское мне теперь постыло!..

Дмитрий с участием взглянул на Филарета и с чувством проговорил:

— Не стану гневаться, Филарет Никитич... Поезжай же с Богом! И помни, что для Романовых нет у меня отказа ни в чем... Чего бы вы ни попросили...

— Спасибо на ласковом слове да на привет, государь! — сказал Филарет Никитич. — Желаниям человеческим, и точно, нет пределов! Мы с братом и теперь уж, государь, хотели утрудить тебя новым челобитьем, хотели просить о новой и великой милости...

— Просите, просите, рад вам служить! Не пожалею для вас...

Бояре переглянулись между собой и с завистью посматривали на Романовых.

— Государь! — торжественно и тихо про-

изнес Филарет Никитич, низко кланяясь Дмитрию Ивановичу. — Дозволь нам перевезти в Москву тела покойных братьев наших: Александра, Василия и Михаила... погибших в ссылке и в опале... и здесь похоронить их с честью...

— Как? Только об этом вы и просите меня, когда я готов на все! — воскликнул Дмитрий с изумлением.

— Только об этом, государь! — подтвердил Филарет Никитич, наклоня голову.

— Завтра же велю указы заготовить и отправлю их на место, и все по твоему желанию будет исполнено, — обещал Дмитрий.

— Ас этими указами пошлем мы наших верных слуг с твоими государственными людьми... И вечно будем Господа молить за тебя, государь! А теперь — прости!

Царь Дмитрий снова подошел под благословение Филарета и простился с Романовыми. Бояре, отвечивая им низкий поклон на прощание, в душе очень радовались тому, что эти опасные соперники довольствовались малым и, отъезжая, открывали им свободное поле действий.

После ухода Романовых царь, видимо расстроганный, вместе со своими боярами направился к обедне. Отстояв всю службу в Благовещенском соборе, Дмитрий Иванович вышел из храма и в сопровождении бояр и обычной почетной стражи из стрельцов и боярских детей направился через Ивановскую площадь к Вознесенскому монастырю. Народ, толпившийся на площади, приветствовал его громкими и радостными криками: «Да здравствует законный государь наш царь Дмитрий Иванович!», «Да здравствует наше солнце красное!».

И вдруг из среды этой ликующей и радостно восклицавшей толпы на самом пути царя выступили Тургенев и Федор Калашник и, не ломая шапок перед царем, крикнули во всеуслышание, обращаясь к толпе:

— Кому вы кланяетесь, православные! Он не царь! Он расстрига окаянный! Не царское он рождение, а антихристово отродье! Будь он проклят в сем веке и в будущем!

Дмитрий Иванович изменился в лице, услышав эти речи, он грозно насупил брови и указал боярам на крамольников, которых

уже окружила и взяла дворцовая стража.

— Ах они псы смердящие! Ах окаянные! Что смеют говорить?! — загудела толпа. — Дай их нам, государь! Дай нам, мы в ключья изорвем!

— Не смейте и пальцем тронуть их! — грозно крикнул царь Дмитрий. — На то есть суд! Пусть допросят и судят по закону.

И он твердо проследовал далее со своей свитой, между тем как стража уводила к приказам Тургенева и Калашника, связанных по рукам и ногам и осыпаемых злобными насмешками площадной черни.

XIII

Начало конца

В последних числах сентября в один из воскресных дней, когда Шуйский вернулся от обедни из собора на свое кремлевское подворье, брат Дмитрий сообщил ему, поспешно и шепотом:

— Ступай скорей наверх в светелку, там ждут тебя!

Князь Василий поднялся по лестнице в светелку и застал там дорогую гостью, Мавру Кузьминишну. Боярыня-казначей сидела на лавке под образами, закутав лицо свое густой фатой.

— А! Вот не чаял тебя увидеть, боярыня! — вкрадчиво и нежно произнес Шуйский, кланяясь боярыне в пояс. — Ей-ей, не чаял! Думал, ты уж и позабыла обо мне...

— Что ты, что ты, князь! Денно и ночью помню о тебе и о твоих делах... Да все, вишь, несподручно было отлучиться! Боюсь, не подсмотрели бы!

— Ха! Ха! Ха! Вот ты какая пугливая, бояры-

ня, нынче стала! Уж не за славушку ли свою боишься? Так ведь я ж теперь не холост хожу, женатый, и жена-то молодая да красавица еще какая... Ну, ну, садись-ка, гостья дорогая! Рассказывай, что в терему-то там у вас творится?

— Да что, боярин? Точь-в-точь, как ты сказал тогда, так и сбылось, словно бы ты наколдовал! Ведь наша-то царевна головушку повесила...

— Что ж так?

— А то, что милый-то дружок уж нынче не так часто к ней жаловать изволит, как бывало прежде. Случается, что два и три дня сряду не бывает, и как потом придет, так слышим, все она к нему с укором да со слезами, а он все с отговорками... А то и гневаться изволит!..

— Ну это уж само собой! Чего ж ей больше ждать? Теперь он, чай, и сам не рад. Куда она ему? Колодой поперек дороги лежит... Теперь, боярыня, я по душе тебе скажу, что ей не долго уж над ним величаться. Из Польши идут вести, что его невеста, польская княжна, собирается в дорогу, что польским послом едет

сюда сам тесть его, пан Юрий Мнишек... Так, понимаешь ли, он и теперь уж рад бы сбыть куда-нибудь царевну, да все, вишь, жалеет ее. Ну а дай пройти еще двум-трем месяцам...

— Да, да! Вестимо. Видно, что он к ней не прежним жаром пышет, а уж что остыло, то и постыло.

— Буду трубить, князь-батюшка! Да только уж и ты, смотри, не позабудь меня, пристрой ко двору царицыну, как станут молодой-то царице двор подбирать!

— Не забуду, не забуду, боярыня. Как можно позабыть!.. Ты только помоги нам сбыть с рук царевну, а там уж я за тебя горой перед царем и перед царицей!

— Ну вот и спасибо! И прощения просим до первой вести!

И толстая боярыня, распроставшись с Шуйским, проворно юркнула в одну из трех боковых дверей светелки. А Шуйский сел к столу и задумался... В голове его стройно, тонко и последовательно выстраивался обширный план заговора, который должен был погубить Дмитрия, а Шуйскому открыть прямую и широкую дорогу... Куда? К чему? Он

сам еще не мог бы ответить на эти вопросы.

...Холодный и ясный октябрьский утренник серебрил траву и деревья верхового дворцового сада морозным налетом, придавая один общий блеск пестрым, то бледно-зеленым, то ярко-красным, то желтым тонам листьев... Огненные, багровые облачка, с холодными сероватыми краешками разбегались с востока на запад, еще до половины прикрытый темными ночными облаками... Съезженные и почерневшие листья, которыми покрыта была промерзающая земля, резко хрустели под ногами. Легкой дымкой курились воды небольшого прудочка, по которому важно и спокойно плавали два лебедя.

Царевна Ксения после бессонной ночи, проведенной в слезах и томлении, в тяжких мучениях оскорбленного женского самолюбия и обманутой любви, едва поднявшись с постели, вышла в сад в собольей шапочке и собольей телогрейке. Ей было любо на холодном утреннике, ее груди дышать здесь было легче; она видела над головой не раззолоченный полог своего богатого ложа, не тяжкий, давящий свод терема, а высокое небо и про-

стор, среди которого она свободно могла носиться крылатой мечтой. Ей нравились в этом небольшом садике даже полуобнаженные деревья с их облетевшей красой. Она смотрела на них, видела, как легкий ветерок налетал на них, и обрывая листья, крутил их по дорожкам, и говорила с грустью:

— Так и он налетел на меня, потешился и бросил меня, сиротинку!

В грустных мыслях царевна подошла к своей любимой беседке в этом небольшом верхнем садике и вздумала, поднявшись по лестнице на вышку беседки, полюбоваться видом широко раскинутого города, только что пробуждавшегося к своей обыденной жизни и к деятельности.

И только поднялась она на вышку, только присела на скамью и глянула вдаль, на густо застроенное Замоскворечье, где из тесной массы бревенчатых построек красивыми пятнами выделялись белые церкви со сверкавшими на солнце крестами, как вдруг внизу на улице слышались глухой шум, гул голосов и топот коней и в промежутках заунывное, погребальное пение...

«Верно, чьи-нибудь похороны?» — подумала царица, и, набожно крестясь, прикрыв лицо фатою, она наклонилась над остриями частокола, стараясь заглянуть на улицу... И обомлела от страха.

По улице без всякого порядка валила по обе стороны пестрая толпа всякого мелкого люда, всяких зевак и оборвышей, а посередине, медленно выступая, двигалось грозное и печальное шествие. Впереди ехали на конях царские стольники, за ними ехал дьяк, державший в руках какое-то длинное рукописание, за дьяком следовал старичок-священник в черных ризах с крестом в руке. За ним среди стрелецкой стражи медленно шли двое осужденных на казнь в белых саванах поверх платья с восковыми свечами в руках. Оба были молодые, стройные красавцы, особенно тот, что повыше ростом: плечистый русоволосый курчавый молодец с открытым, чисто русским лицом. Оба медленно и спокойно выступали, позвякивая на ходу тяжелыми ножными цепями, и пели погребальные песни, отпевая себя заживо, готовясь сойти в отверстие перед ними могилу. Их свежие, звучные,

ровные голоса доносились до слуха царевны, которая могла даже разобрать отдельные слова... Но не эти слова, не эти звуки ее поразили: поразило то, что она узнала в осужденных на казнь Петра Тургенева и Федора Калашника... Она видела, с каким твердым и спокойным мужеством они шли на смерть, и ей вспоминались последние слова Тургенева: «Не умела ты, государыня, оценить своего верного слуги!..»

— И вот он, этот верный слуга Годуновых, идет на смерть, кладет голову на плаху... А я не могу спасти его!.. Господи, да что же это? За что его казнят? Ведь Шуйского же царь помиловал на плахе! Надо бежать, просить, молить его милости!

Она быстро спустилась с вышки и опроремью бросилась бежать по саду к хоромам, зажимая себе уши, чтобы не слышать шума и гула толпы, чтобы не слышать пения этих двух молодых и сильных голосов, которым скоро предстоит смолкнуть под ударом топора о плаху...

— Девушки! Девушки! Боярыни! Боярышни! — кричала Ксения, вбегая в свой терем. —

Сбегайтесь скорей сюда! Посылайте мне стольника, к государю мне его отправить надобно... просить, молить, чтобы сюда ко мне пришел, чтобы пожаловал он сам, царь Дмитрий Иванович!

Ксения в отчаянии ломала руки и заливалась горькими слезами.

Боярышни и боярыня-мама суетились около нее, не понимая причины ее слез, не зная, что предпринять. Не растерялась только боярыня-казначей. С легкой улыбочкой подошла она к царевне, как бы желая утешить ее и вместе с тем удержать, остановить ее порыв.

— Государыня царевна! — сказала она. — Где же это видано, чтобы в такую рань царя-государя в девичий терем звать? И так уж нам, твоим людишкам, проходу царицыны люди не дают... А что же они теперь-то скажут, как еще прознают, что ты спозаранок царя в свои покои зовешь!..

— Прочь от меня! Как смеешь ты со мной так разговаривать!.. Я милости хочу у царя просить! Там людей неповинных на казнь ведут, а ты мне о сплетнях бабьих сказываешь...

Сейчас же послать к царю! Слышишь ли, я приказываю вам, я велю!..

— И рады бы твой приказ исполнить, государыня, — печально отвечала боярыня-мама, — да в том-то и беда, что государя-то еще с вечера в городе нет... Сказывают, что с Шуйским в его кузьминскую усадьбу на охоту, вишь, поехал...

— Боже! Боже! Тут люди головы кладут на плаху, а он охотится... Что же это? Как их спасти? Что делать?

— Хотя я и знаю, государыня царевна, что ты прогневаться изволишь на меня, — опять, и очень резко, вступилась боярыня-казначей, — а все же я скажу, что и просить-то государя об этих ворах и изменниках тебе негоже!.. Это сейчас мимо дворца вели на казнь тех самых Петьку Тургенева да Федьку Калашника, которые осмелились на площади всенародно произносить перед царем хульные речи и перед всеми открыто своею изменною хвалились! Таких-то миловать — так всем нам, верным царским слугам, после того хоть не жить на свете!

— Уйди ты с глаз моих! Уйди! Уйди скорее!

И не возвращайся больше! — закричала Ксения вне себя, поднимаясь с места и указывая на дверь.

— Изволь, государыня, не смею я тебе перечить! Спасибо, спасибо тебе на добром слове, видно, и ждать мне от тебя нечего за долгую службу... К изменникам царским у тебя сердце жалостливо, а верные слуги тебе не надобны... Прощай же, государыня! Авось невеста-то царская, что сюда из Польши едет, помилостивее тебя к нам будет!

И, отвесив низкий поклон царевне, боярыня-казначей горошком выкатилась из терема.

— Невеста царская? Из Польши едет?.. — повторила царевна, медленно произнося каждое слово и обводя своих приближенных смущенным вопрошающим взглядом.

И в глубоком молчании стояли кругом приближенные царевны, не смея проронить ни единого слова, не смея поднять глаз на мертвенно-бледное лицо Ксении.

XIV

Верность и лукавство

Вечером царевну известили, что великий государь изволит к ней пожаловать после вечера.

Царь Дмитрий явился сумрачный, смущенный, взволнованный. Холодно обменявшись с Ксенией сухим поклоном, он с первых же слов обратился к ней с вопросом:

— А правду ли сказывали мне, царевна, будто ты хотела просить, чтобы я помиловал изменников Петьку Тургенева и Федьку Калашника, которых суд боярский осудил на смерть за дерзкие их речи, зазорные для царского величества?

— Правда, государь! Суцая правда! — отвечала Ксения, прямо глядя в глаза Дмитрию.

— А правда ли, что ты по ним обоим сорокоусты заказала и панихиды на помин души их велела петь у себя в церкви, на сенях?

— Да, правда! А ты-то что же, Дмитрий Иванович? Ты не для розыску ль сюда пожаловать изволил?

— Спрос не розыск, царевна! И дивно ли, что я тебя хочу спросить, чем это так тебе изменники те дороги и милы?

— Не мудрено мне и ответить тебе, Дмитрий Иванович! Те, кого ты зовешь изменниками, были Годуновым верными слугами, и Петр Тургенев приходил ко мне и уговаривал, чтоб я сюда в твой теремной дворец не въезжала... Он прямо говорил мне, что здесь ждут меня обман, предательство, позор... Чтобы и твоему царскому слову не доверяла.

— Довольно! Замолчи, царевна! Вижу я, что не ошиблись те, кто меня остерегал, кто уговаривал меня беречься Годуновых!.. Вижу, что я под кровом своим укрыл в тебе врага лютого...

— И я вижу, государь, что мои враги не дремлют, что они ведут свои подвохи, вижу и то, что не нужна я более тебе! Посмеялся ты надо мною, Дмитрий, и Бог тебе судья! Тебе и матери твоей, царице Марфе. Я знаю, что у тебя уже припасена невеста и что она прибудет вскоре сюда, в Москву... Желаю тебе удачи и счастья во всем! Но отпусти же меня отсюда, отпусти в обитель. Только в ней и место мне,

только в ней и приют, где голову мне преклонить, где могу укрыться от стыда и от укоров людских!

— Я не удерживаю тебя, иди, пожалуй, царица. Кто с моими врагами дружит, тот мне также враг! Тебе не любо здесь, так, может, там приглянется и любее будет. Прощай, царица!

И он поспешно встал и направился к двери, а Ксения вслед ему сказала дрожащим от волнения голосом:

— Уходи, государь, уходи!.. Не сам ли ты сказал, что я тебе враг! Ступай к тем, которые тебя лучше, вернее, крепче сумеют любить, и пусть мои девичьи слезы не отольются тебе слезами! Уходи, уходи скорее...

Дмитрий гордо глянул на Ксению и вышел из ее терема.

...Последнее свидание с Дмитрием Ивановичем не обошлось Ксении даром. Жестокие, невыносимые потрясения последней недели подорвали силы царицы настолько, что она слегла в постель и заболела сильнейшей горячкой. На некоторое время печальная действительность скрылась из глаз ее и смени-

лась бесконечно долгим бредом, в котором настоящее путалось с прошедшим, страшные образы, созданные разгоряченным воображением, мешались с знакомыми и дорогими лицами и воспоминаниями и мирная обитель представлялась в редкие минуты успокоения желанным, милым приютом для наболевшей, исстрадавшейся души несчастной царевны. Чаще всех других знакомых и милых образов прошлого царевна видела около себя свою бывшую боярышню Ирину, бежавшую когда-то из-под сурового надзора кадашевской боярыни. Ксении грезилось, что эта самая боярышня Ирина находится тут, при ней, около ее постели, и то взбивает ей изголовье, то оправляет складки одеяла, то прикрывает ей ноги теплой телогреей... Царевна не раз даже очень явственно чувствовала, как Ирина своими нежными и гибкими руками прикладывала к горячему челу ее что-то холодное и ароматное, приносившее ей облегчение и прохладу.

— Это ты, Ириша? — не раз окликала царевна порхавший перед нею призрак боярышни, но не получала ответа.

— Дай мне руку, Ириша, — в изнеможении шептала по временам Ксения и, чувствуя чью-то теплую и мягкую руку на голове своей, засыпала, приговаривая. — Спасибо, Ириша, мне так легче.

Сколько времени продолжалось это состояние бреда, эта тяжелая борьба природы с недугом, Ксения не знала. Но в первый же день, когда бред наконец ее оставил и окружающая действительность снова глянула ей в очи, царевна была поражена тем, что увидела перед собой ту же боярышню Иринью, которая ей грезилась в течение всей болезни. Ксения стала всматриваться с некоторым недоверием в это знакомое личико и вдруг услышала знакомый голос:

— Что так в меня вперилась, царевна? Аль все еще не признаешь своей причудливой и непокорной Иришеньки?

— Так это точно ты? И не в бреду мне это грезится? Дай мне обнять тебя! Откуда ты взялась и как сыскала меня?

— Как станет тебе полегче, — весело проговорила Иринья, — все расскажу тебе, царевна! А теперь тебе не надо тревожиться, не то

и Бог весть сколько времени продлится еще твоя недуг.

— А где же мама моя?

— Боярыня-мама? — с некоторым смущением отвечала Иринья. — Она в отлучке... Обещала скоро вернуться...

— А Варенька?

— Та в хлопотах: все по хозяйству, да с ключами, да со служней. Да усни же, государыня царевна, не то уйду я от тебя, тогда ведь все равно заснешь со скуки.

И царевна послушно засыпала, положив руку Ириньи себе на голову.

И только уж много дней спустя Иринья рассказала царевне, как она бежала и как скрывалась по обителям до самой смерти царя Бориса.

— А тут, когда приехал в Москву царь Дмитрий Иванович, уж я не опасалась больше, с теткой и с дядей приехала в Москву, сюда же приехал и нареченный мой жених, Алешенька Шестов, и думали мы с ним венчаться здесь же, на романовском подворье... Да вдруг я слышу, что ты больна, царевна, и что на половине твоей неладно... Что ты в беде и

в горе... А тут и на Алешеньку стряслась беда...

— Какая? Что такое? — тревожно спросила Ксения.

— Лучшие два друга его крамольниками объявились государю и сложили голову на плахе...

— Петр Тургенев и Федор Калашник? Так они ему друзьями были?

— Ох, закадычными! Они и выкрали меня тогда у строгой-то боярыни... Упокой Господь их души!..

Иринья набожно перекрестилась и продолжала, как бы стараясь поскорее перейти к другому:

— Вот мы с женихом и порешили, царевна, нашу свадьбу отложить, пока уляжется в душе это горе горькое, пока и ты оправишься и соберешь кругом себя надежных, верных слуг... А до тех пор я тебе всей душой служить готова!

— Ириша! А где же мои-то люди? Где мои боярыни? Где мама?

— Мама не стерпела твоей беды, и после того, как ты слегла, она дня через два вдруг

разнемоглась поутру, а к вечеру и Богу душу отдала... А боярыни твои все разом тебя покинули. Казначея да кравчая к царице Марфе приняты во двор, а все другие ждут приезда Марины Мнишковны и ей хотят ударить челом о службе и о жалованье.

— А Варенька?..

— Варенька со мною за один — и мы тебя не выдадим, царевна! Мы с тобою и в мир, и в Божию обитель, куда бы ни занесла тебя судьбина!..

Ксения притянула к себе Ирину и горячо ее поцеловала. После некоторого молчания она с большим трудом собралась с мыслями, как будто припоминала что-то, и наконец сказала:

— А та? Как ты ее назвала?.. Ну, невеста царская! Когда она приедет?

— На будущей неделе ждут сюда ее отца с послами от Жигимонта Польского, а там, все говорят, она уж не замедлит...

Ксения вдруг заволновалась, схватила Ирину за руку и поспешно проговорила:

— Иринушка! Голубушка! Я не хочу... Я не могу здесь дольше оставаться... Скорее!

Уехать, уехать отсюда!

— Государыня царевна, к отъезду твоему давно уж все готово... Ждали только, чтобы ты оправилась немного... Боярин Рубец-Масальский и то по вся дни заходил сюда со спросом о здоровье твоём!..

— Скажи боярину, что я здорова и завтра же готова выехать отсюда... Ступай, скажи сейчас!

XV

Царское новоселье

Несколько дней спустя после отъезда царевны Ксении из Москвы царь праздновал новоселье в том новом деревянном дворце, который он выстроил на самом кремлевском холме против соборов. Дворец был выстроен на славу: резной, фигурный, вычурный, раскрашенный пестро и ярко, покрытый крышей из поливной блестящей черепицы.

Все окна были обведены тройными карнизами с позолотой, скобами, все острия и верх кровель украшены мудреными и причудливыми флюгерками в виде раззолоченных дра-

конов, птиц и зверей. Какие-то страшные хари тянулись под крышей, в виде карниза, какие-то истуканы поставлены были в нижнем жилье между окнами и, надо сказать правду, очень не нравились степенным московским людям. Но более всего не нравилось всем то трехглавое и трехзевное изображение «адского пса Цербера», которое хитроумный немец-строитель поставил у самого входа на крыльцо царского дворца. Пес был вылит из меди, и из среднего зева его вытекала струя воды в особый поддон в виде медного таза, другие два зева адского пса разевались и громко стучали и хлябали своими медными зубатыми челюстями.

В этот-то новый дворец перебрался царь Дмитрий Иванович, ожидая к себе из Польши дорогих гостей: тестя Мнишка с громадной свитой и свиту невесты, для которой приготовлены были в новом деревянном дворце особые, роскошно отделанные покои.

Царское новоселье праздновалось шумно, разгульно и весело. На царский пир приглашены были не только все боярство, весь придворный чин, но даже и служилые иноземцы,

и пан Доморацкий с товарищами, начальник польской дружины, приведенной в Москву Дмитрием. Пир начался вскоре после полудня, а когда ночной мрак давно уже опустился и окутал весь Кремль и царские хоромы, пир все еще длился, шумный, громкий, широкий, «на всю руку»: «Гуляй, мол, душа, пока жизнь хороша!». Яркий свет лился широкими красноватыми полосами из окон на площадь перед дворцом, засыпанную снегом и заставленную конями и колымагами гостей. Нестройный говор нескольких сот голосов, заглушаемый то песнями, то громкой музыкой, доносился явственно до толпы, которая собралась позевать перед дворцом на царский праздник и терпеливо топталась на снегу с утра и до ночи.

— Гуляет государь-батюшка на весь крещеный мир! — слышались голоса в толпе.

— То-то и оно, что не крещеный мир, а вон и всяких нехристей, и немчинов, и поляков с собою за стол сажает! Вот это — не рука!

— Тебе небось завидно, что он их-то поит, а тебе сюда на площадь бочки не выкатил! — заметил кто-то со смехом.

— Не завидно мне, а только не рука православному царю с нехристями за одним столом есть!

— Это верно! — заметили еще несколько голосов. — И на музыке за столом играть, и на трубах — этого тоже досель никогда у московских царей не бывало.

— Так что ж что не бывало! А теперь вон есть; потому царь наш Дмитрий Иванович так хочет!.. — крикнул в толпе чей-то сильный, пьяный голос.

— Ого-го! — зашумели и засмеялись зеваки кругом пьяницы. — Царю любо — и тебе любо! Видно, ты спозаранку от адского пса водицы хлебнул!

И хохот толпы смешался со звуками музыки и песен и неясным говором, доносившимся из дворца.

— Одно я тебе скажу, друг любезный, — таинственно шептал на ухо царскому истопнику старый жилец, толкавшийся около дворцового крыльца среди дворцовой служни, — одно тебе скажу... Да и не я один, а все, чай, это заприметили, как откинул он от себя Ксению Борисовну, как погнался за этой полькой, так

и закурил, закурил!..

— Статься может... Да и то сказать надо, как забрал его в руки князь Василий, так и стал его с ума спаивать... Все к Басманову подлещается, а тот царя в пиры да в гулянки смаливает!.. Грехи!

И как раз в то время, когда эти толки шли около дворца и на площади, две мрачные фигуры, закутанные в шубы, с высоко поднятыми воротниками, вышли из-за угла дворцовых зданий, перешли площадь и, остановившись у соборов, оглянулись на ярко освещенный царский дворец, гудевший музыкой, песнями и шумным разгулом пиршества.

— Князь Василий Иванович! — почти со слезами в голосе говорил Шуйскому Милославский. — До чего же мы это дожили! В царском доме бесовское гудение, и плясание, и лядвиями повихляние... Царь московский, распоясавшись, с нехристями ест и пьет и вприсядку пляшет!

— Да, да, князь Федор Иванович! Дожили, голубчик мой, дожили... По грехам нас Господь наказывает! Подумать надобно нам, подумать, как греха избыть... Пойдем ко мне, се-

годня на подворье у меня соберется кое-кто на думу... ночью! На тайное совещание...

И затем, подняв кулак, он погрозил им в направлении дворца Дмитрия:

— Добро, добро!.. Не долго уж тебе теперь, скомороший правнук, над нами, старыми боярами-то, потешаться!

XVI

В обители

Наступила весна 1606 года — весна дружная, теплая, благодатная. Снега сбежали быстро, реки вскрылись и прошли почти незаметно, и уже к концу апреля начались везде в полях работы. Даже дороги к началу мая просохли настолько, что по ним уже можно было ездить без особых затруднений и задержек. Такой редкой и диковинной случайностью воспользовался царский стольник Алексей Шестов и отправился на побывку к родным в Ростовский край и Костромское Поволжье.

Он уезжал, чтобы избежать шумных празднеств и всяких пиров по поводу приезда

в Москву царева тестя, Юрия Мнишека, прибывшего с огромной свитой из польских и литовских людей, в которой насчитывалось больше двух тысяч человек. Алешеньке было не до веселья: тяжело и грустно было у него на сердце. Никого из родных, милых и близких людей у него на Москве не осталось. Романовы разъехались по своим поместьям. Петра Тургенева и Федора Калашника он сам похоронил рядом на Ваганькове, выпросив у царя в виде особенной милости, чтобы тела их были выданы ему из убогого дома «на честное погребение». Иринья, дорогая Иринья, желанная и нареченная невеста, на время также его покинула, уехав из Москвы с царевной Ксенией Борисовной, за которой она последовала во Владимирскую женскую обитель, свято исполняя при ней христианский долг любви и бескорыстной преданности.

Из обители, куда Ксения удалилась, не доходило до Москвы никаких вестей. Алешенька начинал уже не просто тосковать по Иринье, а даже не на шутку тревожиться, не стряслось ли какой-нибудь новой беды над его суженой. Вот почему, отпросившись в Ро-

стовский край и в Кострому, Алешенька выехал из Москвы не по Троицкой, а по Владимирской дороге и так по ней бойко гнал, что его всюду, на ямских подворьях и станах, принимали за царского гонца, посланного во Владимир с важными вестями по государеву делу.

Благодаря такой спешной езде Алешенька Шестов, спозаранок выехавший из Москвы во вторник Фоминой недели, в полдень в среду уж подъезжал к Владимиру, который живописно раскинулся перед ним на высоких побережных холмах излучистой Клязьмы.

— А куда же тебя везти-то, господин хороший? — спрашивал его старый ямщик. — Чай, есть у тебя приятели здесь в городе? Или велишь на заезжий двор ехать? У нас тутотка у Настасьи Тетерихи харчи больно хороши дают, да и квасы варит тоже первые в городе, и брага хмельная на погребу завсегда есть...

— А ну тебя и с квасами, и с брагой! — сердито отозвался Алешенька. — Вези прямо в Рождественский монастырь. Не до харчей, когда дело есть.

— Дело делом, а харчи харчами, — провор-

чал старик. — Тоже, не поевши хлеба Божьего, за дело как же приниматься?

И он лениво заворачивал лошадей в объезд, окраинами города, по направлению к древнему Рождественскому монастырю.

Вот наконец и обитель, вот тележка Алешеньки остановилась у ворот, и он, постучавшись, вошел в калитку после некоторых переговоров с привратником.

— Ступай, скажи матери-настоятельнице, что государев стольник Алексей Шестов, мол, прибыл из Москвы проездом и хочет повидать свою... родню. Тут есть боярышня Иринья Луньева, при царевне Ксении Борисовне служит...

— При инокине Ольге, — сурово поправил его седой, дряхлый сторож монастырский.

— Ну да, при инокине Ольге! — досадливо повторил Шестов. — Да поживей ворочайся, старина!

И он сунул сторожу в руку несколько алтын.

Старик глянул на Алешеньку во все глаза, поклонился ему в пояс и так прытко заковылял от ворот к келье настоятельницы, что

гость невольно улыбнулся.

Через полчаса все было улажено, и Алешенька, сияя радостью глубокой, искренней и честной любви, стоял в монастырском саду и держал за руки свою дорогую, бесценную Иринью, которая выбежала к нему на часок поболтать между делом, как будто она и не разлучалась с ним и только вчера еще видела его и наговорилась досыта.

— Ну что же ты стал? Что молчишь? — допрашивала Иринья. — Говори, зачем приехал?

Но Алешенька молчал и только широко и блаженно улыбался, вглядываясь в очи своей подруженьки, и всей грудью вдыхал ароматы распустившейся березовой почки, которыми был пропитан воздух в саду.

— Да говори же! Аль обет молчания наложил на себя, господин царский стольник? — нетерпеливо побуждала Алешеньку Иринья, стараясь высвободить свои руки.

— погоди, голубушка! дай насмотреться, налюбоваться на тебя! — шептал влюбленный юноша.

— Неужто ты только за этим из-за двухсот

верст приехал! Не лукавь, дознаюсь ведь я!

— Ириньюшка, приехал я тебя просить... Сжался ты надо мною! Невмоготу мне. Брожу я по Москве, как по пустыне, один-одинешенек. Сжался ты надо мною: повенчаемся!

— Значит, по-твоему, так: на чужую беду рукой махни, а мне на шею повесься! Разве я могу царевну так бросить, умник?

— Ириньюшка! Да ведь я который год своего счастья жду!

— Так что ж такое? И я жду! — отвечала Иринья с досадой. — А коли надоело тебе ждать, так и скатертью дорога... В Москве невест непочатый угол! Не твоей Иринье чета!

И она с притворным гневом оттолкнула его руки.

Как раз в это время над головой Алешеньки из кельи, скрытой густыми кустами сирени, раздались звуки музыки и заунывное пение...

— Вот! Она поет! Прислушайся! — шепнула Алешеньке Иринья.

И он, прислушавшись, услышал, как свежий, прекрасный голос пел:

— Как сплachtetся малая пташечка,
Голосиста бела перепелочка:
«Охти мне, пташечка, горевати!
Хотят сыр-дуб зажигати...
Мое гнездышко разорити,
Моих малых детушек загубити,
Меня, пташечку, поймаги!».

Иринья дернула за рукав Алешу и, наклонясь к нему, шепнула:

— Поет так-то по целым дням! Под окном сидит и распевает, и все грустное такое! Всю душу у нас с Варенькой вымотала!

И опять послышалось пение:

— Как сплachtetся на Москве царица,
Борисова дочь Годунова:
«Ин Боже, Спас Милосердный,
За что наше царство погибло:
За батюшкино ли согрешенье?
За матушкино ли немоленье?
А светы вы, наши высокие хоро-
мы,
Кому вами будет владети?
А светы, браны убрусы,
Березы ли вами крутити?
А светы, золоты ширинки,

*Лесы ли вами дарити?
А светы, яхонты-сережки,
На сучья ли вас вздевати?
Ин Боже, Спас Милосердный,
За что наше царство погибло?..»*

— За что? За что, Господи? За что мы погибли? — слышался вслед за тем жалобный голос царевны, прерываемый глухими рыданиями.

Иринья поспешно отвела Алешу от окна кельи в глубь сада и проговорила ему нежно и горячо:

— Ну вот, ты сам ее слышал! Вот так-то по целым дням поет, да плачет, да складывает песни... А то в грудь себя бьет и говорит, что в них, в Годуновых, весь корень зла, что их до конца изгубить надо! А если мы об ней не вспомним, то и не поест, и спать не ляжет!.. Ну как ее покинуть!

— Голубушка! И жаль ее, да и себя-то мне жалко... Мы бы с тобой как зажили, как голубочки на ветке...

— Ах, и не говори мне, Алешенька милый! Сердце у меня такое, что и с тобой мне бы счастья не было, кабы я знала, что она тут одино-

кая убивается!.. Повремени еще, голубчик, теперь уже недолго! К Вареньке сестра приедет мне на смену, тогда я напишу тебе или сама к тебе как снег на голову упаду! Возьми, мол, меня, мой желанный, мой муженек богоданный! А теперь уезжай, уезжай немедля, и вот тебе от меня памятка на прощанье!

Она быстро обняла его, крепко-крепко поцеловала в уста сахарные и вмиг, как видение, скрылась за кустами, оставя юношу под обаянием дивных чар любви среди благоухающего и зеленеющего сада.



Петр Полевой (1839–1902) – русский писатель, историк и литературовед, автор более десяти романов и пьес, а также повестей и рассказов. В дореволюционной России особенно широко известен как создатель трехтомного издания «История русской словесности с древнейших времен до наших дней» и переводчик на русский язык самого полного собрания сказок братьев Гримм.

В романе рассказывается о весьма сложном периоде русской истории, имевшем место вскоре после смерти Бориса Годунова. На примерах судеб своих героев автор показывает, как честные и преданные попадают порой в опалу, а корыстные и коварные, облаканные властью, пользуются привилегиями, как содеянное зло остается не наказанным, а творимое добро приводит к плахе...

ISBN 978-985-17-0663-7



9 789851 706637

По вопросам реализации обращаться
в «ИНТЕРПРЕССЕРВИС».

Тел. в Минске: (1037517) 387-05-55,

387-05-50, 387-05-51, 387-05-62.

Тел. в Москве: (107495) 233-91-88.

E-mail: interpress@open.by

[Http://www.interpres.ru](http://www.interpres.ru)

16+

Примечания

Передней во дворце государевом называлась приемная. Внутренние покои, за передней, назывались комнатой. В комнаты допускались только ближние, комнатные люди.

[^^^]

2

Рефидь, леса, три пряди, в ряску, елями — название узоров, которыми низался жемчуг.

[^^^]

3

Хамовник — ткач, прядильщик.

[^^^]

4

Саадак — широкий кожаный мешок, в который при седле вкладывался до половины лук. В саадаке был особый карман для стрел.

[^^^]

5

Держальник — то же, что сторонник.

[^^^]

Тешь — утеха, забава.

[^^^]

7

Все хорошо! Очень хорошо!

[^^^]